
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ
С ТОБОЙ, БАЛТИКА!

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

С ТОБОЙ, БАЛТИКА!



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА—1964

Р 2
М 69

Николай Григорьевич Михайловский известен читателям по его книгам: «Линкор «Марат», «Краснознаменный крейсер «Киров», «Мы уходили в ночь», «Девять баллов».

В книге «С тобой, Балтика!», которая выходит вторым, исправленным и дополненным изданием, писатель рассказывает о незабываемых событиях, участником и свидетелем которых ему довелось быть во время обороны Таллина, героического прорыва кораблей Краснознаменного Балтийского Флота из Таллина в Кронштадт, в суровую пору блокады Ленинграда и в радостные дни разгрома немецко-фашистских войск.

Хотя в основе книги лежат подлинные события, она не является строго документальным произведением. Наряду с описанием подвигов реально существовавших людей автор создает обобщенные образы героев-моряков.

Первая часть этой книги выходила отдельным изданием под названием «Таллинский дневник».



КРУТЫЕ СТУПЕНИ

Всю жизнь человек как бы поднимается по лестнице со ступени на ступень. Есть лестницы пологие. Есть крутые. Есть отвесные, как утес. Чем выше поднимаешься, тем шире открывается перед твоими глазами горизонт. Иногда полезно остановиться, окинуть взглядом пройденное и вспомнить самый трудный участок на жизненном пути.

Наша молодость была не длинной
И покрылась ранней сединой,
Нашу молодость рвало на минах,
Заливало таллинской волной...

Эти строки Ольги Берггольц полны глубокого смысла потому, что город, где я провел первые месяцы войны, явился для многих людей нашего поколения самой крутой ступенью.

Летом 1940 года я впервые увидел старинный Таллин. Он был весь в зелени и цветах. Петляя по лабиринту его узеньких средневековых улиц, я все время ощущал такое чувство, будто нахожусь в музее — настолько необычными представлялись мне массивные крепостные стены, снизу доверху поросшие мхом, и круглые башни с узкими бойницами, носящими забавные названия: «Длинный Герман», «Толстая Маргарита», «Девичья», «Как ин де кек» (что означает «Смотри в кухню»).

Однако скоро эти первые, несколько экзотические впечатления были оттеснены на задний план событиями, которые свершались тогда по всей Прибалтике и полностью захватили меня.

Таких демонстраций, как на улицах древнего Таллина, я нигде и никогда не видел. Шумела площадь Победы, заполненная народом. Как языки пламени, колыхались над ней красные знамена. На каждом шагу слышались звуки «Варшавянки» и «Интернационала».

1*

Простые люди Эстонии вышли на улицы, решительно требуя от буржуазного правительства, связанного с немецкими фашистами, убраться подобру-поздорову.

Полицейские держались в стороне, понимая, что они бессильны и что сейчас лучше всего соблюдать нейтралитет.

Люди, завладевшие улицами, подходили к чугунным воротам тюрьмы. Через несколько минут ворота распахнулись настежь, и толпа влилась в сырой, темный двор.

Навстречу освободителям бежали худые, с пожелтевшими лицами мужчины и женщины в полосатой одежде. Одни смеялись, другие плакали. Это были борцы за народное счастье, многие годы томившиеся в казематах.

В эти дни народ сбросил буржуазную клику, правившую страной. Впервые состоялись свободные выборы в парламент, который выполнил волю трудящихся и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять Эстонию в Союз Советских Социалистических Республик.

А ровно через год я увидел уже совсем другой Таллин. В пруду парка Кадриорг плавали белые лебеди с гордо вытянутыми шеями. Шумели ручьи, сбегая с крутых скалистых уступов. Голуби, воркуя, важно расхаживали по аллеям. С дерева на дерево прыгали ручные белки. Это была идиллия мирной жизни. Но за ней уже стояла суровая тень войны. В нежно-голубом небе, подернутом дымкой, гудели истребители. Рядом с продавщицами цветов расхаживали вооруженные патрули. Толпы людей подолгу стояли у газетных витрин и читали слова, полные тревоги: «Товарищи! Встанем, как один, на защиту нашей свободы, нашей жизни!»

Шли машины с пехотой. Шагали по асфальту новобранцы. В шеренгах — как на подбор крепкие, молодые парни в новом, только что полученном защитном обмундировании. На дощатом перроне, у красных теплушек воинского эшелона, жены прощались с мужьями, матери не спускали глаз со своих сыновей...

И в это же время в центре города, в кафе под большим полосатым шатром, сидели за столиками шумные компании: мужчины в легких кремовых костюмах, дамы в декольтированных туалетах, увешанные бриллиантами. Им некуда было спешить. Часами они просиживали за порцией мороженого, не торопясь тянули через соло-

минку коктейли и тоже говорили о войне... со смехом и злорадством. Они не маскировались, не прикидывались друзьями Советской власти. Наоборот, они открыто ждали фашистов, ждали возможности вернуть свое состояние, которое перешло в руки народа: фабрики, дома, магазины...

* * *

Сразу по приезде в Таллин я зашел в Дом партийного просвещения — обширное белое здание, расположенное по соседству с Политуправлением Краснознаменного Балтийского флота.

В умывальной комнате я увидел по пояс обнаженного мускулистого человека. Фыркая от удовольствия, он лил на голову воду. Наши взгляды встретились, и его лицо — продолговатое, худощавое, с большим выпуклым лбом — показалось мне знакомым.

— Простите, — неуверенно начал я, — вы очень похожи на одного ленинградца.

— Ленинградца? — переспросил меня незнакомец, вытираясь широким мохнатым полотенцем. — К вашему сведению, я и есть ленинградец.

Я удивился еще более:

— Вы очень похожи на профессора Цехновицера... Мне доводилось слушать его лекции по литературе в Ленинградском университете.

— Похож на Цехновицера? — громко рассмеялся незнакомец. — Трудно быть похожим на кого-либо другого более, чем на самого себя.

Он начал меня расспрашивать о Ленинграде, и по тому, с каким вниманием он слушал, как интересовался всеми мелочами, я понял, что он живет думами о родном городе.

— А вы разве давно из Ленинграда? — спросил я.

— Кажется, целую вечность, — ответил Цехновицер, — хотя, впрочем, сегодня пошел всего девятый день.

Мне странно было видеть его в морской форме: в синем кителе с пуговицами, начищенными до ослепительного блеска, и четырьмя золотыми нашивками полкового комиссара на рукавах. Форма сидела на нем очень ладно, только в движениях не было той естественной свободы, какая свойственна профессиональным, кадровым командирам флота.

— Вас призвал военкомат?

— Какое там! Пришлось не один бой выдержать. У них ответ такой: научных работников, видите ли, не берут. Я плюнул на все и послал телеграмму наркому Военно-Морского Флота. Ответ пришел немедленно, и моя мобилизация состоялась. Кстати, как вы устроились? — тут же спросил Цехновицер.

— Да пока никак. Намерен поселиться в этом доме.

— В таком случае приглашаю в мою спальню, то есть, простите, в мой рабочий кабинет, — сказал он с каким-то лукавством и повел меня в большой зал с высоким лепным потолком и широкими, как в магазине, окнами, где стояло около сотни стульев. Пройдя между рядами стульев, я увидел в стороне аккуратно сложенную легкую кровать дачного типа.

— Вот мое ложе, — сказал Цехновицер. — Если устраивает, можете поселиться вместе со мной. Не очень уютно, зато, смотрите, какая благодать, сколько света и воздуха! Тут я готовлюсь к докладам, и сплю, и выступаю.

Откровенно говоря, я не представлял себе, как можно расположиться на жительство в таком громадном зале, но оптимизм и юмор, с каким Цехновицер рассказывал о своем таллинском быте, передались мне, и я решил не искать другого жилья и остаться здесь, в его обществе.

Орест Вениаминович вводил меня в курс дела с присущим ему юмором:

— Койка у вас будет шик-модерн, — говорил он, указывая на свою примитивную раскладушку с парусиновым верхом, заменявшим матрац. — Одеяло из гагачьего пуха, — при этих словах демонстрировалось обыкновенное серое солдатское одеяло. — Трюмо всегда к вашим услугам, — он протягивал кругленькое карманное зеркальце. И с такой же деланной серьезностью он продолжал:

— Конечно, всякий рабочий кабинет немыслим без книжного шкафа. Вот он, к вашим услугам.

Цехновицер подвел меня к стене и открыл дверцу небольшого шкафа, внутри которого была мраморная доска с выключателями. В это сооружение Орест Вениаминович сумел втиснуть полочку, на которой в четком строю стояло десятка полтора книг и лежали пачки рукописей.

— Зачем вам таскать все с собой? Блокноты и прочий бумажный скарб вполне можете хранить здесь. Место надежное. Никто не догадается.

Я воспользовался гостеприимством Цехновицера, расположился в зале и занял чуть ли не половину этого оригинального книжного шкафа.

Мы сели в первом ряду, и я спросил:

— Что на флоте?

Цехновицер улыбнулся и сказал:

— Пойдем к нашему командарму. Он устроит нам пресс-конференцию, в пять минут сделает полный стратегический обзор.

— Командарму? — удивленно переспросил я, зная, что на флоте есть адмиралы, командиры соединений кораблей различных классов, командующие эскадрами, но командарм — фигура сухопутная.

— Вы отстали от жизни, — продолжал, улыбаясь, Цехновицер. — У нас есть свой командарм. Он один посвящен во все тайны военного искусства.

— Кто же такой?

Тут Цехновицер не мог удержаться от смеха и наконец сказал:

— Писатель Всеволод Вишневский.

Я знал, что Всеволод Витальевич в самые первые дни войны приехал сюда из Москвы, и обрадовался возможности повидаться с ним.

Цехновицер повел меня в Политуправление флота, на третий этаж, и постучал в дверь служебного кабинета. На стук сразу же откликнулся спокойный, неторопливый голос: «Да, войдите».

Невысокого роста, коренастый, с широким лбом, в кителе с орденами на груди, Вишневский стоял у карты, висевшей на стене, в руках держал газету и, судя по всему, изучал утреннюю сводку Совинформбюро.

Он встретил нас сухо. Впрочем, это было характерно для него. Вся бурная и поистине неукротимая энергия, которой он жил, скрывалась где-то в тайниках его души и обнаруживалась лишь в тот момент, когда он поднимался на трибуну, загорался сам и зажигал всех окружающих. А в обычной обстановке он казался нелюдимым, замкнутым, говорил тихо, даже застенчиво и всегда погружен в раздумье. Но как это ни странно, даже когда он молчал, это был прекрасный собеседник: один

взгляд, улыбка на его лице выражали подчас значительно больше, чем поток слов.

Я смотрел на грудь Вишневского, украшенную орденами Ленина, Красного Знамени и Знак Почета. В ту пору было редкостью встретить человека, имеющего такие награды.

— Вы смотрите на карту, а не на ордена, — дружески-повелительным тоном сказал мне Цехновицер и обратился к Вишневскому: — Всеволод Витальевич, что у нас нового?

Вишневский, любивший информировать, объяснять, вводить в курс обстановки, стал показывать нам на карте, где проходит линия фронта, сколько километров немцы прошли за последние сутки и за истекшую неделю. Он сравнивал, в какие дни немцы продвигались быстрее, в какие медленнее, и делал при этом собственные выводы. С поразительной аккуратностью, день за днем, час за часом Вишневский делал записи.

Он нигде и никогда не расставался с маленькой книжкой в черном коленкоровом переплете. Его дневник — это летопись нашей борьбы. В нем было много характерных деталей, подмеченных острым, наблюдательным глазом художника. Из кратких и скупых строк вставал сам автор, его характер, пылкая и темпераментная натура коммуниста, полного веры в энергию масс и волю народа к победе.

«В какой раз приходится мне это видеть и вновь и вновь дышать трагизмом времени, — писал Вишневский. — Уже в одно сплошное сливаются для меня и впечатления 1914—1918 годов, и гражданской войны, и Испании, и Дальнего Востока, и Финляндии, и Прибалтики... В крови, слезах и муках рождается человечество к новой жизни. Глядишь в будущее и путь видишь дальний. Ничего — мы сумели выдержать семь лет в мировую и гражданскую войны. Мы выдержим и ныне столько, сколько будет нужно».

Мы вернулись в зал и долго говорили о Вишневском, вспоминали его пьесу «Оптимистическая трагедия», фильм «Мы из Кронштадта», и Цехновицер верно заметил — при всем том, что Вишневский очень талантливый и самобытный писатель, у него противоречивый характер, который не так просто понять.

Потом Цехновицер вспомнил, что у него сегодня лек-

ция, и в раздумье стал расхаживать по залу. Он называл это «собраться с мыслями» и всякий раз перед выступлением находился в задумчивости. Он терпеть не мог выступать по заранее написанному тексту и всегда подтрунивал над теми, кто боится сказать собственное слово, выразить свое мнение.

Вечером зал, служивший нам спальней, заполнили моряки. Это были люди, пришедшие с кораблей и далеких участков фронта, — командиры, политработники, пропагандисты. На трибуне появилась высокая худощавая фигура Цехновицера. Он взял в руки длинную указку и начал лекцию. На какой-то миг мне показалось, что я нахожусь в университетской аудитории, но только на миг, — разумеется, сегодня он говорил не о литературе.

Через всю карту тянулись флажки, обозначавшие линию фронта от Черного до Балтийского моря. Гигантский вал гитлеровской армии с каждым днем все больше углублялся в нашу страну. С объяснения этого факта и начал Цехновицер свою лекцию. Говорил он содержательно, страстно, убежденно. Это было живое слово пропагандиста, доходившее до самого сердца слушателей. Когда Цехновицер кончил говорить, незнакомый командир, сидевший рядом со мной, бросился к трибуне, схватил Цехновицера за руку и долго ее не выпускал. Я слышал, как он говорил:

— Спасибо, товарищ профессор! Ваши слова за душу берут!

Долго еще стоял Цехновицер в толпе, курил и беседовал со слушателями. Наконец все разошлись — было уже поздно.

Перед тем как лечь спать, мы вышли на улицу, охваченную ночной тишиной. С моря доносились раскаты артиллерии.

— Эх, жаль, после гражданской войны мало занимался военным делом, — говорил Орест Вениаминович. — Будь я крепче подкован — в тысячу раз полезнее был бы на фронте.

Неожиданно на нас надвинулось несколько теней, и мы услышали окрики:

— Стой! Пропуск!

Синий свет фонарика упал на наши лица. После обычной проверки документов послышался удивленный и обрадованный возглас:

— А, товарищ профессор! Когда будете у нас выступать?

— Не знаю. Все зависит от Политуправления, когда к вам пошлют, — ответил Цехновицер, и мы беспрепятственно пошли дальше.

Ночная встреча с патрульными, для которых Цехновицер был старым знакомым и желанным лектором, и разговор с ними — не случайный эпизод. Скоро я убедился, что «товарища профессора» ждали везде. Он был популярен на кораблях и в частях Балтики. Его острый ум, широкие знания, ораторский талант и тонкий юмор особенно ценили моряки. Никогда он не повторялся. Об одних и тех же вещах каждый раз умел сказать поновому.

Еще до войны, в Ленинграде, мне иной раз приходилось слышать такое мнение о Цехновицере: «Человек талантливый, но... — тут мой собеседник недоумевающе подергивал плечами, — очень уж беспокойный у него характер».

Да, беспокойство было одной из характерных черт Цехновицера — беспокойство за судьбу каждого порученного дела.

Он умел ценить то, что ему дала Советская власть, и в благодарность отдавался труду творчески, весь без остатка и в этом видел смысл всей своей жизни.

Гражданскую войну он прошел рядовым солдатом. Интерес к литературе зародился у него еще в окопах, уже там он мечтал об учебе. В потертой шинели, в шлеме и обмотках приехал он первый раз в Ленинград. Весь его несложный багаж умещался в вещевом мешке. Один крупный литературовед, к которому прямо с вокзала явился Цехновицер, искренне удивился, когда красноармеец вместе с фронтовыми документами извлек из мешка «Божественную комедию» Данте.

Приехав в первый раз в жизни в незнакомый город, Цехновицер поселился в зале с позолоченной отделкой, в одном из бывших барских особняков на Неве, недалеко от памятника Петру I. Прежде чем обзавестись самыми необходимыми вещами и дать отставку своей изрядно обтрепавшейся шинели, он начал приобретать книги. Библиотека была первым имуществом, которое появилось в его квартире. Переплетчики стали завсегдатаями его дома. Он любил и холил книги, точно живые суще-

ства. В самые трудные времена выискивался где-то добротный коленкор, и каждая новая книжечка переплеталась. Перед войной его библиотека насчитывала десятки тысяч томов различной литературы на французском, немецком, английском и итальянском языках. Этими четырьмя языками профессор Цехновицер владел свободно, и книги Франса, Золя, Роллана, Гете, Гейне, Шоу он читал в подлинниках.

У Цехновицера была жажда к познанию всего, что нас окружало.

За короткое время он успел узнать самое интересное, что было в Таллине, и говорил о городе со свойственной ему восторженностью:

— Вот где действительно на каждом шагу живая история.

Как только выдавался свободный час, он водил меня по историческим местам Таллина, что были поблизости от нашей «штаб-квартиры».

Мы ездили в трамвае на побережье к знаменитому памятнику «Русалка» и долго рассматривали бронзовую фигуру ангела с крестом в руке. Этот памятник был сооружен на добровольные пожертвования населения морякам русской броненосной лодки «Русалка», трагически погибшей в 1893 году во время жестокого шторма.

Цехновицер показывал мне живописный парк Кадриорг и почерневший от времени домик Петра I со скромной обстановкой: круглыми зеркалами, широкой дубовой кроватью под истлевшим балдахином, бюро красного дерева, высокими стульями с искусной резьбой на спинках. Живя здесь, Петр наблюдал за строительством крупнейшей для своего времени ревельской гавани. Его руками были посажены многие деревья, образовавшие теперь густые аллеи, сквозь листву которых не могли пробиться даже лучи солнца.

Мы поднимались на Вышгород — старинную часть города, обнесенную зубчатой крепостной стеной, — и бродили по узким средневековым улицам.

— Зайдемте сюда, — предложил однажды Цехновицер, показывая на чернеющий, точно горное ущелье, вход в старинный храм «Томкирка», который стоит более шести веков. — Тут невредно побывать всем нашим товарищам, — добавил он.

Нас встретил хранитель кирки, сухой, сгорбившийся эстонец, сносно говоривший по-русски. Он провел нас в глубь храма к массивным мраморным гробницам и объяснил, что здесь покоятся останки знаменитых русских флотоводцев и мореплавателей — адмиралов Крузенштерна и Грейга.

— Господин Крузенштерн вместе со своей супругой — наши самые молодые покойники, — сказал старичок. — Они похоронены всего два века назад, а есть мумии, которым триста — четыреста лет.

Мумии? Меня это очень заинтересовало, и я спросил старичка, можно ли их посмотреть.

— Нет, сейчас нельзя, — сказал он. — Гробницы вскрываются очень редко. При мне уже три раза их проверяли. Мумии сохранились хорошо. Тело и одежда давно окаменели, только на руках мадам Крузенштерн замшевые перчатки как новые...

Короткий экскурс в историю был очень кстати. Все это живо напомнило нам о давнишних связях русского и эстонского народов. Мы видели то близкое и родное, за что не раз бились наши предки и что с оружием в руках отстаивали теперь мы — советские люди.

Дома, разговаривая с Цехновицером обо всем виденном, я думал о том, что, несмотря на войну и на золотые нашивки полкового комиссара, он все же остался сугубо гражданским человеком, ученым, и в такие минуты я вспоминал увлекательные лекции Цехновицера в университете, которые приходили слушать и мы, студенты Института журналистики.

Страстные диспуты нередко из университетской аудитории переносились на другую сторону Невы, в квартиру профессора. В его кабинете, что называется, негде было яблоку упасть. На широкой тахте, в креслах и совсем запросто — на полу, размещались юные друзья Цехновицера. Низкий голос его гремел в эти часы, прерываемый взрывами хохота. По задору и темпераменту профессор мало отличался от своих университетских друзей: почти не чувствовалось разницы в возрасте между учителем и учениками.

С таким же пылом, как эти юноши и девушки, Цехновицер увлекался спортом, рыбной ловлей, техникой, причем любому увлечению он отдавался целиком. Однажды он решил стать альпинистом. Срочно была при-

обретена литература по альпинизму. Во всех мелочах и деталях изучалась эта еще не изведанная им область туризма. В доме стали появляться опытные альпинисты. К весне уже была готова специальная обувь, кошки, веревки, и после окончания занятий в университете Цехновицер вместе со своими университетскими друзьями уехал в Теберду. Там он поднимался на самые крутые пики. Вернулся осенью загорелый, со значком альпиниста на груди.

Но главным делом его жизни была литература. Перу Цехновицера принадлежит до пятидесяти научных работ, посвященных истории русской и западной литературы. Не один год своей жизни он отдал созданию книги «Литература и мировая война», которая увидела свет в 1938 году.

Вторая мировая война застала Цехновицера в разгаре работы над большой монографией.

Накануне войны вышел однотомник повестей Достоевского с большой вступительной статьей Цехновицера. Дальнейшая работа оборвалась буквально на полуслове. С 22 июня 1941 года профессор отложил в сторону любимый труд и начал добиваться зачисления на флот. Каждый час, проведенный дома, казался ему преступлением. Он успокоился лишь после того, как получил предписание явиться в Таллин, к месту своей военной службы.

Без оглядки на прошлое он устремился в свою новую жизнь. В этой решительности еще раз сказался настоящий, большой советский человек.

Из Таллина он изредка посылал письма жене, сыну, друзьям. Письма были бодрые, жизнеутверждающие. Вот одно из писем к жене:

«...О себе я не думаю, все мое личное отпало, стало маленьким-маленьким, совсем незначительным. Я вижу, как совершается история, и я счастлив, что не стою в стороне в эти решающие дни. Хочется сказать тебе и Юре какие-то большие и значительные слова, сказать, чтобы не беспокоились обо мне, ибо все, не только «мое», но и «наше», отодвинуто в эти дни теми грандиозными, по-настоящему историческими делами. Я вижу вокруг себя такое проявление героизма, преданности, любви к родной земле, к коммунизму, что все это делает меня совсем, совсем другим... Нам сейчас безумно трудно. Но

мы ясно видим перспективу борьбы. Знаем, что побываем в Европе, дойдем до Берлина, и навсегда сбросим проклятый фашистский режим. Победа, безусловно, за нами!

Эх, после войны будет же нам о чем поговорить. А пока враг очень силен — поработать надо крепко, чтобы его обломать. Справимся, унывать только не надо!»

Он обладал чудесной способностью собирать вокруг себя людей. С ним каждый чувствовал себя уверенно. Днем он почти ни на минуту не оставался один. Своим яростным темпераментом он приводил всех нас в движение, и мы в шутку называли его «осатанелый ударник». Он никогда не терялся, сам был твердым и не терпел людей с тряпичной натурой. Недаром на одной из первых страниц его записной книжки я однажды прочел слова, которые, по-видимому, были девизом всей жизни Цехновицера: «Где нет сильного характера, там нет ни великого человека, ни великого художника, ни великого мужа подвигов. Речь идет не о том, чтобы казаться великим, а чтобы быть им...»

Частым гостем в нашем зале был Всеволод Витальевич Вишневский. Его многое роднило с Цехновицером, у них всегда было о чем поговорить.

Обычно Вишневский приходил с какими-нибудь новостями, садился возле трибуны и, привычным жестом поправив свою огромную деревянную кобуру с маленьким пистолетом внутри, с видом заправского полководца, что было наивно и трогательно, начинал свой стратегический обзор. По ходу разговора Цехновицер вставлял свои остроумные реплики, но сбить Вишневского было невозможно: он ни на кого не обращал внимания и продолжал в том же духе.

Потом мы открывали наш потайной шкаф, вынимали оттуда свои записки и читали Вишневскому вслух. Слушая нас, он иногда брался за книжечку в черном коленкоровом переплете и что-то быстро записывал: или ему в эти минуты приходили на ум какие-то интересные мысли, или, не полагаясь на свою память, он хотел записать кое-что из наших наблюдений.

— Вы даже не представляете, какой ценный материал для истории оставим мы с вами, — говорил Всево-

лод Витальевич. — Может быть, и даже наверняка, со временем будет другой взгляд на события, но факты всегда остаются фактами. Любая деталь, схваченная вашим глазом, должна быть зафиксирована сразу, по горячим следам.

Так мы прожили много дней. По вечерам обычно зал был переполнен. Когда слушатели расходились, кровать Цехновицера раскладывалась по одну сторону трибуны, моя — по другую. Мы ложились, но подолгу не могли заснуть.

Не первый раз мы возвращались к мысли о том, была ли для нас война неожиданностью. Нет, мы знали, мы чувствовали, что война у порога нашего дома. Нам не был известен день и час, когда Гитлер отдаст приказ о наступлении на Советский Союз, но неизбежность войны с фашистами ощущал весь народ. Особенно это чувствовали военные люди, которые несли вахту на переднем крае нашей обороны.

Еще в 1940 году, в глухую осеннюю ночь, вскоре после оккупации Норвегии немецко-фашистскими войсками, наши морские пограничники обнаружили целую флотилию рыболовных судов, державших курс к советским берегам. В моторных ботах находились норвежские рыбаки с женами и детьми, бежавшие от фашистов. Они были бесконечно счастливы в это трагическое время оказаться в дружественной стране.

— Не верьте Гитлеру. Он одной рукой подписывает договор о дружбе, а другую протягивает к вашим землям, — говорили они. — В Варде, Киркинесе и других наших портах собираются большие массы войск и техники. Немцы открыто заявляют, что теперь на очереди война с СССР.

Это был сигнал надвигающегося бедствия, поданный нашими искренними друзьями. И тем более тяжко сознавать, что им не поверили. Потом, уже в ходе войны, норвежские патриоты вместе с нашими солдатами и моряками сражались против общего врага. Вместе с разведчиками они часто высаживались на суровый скалистый берег Норвегии, пробирались в тыл противника, взрывали там склады с боеприпасами, нападали на немецкие обозы, поддерживали связь с партизанами, боровшимися в тылу у немцев.

Весной 1941 года и на Балтике появились явные признаки войны. В районе нашей военно-морской базы Либава всплывали немецкие подводные лодки с целью разведки. В апреле недалеко от наших территориальных вод проводились большие учения немецких кораблей во главе с крейсером «Адмирал Хиппер». Над нашим побережьем почти ежедневно летали фашистские самолеты. Они нагло и бесцеремонно занимались аэрофотосъемкой. Один такой самолет израсходовал горючее и совершил возле Либавы вынужденную посадку. Наши моряки обезоружили фашистских летчиков, взяли их под арест и немедленно донесли об этом в Таллин командующему Краснознаменным Балтийским флотом, а он доложил дальше — в Москву. Каково же было удивление и даже возмущение моряков, когда пришло указание: летчиков немедленно освободить, принести им извинение; самолет заправить горючим и отпустить на все четыре стороны...

А разве не характерно, что за несколько недель до вторжения немцев торговые суда под фашистским флагом покидали Ленинградский порт и возвращались в Германию. Немцы спешили отозвать из СССР всех своих специалистов, в частности инженеров, которые работали в Ленинграде на судостроительных заводах. Они удирали панически. Их спрашивали: «Чем вызван ваш быстрый отъезд?» Они затруднялись дать объяснение, недоуменно пожимали плечами: «Доберемся до дома, там выяснится».

Множество фактов подтверждали, что близится день, когда мы проснемся и узнаем, что и до нас докатился огненный вал. И вместе с тем говорить о войне считалось плохим тоном даже среди военных.

И все же весь наш военно-морской флот готовился к войне. Вступали в строй новые корабли. Проводились учения, стрельбы. Моряки, добровольно участвовавшие в первой крупной схватке с фашистами в Испании, вернулись оттуда с ценным боевым опытом. Была разработана и принята на вооружение новая система оперативной готовности, которая сыграла немалую роль в том, что флот не оказался застигнутым врасплох перед лицом вероломного вражеского вторжения.

За месяц до того, как разразился гром войны, корабли Балтийского флота были рассредоточены: отряд легких сил, подводные лодки, плавбазы перешли из Либавы

в Усть-Двинск, под надежную охрану ПВО. Линкор «Марат» ушел из Таллина в Кронштадт. И уже в самый канун войны, как это не раз бывало во время учений, корабли принимали боезапас, топливо, мины для первых постановок; уточнялись последние детали, связанные с конвойной службой, для обеспечения моряков на Ханко и островах Моонзундского архипелага.

21 июня, когда пришла шифровка Наркома Военно-Морского Флота ввести повышенную оперативную готовность № 1, на береговом флагманском командном пункте началась напряженная жизнь, усиленные корабельные дозоры отправлялись в море. Шла подготовка к тому, чтобы принять бой...

* * *

Каждое утро мы с Цехновицером просыпались от шороха в зале. Открыв глаза, мы неизменно видели одну и ту же картину: женщина средних лет в простеньком ситцевом платье и марлевой косынке на голове подметала пол, стирала пыль с подоконника, протирала оконные стекла.

Орест Вениаминович всегда с уважением относился к нашей уборщице, не раз отдавал должное ее трудолюбию, говорил, что она «вылизывает зал» и что такая хозяйка «на вес золота».

Действительно, свою работу женщина делала медленно, но зато с поразительной тщательностью.

Она молча ходила по залу, осторожно передвигала стулья, подметала пол, потом долго и старательно натирала паркет. А уже после всего этого отходила и смотрела со стороны, не прилипла ли где соринка, не осталось ли темное пятнышко.

Во время работы она не замечала нас, ей было совершенно безразлично, есть кто-нибудь в зале или нет.

Как-то раз Орест Вениаминович попытался заговорить с ней. Она покраснела и, ничего не ответив, исчезла. С тех пор мы решили не смущать ее. Так у нас и повелось: мы делали свое дело, она — свое.

СЛЕД ГЕРОЯ

Я шел по улицам и переулкам Таллина в Минную гавань, расположенную довольно далеко от центра города. Шел очень долго.

Мне хотелось поскорее увидеть корабли, повидаться с героями первых боев и что-нибудь о них написать.

Я был уверен, что встречу там кое-кого из своих старых знакомых еще по финской войне. Говорили, что теперь в Таллине известный балтийский подводник Александр Владимирович Трипольский.

Зимой 1939 года о нем узнала вся наша страна. Одним из первых среди моряков Балтики он получил звание Героя Советского Союза. В лютые морозы подводная лодка, которой он командовал, пробивалась сквозь льды Финского залива по узенькому фарватеру, проложенному ледоколом, и выполняла боевые задания. Однажды ее затерло льдом. В это время появился вражеский самолет. Начался необычный поединок. Самолет заходил с разных курсовых углов, стараясь точно сбросить бомбы и потопить лодку. Подводники всякий раз встречали его огнем из пушек и пулемета. Долго он летал, боясь приблизиться к лодке. Наконец летчику надоела эта игра, он решил действовать энергичнее, пошел на прорыв и получил прямое попадание снаряда в мотор. Самолет загорелся и упал; толстый, упругий лед не выдержал его тяжести и проломился.

Помнится, Трипольский, к которому так внезапно пришла слава героя, был до того смущен, что даже не мог толком рассказать о своих походах и посылал всех писателей и журналистов за материалами к комиссару своего подводного корабля.

Интересно было теперь с ним снова встретиться.

В самом конце длинной улицы — ворота в Минную гавань. На КПП часовой проверяет документы. И вот перед нами открывается панорама гавани.

Рядом с солидными кирпичными зданиями приютились одноэтажные деревянные домики, в которых размещены дежурные службы, телефонный коммутатор, метеорологический пост. За домами высятся горы каменного угля и гигантские серые цистерны с соляром.

Гладкая асфальтированная полоса подходит к самому берегу, к узкому длинному пирсу, вдающемуся в залив. У пирса множество кораблей: тральщики, «морские охотники», транспорты, посыльные суда.

Среди них заметно выделяется сверкающий на солнце

белый корпус парохода «Вирония»[1]. До 1940 года на этом пароходе устраивались увеселительные прогулки эстонской буржуазии в Хельсинки. В субботу пароход уходил из Таллина, а в понедельник утром возвращался обратно.

С началом войны на «Виронии» разместилась оперативная группа штаба Краснознаменного Балтийского флота. У входа в танцевальный салон стоит часовой. На бильярдных столах разложены морские карты. В коридорах и каютах строгая тишина. Десятки телефонов, аппаратов «Бодо» и коротковолновые радиостанции связывают командование флота с действующими частями и штабами соединений.

Стараясь быть в курсе всех событий, мы, военные корреспонденты, часто наведываемся на «Виронию». Нас принимает начальник штаба, еще сравнительно молодой, хотя уже изрядно поседевший контр-адмирал Юрий Александрович Пантелеев.

Он посасывает свою неизменную трубку и не торопясь объясняет нам всю сложность обстановки, показывает документы, захваченные у противника, из которых видно, что гитлеровцы намечали овладеть Таллином к исходу первой недели войны.

— У них получилось, как в старой русской пословице: «Близок локоток, да не укусишь». Конечно, трудно нам приходится. К тому же много организационной неразберихи. Многоначалие мешает. Тут армия, флот, пограничники, НКВД. И каждый действует сам по себе.

Действительно, на первых порах войны было много несогласованности.

Мы встретились с крупными силами врага, которые рвались вперед. Эстонию гитлеровцы рассматривали как трамплин для захвата Ленинграда и Кронштадта. По признанию фашистских главарей, их целью в Прибалтике было «создание германского протектората с тем, чтобы впоследствии превратить эти области в составную часть великой германской империи путем германизации подходящих в расовом отношении элементов, колониза-

---

[1] В Эстонии был уезд Виру, отсюда и произошло название судна.

ции представителями германской расы и уничтожения нежелательных элементов» [1].

Легко представить себе, какая организация требовалась от нас, чтобы сдерживать эту лавину и выигрывать день за днем, час за часом время, необходимое для создания крепкой, надежной обороны вокруг Ленинграда.

...В самом конце пирса, как бы маскируясь под его стенками, притаилась целая флотилия торпедных катеров. Они особенно лихо действуют в Рижском заливе и у финских берегов, где проходят важные коммуникации противника. Что ни день — приходят известия об успешных налетах наших катеров на караваны вражеских кораблей.

Днем торпедные катера мирно покачиваются у пирса и на них не видно никаких признаков жизни. Только с наступлением сумерек на палубах этих маленьких кораблей появляются люди в кожаных костюмах, в русских сапогах, в глухих кожаных шлемах. Снимаются чехлы с пулеметов. Все тщательно проверяется: оружие, приборы управления, моторы, которые «гоняют» на разных режимах. Глухим воркующим гулом наполняется гавань, а когда все готово, слышатся резкие свистки и катера один за другим выходят в море на поиск конвоев противника.

А вот и плавучая база подводных лодок, где должен быть Трипольский. Будто детеныши к матери, прижались к ее бортам короткие и узенькие «малютки», «щуки» с выпуклостями по бортам и, наконец, самые большие крейсерские лодки.

Лодки приходят сюда с моря, принимают на борт торпеды, соляр и снова идут «на охоту» за немецкими конвоями в Финский и Рижский заливы, в Ботнический залив и к берегам Германии.

Поднимаюсь на борт плавбазы. Рассыльный провожает меня в каюту Трипольского. Всегда спокойный, чуть даже флегматичный, широкоплечий, он сейчас в каком-то необыкновенно взвинченном состоянии.

— Извините, у меня дела, — говорит он, обращаясь ко мне. — Оставьте ваши координаты, если будет что-нибудь для печати, я с вами свяжусь.

---

[1] Нюрнбергский процесс, т. I. Государственное издательство юридической литературы. М., 1952, стр. 397.

Я выхожу из каюты Трипольского с неприятным осадком на душе и думаю — что произошло? Ведь каких-нибудь полтора года назад, когда он командовал подводной лодкой, у нас были добрые и даже приятельские отношения. Теперь он командует целым дивизионом. Неужели это так изменило его, и он перестал узнавать людей?

Нет, не похоже, чтобы простой, скромный Трипольский превратился в вельможу. Скорее всего, он чем-то расстроен. Да, не легко приходится нашим балтийским подводникам. Нигде на других морских театрах войны нет такой плотности минных заграждений, как в Финском заливе. Нигде нет такого множества природных препятствий в виде банок и отмелей, островов и шхер.

При всех этих трудностях нашим подводникам не хватает боевого опыта. Они еще только начинают привыкать к настоящим атакам, маневрированию в боевых условиях, уклонению от преследования вражеских кораблей, взрывам глубинных бомб...

Мало ли чем мог быть взволнован Трипольский. Во всяком случае, его поведение оставалось для меня непонятным.

На следующее утро я снова пришел в Минную гавань и совершенно случайно встретил на пирсе Трипольского. Он был так же мрачен и неприветлив. И все же отвел меня в сторону и сказал доверительно, словно ожидая совета или сочувствия:

— Исчезла лодка. Командир Абросимов — знающий, толковый, а вот ушел и, что называется, след простыл...

— Нельзя за ним послать корабль или подводную лодку? — спросил я.

— Бесполезно, — ответил Трипольский, должно быть удивленный моей наивностью. — Зачем посылать корабли, у нас круглосуточно несется радиовахта. Вызываем их непрерывно, но, увы, пока ничего не слышно. — Я был уверен в нем, как в самом себе, — продолжал Трипольский. — Много раз ходил с ним в море и видел, что на такого командира можно полностью положиться. А вот получилось неладно. И очень даже неладно...

— Что же могло произойти?

— Кто знает, — тихо сказал Трипольский. — Может, подорвались на минах, а может, их забросали глубин-

ными бомбами немецкие катера. Причина гибели лодки почти всегда загадка. Чаще всего у нас бывает так: или все побеждают, или все погибают...

— Но все-таки есть какая-нибудь надежда на то, что они живы?

— Трудно сказать...

Должно быть, Трипольскому тяжело было продолжать этот разговор. Он протянул мне руку и зашагал своими широкими, размашистыми шагами по направлению к плавбазе.

Прошел еще день, и поздним вечером, перед самым сном, меня вызвали к ближайшему телефону, и я услышал в трубке глухой и неторопливый голос Трипольского:

— Пришли мои ребята, живы-здоровы, — сказал он и пригласил меня на торжество.

Мы встретились у ворот Минной гавани. Кругом было темно. Я не видел его лица, но внутренне ощущал, каким счастливым был Трипольский в эти минуты.

— Орлы ребята, — говорил он. — В такую попали переделку, что нам и во сне не снилось, а вышли из положения, как нужно...

Мы незаметно подошли к плавбазе, в потемках перебрались на борт лодки и по отвесному трапу спустились в рубочный люк.

Там, в центральном посту, озаренном ярким светом, Трипольского встретил главный виновник торжества — командир корабля капитан-лейтенант Абросимов.

Сначала, как положено, он скомандовал: «Сми-и-рно...» — и отдал рапорт, но тут же лицо Абросимова расплылось в улыбке.

— Прошу к столу, — сказал он.

Я никогда не забуду его молодое, но уже тронутое испытаниями лицо, красные, воспаленные веки и добрые, смеющиеся глаза. Он был самый обыкновенный русский парень — ничего героического и монументального в наружности.

За праздничным столом уже собрались командиры. Они еще не успели отдохнуть, отоспаться, но глаза у них веселые, возбужденные. Все гладко выбриты, в тужурках, галстуках.

— Из лап смерти вырвались! — сказал мне комиссар лодки и начал рассказывать о походе.

...Подводная лодка действовала в районе, где часто появлялись корабли противника. Перед выходом в море Абросимова вызвали в штаб флота и предупредили: коммуникации противника очень сильно охраняются и на море, и с воздуха. Действовать надо с умом, осторожно, осмотрительно.

И вот началась охота за вражескими кораблями. Сначала встречались только тральщики, торпедные катера, посыльные суда.

Каждый раз, глядя в перископ, Абросимов испытывал разочарование: «Все та же мелочишка. Должно быть, в этом районе так и не встретишь солидного корабля, а стрелять в мелочь нет никакого смысла. Торпеда дороже стоит».

Но подводники обладают адским терпением и поразительной настойчивостью. Они день за днем, сутки за сутками, целыми неделями ищут корабли противника. Штормовая погода изматывает их. Они устают от вахты у судовых механизмов, от качки и тесноты в маленьких отсеках. При всем этом ни у кого не закрадется мысль вернуться на базу раньше срока, не выполнив задания.

Как-то раз в дождливое утро, когда вахту нес офицер Виннник, на горизонте показались дымы.

Винник сразу доложил командиру:

— Похоже, купцы идут, — и уступил место у перископа капитан-лейтенанту Абросимову. Тот прильнул глазами к окулярам перископа, долго рассматривал дымы и решил: «Подойдем ближе».

Лодка сближается с надводными кораблями. Среди них все яснее и яснее выделяются контуры большого судна. Ровный борт, и только в кормовой части возвышаются мостик и труба. Ага, это танкер. Вероятно, нагружен нефтью, недаром со всех сторон его охраняют боевые корабли.

Абросимов прикидывает: такой танкер вмещает не меньше десяти тысяч тонн горючего. Кажется, тебя, голубчик, мы и искали...

В отсеках все готово. Поданы предварительные команды. Экипаж на боевых постах.

Командир терпеливо, не спеша поднимает перископ, чтобы в последний раз перед атакой проверить себя, не ошибиться, не израсходовать зря торпеды.

Наступает долгожданный миг. Абросимов дает команду. Лодка содрогается, из первого отсека в центральный пост по переговорным трубам доносят: «Торпеды вышли!»

Вода — хороший проводник звука. И там, в толще воды, подводники слышат взрыв, за ним второй. Абросимов поднимает перископ и видит, как танкер, охваченный густым черным дымом, кренясь на один борт, погружается в море.

Теперь поскорее уйти от кораблей охранения и скрыть свои следы. Но этот район моря отличается малыми глубинами. Остается схитрить: погрузиться на дно и отлежаться на грунте, пока все не успокоится и вражеские корабли охранения не уйдут дальше своим курсом.

Подводники, кто где был, замерли на месте. Лодка стремительно погружается. Но вот под килем прошуршал твердый грунт. Стопорятся машины. Молчание. Вероятно, противник «слушает» лодку, старается поймать хотя бы малейший ее звук, но и в лодке «слушают» корабли противника. В крохотной акустической рубке, прижав ладони к наушникам, матрос Карпушкин улавливает шумы винтов вражеских кораблей.

Секунды в томительном ожидании. Что дальше? Пройдут мимо или услышат, обнаружат и начнут бомбить?

Сторожевые корабли не уходят, они ищут след подводников. Не раз проходят над самой лодкой, и шум их винтов отчетливо слышит не только акустик Карпушкин, но и весь экипаж подводного корабля. Где лодка, они, должно быть, не знают и начинают сбрасывать бомбы наугад, по площадям.

Один за другим прокатываются оглушительные взрывы. Звенит битое стекло лампочек и плафонов. Гаснет освещение. Отсеки погружаются в темноту. Мгновенно включается аварийное освещение, вспыхивают огни аккумуляторных фонарей.

— Товарищ командир! В первый отсек поступает вода! — стараясь подавить волнение, докладывает инженер-механик.

Абросимов приказывает пустить трюмную помпу, но его слова тонут в новом грохоте взрывов, от которых корпус лодки содрогается. Кажется, все рушится и ги-

бель неминуема. Но люди делают свое дело, борются за жизнь корабля.

Взрывы глубинных бомб, сбрасываемых кораблями противника, стали уже привычными. Их глухие раскаты слышны то где-то поодаль, то настолько близко, что с подволока осыпается пробковая обшивка. Но вот появляется какой-то новый шум. Должно быть, подошел катер — «охотник» за подводными лодками, с металлоискателем. Это значительно хуже! Что будет, если он нащупает лодку? Вот, кажется, спустили металлоискатель. Он коснулся грунта и тащится по дну. Вот уже встретился с лодкой, скользит по ее металлическому корпусу к рубке. Опять загрохотали новые и новые взрывы глубинных бомб.

Абросимов смотрит на часы: время клонится к вечеру. Одиннадцатый час идет борьба со смертью, и что ждет еще впереди?

Тяжело дышать. В воздухе много углекислоты и мало кислорода. Включить приборы, поглощающие углекислоту, тоже нельзя — по шуму моторчиков противник моментально обнаружит лодку. Каких трудов стоит сделать каждое движение! Даже собственные руки кажутся тяжелым грузом.

А надо жить, стоять у приборов и механизмов и быстрее, чем обычно, выполнять команды.

Комиссар лодки тихо проходит по отсекам, вполголоса разговаривает с матросами и старшинами, подбадривает их.

Абросимов стирает со лба крупные капли пота и предупреждает, что испытания еще не кончились. Приближается самый важный, быть может, решающий момент...

Командир хочет к ночи во что бы то ни стало всплыть и незаметно уйти. Нужно быть готовыми ко всему. Не исключена возможность, что придется принять бой с надводными кораблями и драться до последнего патрона.

Помощник командира и комиссар раздают подводникам оружие: винтовки, гранаты, пистолеты.

Командир приказывает механику:

— Подготовить все к всплытию. В случае если лодка будет повреждена и создастся безвыходное положение, по моему приказанию взорвать артиллерийский погреб.

Все притихли в эту минуту. Полные тревоги глаза подводников выражают одну мысль: «Неужели нет другого выхода, как погибнуть вместе с кораблем от взрыва своих снарядов?» Абросимов понимает эти взгляды и добавляет:

— Это на самый крайний случай. Мы будем драться и постараемся уйти.

Те моряки, которые должны молниеносно выскочить на мостик и принять бой, собираются в центральном посту, остальные — на своих местах.

Команда: «По местам стоять, к всплытию!»

Лодка всплывает. Откидывается рубочный люк. Звон в ушах. Командир артиллерийского расчета и вооруженные подводники выскакивают на мостик.

Абросимов осматривает горизонт, жадно вдыхая свежий воздух. Смотрит и не верит своим глазам: вокруг совсем тихо, вражеские корабли ушли. На воде плавают только светящиеся буи, которыми немцы обозначили нос и корму лодки. Где-то далеко, в туманной дымке, маячат силуэты стоящих на якоре двух вражеских сторожевиков. Все ясно: немцы, уверенные в том, что лодка подбита, отметили буями место ее «гибели», а сами встали на якорь. Вероятно, они рассчитывали утром доставить сюда водолазов, проникнуть внутрь лодки, захватить шифры, карты, документы... Но биты расчеты врага. Мотористы дают полный ход дизелям, и лодка ложится на обратный курс — к родным берегам.

* * *

Вот по какому поводу сегодня здесь торжество.

Трипольский как старший провозглашает первый тост. Встав у стола и чуть ли не упираясь головой в подволок, он говорит:

— Друзья! Я позволю себе несколько нарушить старый морской обычай и первый тост поднимаю не за тех, кто в море, а за вас, вернувшихся из трудного боевого похода. Ваша победа, на первый взгляд, может показаться и не столь значительной, не столь большой, но именно из таких побед и вырастет наша общая большая победа! — Трипольский помолчал и, все еще держа бокал в руке, тихо добавил: — А я, признаться, ночей не спал. Вы ушли — и пропали. А теперь вижу, что у нас

так не бывает. Один идет по следу другого, за ним третий. Наш след нигде не кончается, потому что нас очень много. Фашисты думали одним махом нас уничтожить. Да не вышло и не выйдет! Хотя нам сейчас очень трудно, но, как видите, мы не только обороняемся. Мы наступаем. И не кто иной, как вы, это доказали. Противник еще узнает силу наших ударов. Итак, первый тост за ваше возвращение.

Поздно ночью, когда закончилось торжество и все уже расходились, Трипольский говорил, прощаясь с Абросимовым:

— Имей в виду, командир, долго отдыхать не придется. С утра начинай ремонт, потом примешь торпеды, соляр — и опять в поход.

Абросимов вытянул руки по швам и коротко ответил:

— Есть, в поход!

НА СУХОПУТНЫХ РУБЕЖАХ

Широкая асфальтированная полоса тянется вдоль берега Финского залива, потом уходит в лес. Наш грузовик проносится по местам, где не видно ни одной живой души. Между тем мы уже в районе боев. Как только останавливается машина, смолкает мотор, среди лесной тиши слышны разрывы снарядов, пулеметные трели и ясно различается сухой треск винтовочных выстрелов.

Мы подъезжаем к шлагбауму. Часовой грозным жестом останавливает машину: «Дальше проезд закрыт, не то попадете к немцам».

— А где же линия фронта? — спрашивает шофер.

— Километра полтора будет.

Я выпрыгнул из кузова и вижу: со стороны фронта усталой походкой идут солдаты, многие без оружия...

Младший политрук с дерзким взглядом, высокий, худощавый, останавливает солдата, заросшего щетиной. Человек средних лет, босой. В руках держит старенькие, истоптанные кирзовые сапоги. Гимнастерка грязная, из-под брюк галифе болтаются когда-то белые, а теперь почерневшие тесемки кальсон.

— Ты куда бежишь? — строго спрашивает младший политрук.

Солдат вытаращил глаза от неожиданности.

— Как куда?! — бормочет он, словно только что очнулся от страшного сна, и растерянно оглядывается по сторонам.

— Ты сам подумай, что ждет тебя, твою семью и нас всех, если все так будут воевать?!

— Их там до чертовой матери, — отвечает солдат, безнадежно махнув рукой в сторону фронта. — От одних минометов с ума спятишь.

Вокруг начинают собираться другие солдаты.

— Что ж, по-твоему, драпать надо? — говорит, волнуясь, младший политрук, с укоризной глядя солдату прямо в глаза и стараясь сразить его одним взглядом.

— А чего делать-то будешь? — спрашивает солдат.

— До Урала и Сибири убежим, а там нас японцы встретят. Куда бежать будем?!

— Оно, конечно, так. Драпать не порядок. Только сила большущая, товарищ начальник.

— Трудновато приходится, — вмешался в разговор другой пожилой солдат с вещевым мешком в одной руке и котелком в другой.

— Выходит, ты хуже фашиста. Он все, а ты — ничего?!

Солдат почесал затылок и продолжал свое:

— У него техника.

— Не техника, а нахальство. Он пользуется тем, что вы бежите, и прет во всю ивановскую... — Младший политрук посмотрел на часы, понял, должно быть, что этот разговор нельзя продолжать до бесконечности, и вдруг скомандовал:

— Построиться!

Перед ним вытянулась неровная шеренга.

— Направо равняйсь! Смирно! — скомандовал он и объявил: — Товарищи! Обратно, на передний край!

Мне нужно было найти бригаду морской пехоты полковника Парафило, защищавшую Таллин со стороны Нарвского шоссе. Младший политрук стал мне объяснять:

— Вам придется ехать в другом направлении. Подождите, придет из Таллина продуктовая машина, и вас туда перебросят. А пока давайте ваш блокнот, я нарисую, как найти КП бригады.

Он нарисовал схему и подробно все объяснил. Действительно, машина скоро пришла, и мы распрощались;

он спешил обратно на свою заставу, а я поехал к перекрестку дорог.

Вот и лес, вот и дорога направо. В зеленой долине — землянки, вытянувшиеся в прямую линию.

По дробному стуку в одной из землянок узнаю полевую типографию: это работает печатная машина.

Боец указывает мне тропинку на командный пункт части. В землянке у телефонного аппарата сидит седой подполковник.

Телефонист надрывается: «Слушай меня, «Барс», я «Пантера», я «Пантера»!..» Нетерпеливо постукивает карандашом по столу кто-то из сотрудников штаба. И только подполковник спокоен, невозмутим. Минут пятнадцать назад КП бригады был обстрелян противником из минометов и временно нарушилась связь с батальонами, которые сражаются на сухопутных рубежах.

— Вызывайте крейсер «Киров», — говорит он связисту. — Мне нужна артиллерийская поддержка. Иначе нас в два счета схарчат.

Проверив мои документы, он без раздумья решает прикомандировать меня к редакции.

Отправляюсь в землянку, где помещаются редакция и типография бригадной многотиражки. Там, у самого входа, — маленький столик, за которым сидят редактор и сотрудник; сразу за их спинами стоят наборщики. В глубине работает печатная машина.

Редактор газеты — политрук Дроздов; самое характерное в его наружности — худоба и высоченный рост. Таких дразнят: «Дяденька, достань воробышка». Он поминутно неловким жестом поправляет очки, сползающие на нос. Как и все командиры штаба, Дроздов в обычной армейской форме, и только якорь на рукаве показывает его принадлежность к морской пехоте.

Сразу чувствуешь себя здесь как в родной семье.

— Давайте с вами сделаем макет номера да побыстрее сверстаем, — предлагает Дроздов. — А то, неровен час, немцы накроют минометным огнем — и поминай как звали нашу газету.

Я рад хоть чем-нибудь быть полезным. Мы распределяем материалы — что пойдет на первую полосу, что на вторую, расклеиваем свежие гранки, придумываем «шапки» с призывами, обращенными к бойцам.

Дроздов передает макет пожилому наборщику и вынимает из кармана часы:

— Ну, дядя Костя, верстай побыстрее, а мы тем временем поужинаем. Пора.

— Пора, — соглашается с ним наборщик.

Дроздов откидывает полотнище, заменяющее дверь. В этот миг взрыв сотрясает землю. Слышен голос: «Всем в укрытие!..»

— Кажется, они бьют не по нашему квадрату. Это был просто шальной снаряд. Пошли ужинать, — предлагает Дроздов.

Лес, овраг, кустарник. Путь довольно далекий.

На берегу реки постройки дачного типа. Мой спутник вдруг останавливается, его лицо выражает удивление.

— Вот это номер! — восклицает Дроздов. — Наша столовая приказала долго жить!

Двухэтажный голубой домик обвалился, словно под собственной тяжестью. Один снаряд пробил крышу, другой — отхватил целый угол.

Нас встречает девушка и говорит дрожащим от испуга голосом:

— Товарищи командиры, вместо ужина получайте сухой паек. На машине с продовольствием выдают хлеб и консервы.

Молча возвращаемся к землянкам. Где-то совсем близко бьют орудия. Тарахтит «максим». Сухо трещат винтовочные выстрелы.

У землянок в раздумье стоит комиссар бригады:

— Противник ведет наступление, пытается нас обойти, — говорит он. — Идет бой за аэродром Лаксберг. В случае необходимости уничтожьте типографию, раздайте патроны, гранаты и будьте начеку.

Вернувшись в землянку, всячески ускоряем выпуск газеты. Номер поступает в машину.

Глубокая ночь. Стрельба как будто стихла. В ту минуту, когда печатник выдал из-под пресса первый оттиск свежего номера газеты, в землянку вошел комиссар бригады.

— Атаки противника отбиты, — сообщил он. — Нас крепко выручили артиллеристы капитана Стрелкова. Завтра же побывайте у них — они стоят в двух километрах отсюда — и дайте материал в газету. А покамест

до утра чего вам тут мучиться — ступайте в любой дом и занимайте какие-нибудь хоромы. Отдохните хорошенько!

Выходим из землянки. Луна заливает лес голубым светом. Оба близорукие, осторожно идем, прислушиваясь к треску сучьев под ногами.

Вот одинокая дача.

Дроздов вынимает из кармана фонарик и освещает дверь. В доме тихо. Никого нет. Все перевернуто вверх тормашками. Должно быть, хозяева спешно эвакуировались. Поднимаемся на второй этаж и укладываемся спать на добротных кроватях красного дерева, накрывшись шинелями. Едва улеглись — по лесу прокатывается грохот взрыва. Противный протяжный свист снарядов. Неужели гитлеровцы решили повторить дневное представление?

— Не обращайте внимания. Если свистит, то не тронет, — комментирует Дроздов.

Вскоре стрельба стихает, но мы никак не можем заснуть; то ли от слишком настороженной тишины, то ли от нервного напряжения.

Кругом так тихо, что даже немножко страшновато. Хочется услышать хотя бы назойливого комара.

Мы долго разговаривали, и я не заметил, как заснул.

Очнулся я от какого-то сотрясения. Протираю глаза — комнату заливает солнце.

— Что такое? — спрашиваю.

— Да известное дело: опять обстреливают. Девятый час. Не пора ли подниматься? Вы двигайтесь к артиллеристам, а я обратно к себе в редакцию. Надо готовить очередной номер, — говорит Дроздов.

Выходим на широкое Пиритское шоссе, где сейчас пролегает линия фронта, и здесь расстаемся.

— Жду статью о Стрелкове, — напоминает Дроздов и уходит к себе в редакцию.

Встретившийся, на мое счастье, лейтенант указывает белый домик близ шоссе: в нем расположен штаб дивизиона капитана Стрелкова.

У ворот домика ходит автоматчик. Услышав пароль, он охотно провожает меня внутрь дома.

Захожу в меблированную семейную квартиру, тоже впопыхах брошенную хозяевами. Здесь все до последней мелочи осталось на своих местах. Только ни одного

стекла не уцелело в рамах, и ветер беспрепятственно гуляет, выхватывая наружу и развевая тюлевые занавеси.

За круглым обеденным столом сидят трое командиров. Один из них поднимается и выходит мне навстречу. Высокий блондин с тонкими чертами лица, с ослепительно белыми зубами.

— Вы, наверно, ко мне? — предупредительно спрашивает он.

— К капитану Стрелкову.

— Ну вот, видите, я угадал, — говорит он, протягивая руку. — Какие пути вас привели сюда?

— Да вот в частях слышал о вашем дивизионе.

— Дивизионе? — сделал удивленные глаза и ухмыльнулся Стрелков. — От дивизиона у меня одно название осталось, а на деле всего три пушки. Эх, будь дивизион, мы бы им показали где раки зимуют. А то в боях я потерял и пушки, и весь взвод управления.

Стрелков тяжело вздохнул, призадумался и сказал:

— Жаль, вы вчера к нам не пришли, посмотрели бы на факельщиков и диверсантов. Подползали они к пушкам, хотели наш народ втихую перерезать, а пушки подорвать... Ну и дали мы им жизни — пятерых на месте уложили, а троих в плен взяли. Вы немного опоздали. Я час назад пленных в Таллин отправил.

— Откуда же они появились?

— Просачиваются мелкими группами. Поджигают дома, панику наводят. Не понимают, что народ-то наш не таковский, чтобы на испуг его взять.

Стрелков подводит меня к карте:

— Тут мы, а вот здесь противник.

— Так близко?

Стрелков берет в руки линейку и прикидывает расстояние.

— Да не очень близко, километра два с половиной будет, — отвечает он и тут же показывает на стол, сервированный к чаю: — Прошу составить компанию. За чаем поговорим о делах.

Маленькая, коротко подстриженная, круглолицая девушка в военной форме, Лида, сидит у аппарата и быстро отвечает на телефонные звонки, записывает донесения, а между делом успевает перевязать раненого бойца.

Возле нее наготове винтовка, а на столе, около телефона, несколько гранат.

Наступил вечер, выдалась свободная минута. Лида повесила зеленые плащ-палатки на окна, зажгла свечи. И в совсем мирной уютной столовой, где стоит тахта, кресла по углам, буфет и даже горшки с цветами, появляется фарфоровый сервиз, хлеб, сахар, печенье, хотя Стрелков, как истинный любитель чая, предпочитает пить его без сладостей и бутербродов...

Только сделал капитан первый глоток, а Лида ему от телефона кричит:

— Товарищ капитан, пост слышит шум моторов авиации!

Стрелков надевает каску, встает из-за стола и крупными шагами идет к выходу.

Минут десять его нет. Лейтенант — начальник штаба дивизиона, — тоже прервав чаепитие, все это время сосредоточенно работает над картой, а Лида тихонько выспрашивает кого-то по телефону:

— Что там за шум, а? В самом деле самолеты? Неужели не знаешь? Шляпа ты, а еще сидишь в «небесной канцелярии»!

— Прекратите пререкаться с «небесной», — строго говорит лейтенант. — Если даже они и знают, не имеют права вам говорить, должны доложить начальству.

«Небесная канцелярия» — так называют наблюдательный пост в соседнем батальоне морской пехоты, который день и ночь следит за противником и обо всех «новостях» информирует штаб артиллерийского дивизиона.

Вскоре возвращается Стрелков; он сбрасывает на стул зеленую плащ-накидку, перчатки, каску и, расчесывая волнистые светлые волосы, посмеиваясь, говорит:

— Тоже мне нашлись звукоулавливатели. Самолета от трактора отличить не могут. Пушки прибыли на смену тем, которые мы разбили, вот и все происшествие. Только оторвали от чая, сатана их возьми... Конечно, с подобными фактами тоже считаться надо. Начальник штаба! Пошлите «инспекцию» (так называл Стрелков свою артиллерийскую разведку). Подберите пять-шесть смекалистых ребят и пусть уточнят обстановку.

— Маршрут? — спрашивает лейтенант.

Стрелков на минуту склоняется над картой и быстро показывает карандашом:

— Вот самый надежный маршрут. Пересечь парк в этом направлении, дальше поляна, шоссе, и они у цели. В общей сложности километра четыре, не более.

Лейтенант выполняет указания командира.

Вскоре он возвращается и докладывает:

— Разведчики посланы.

Время идет, наступает ночь, чай давно уже остыл, а выпить его так и нет времени. Поминутно звонит телефон. На звонки отвечает Лида, а Стрелков и начальник штаба поглощены работой у карты. И когда расчеты закончены, карта отодвинута и можно наконец вздохнуть, раздается стук в дверь.

— Войдите, — отзывается Стрелков.

На пороге несколько бойцов с винтовками и автоматами.

— Наконец-то! — восклицает капитан. — Что же вы так долго? Куда вас унесла нелегкая?

— Не от нас зависело... — объясняет немолодой, крепкий, плечистый боец с густыми бровями и длинными, лихо закрученными усами. — Я третью войну воюю, а такого случая не припомню. Прошли линию фронта. Подползаем к ихним огневым позициям. Гляжу, двое наших матросов стоят и разговаривают между собой. Русские, по форме вижу, что русские... Батюшки мои, думаю, ходили-ходили и к своим пришли. Дорогу перепутали, не иначе. Я, значит, поднялся и запросто подхожу к ним, а ребят своих оставил, пусть лежат на всякий пожарный случай. Подошел. Спрашиваю: «Ребятки, тут какая часть стоит?» А один из них вместо ответа наставляет на меня пистолет и вдруг как гаркнет по-ихнему: «Хальт!» Я его хвать за руку с пистолетом, да, видать, крепко хватил, пистолет-то как миленький в мою руку перепрыгнул.

Командир разведки вынимает из кармана и передает Стрелкову новенький парабеллум.

— Ребята мои видят, дело неладно, вскочили — и ко мне. Одного этого «хальта» мы в два счета на тот свет отправили. А другой силен оказался, кричать хотел. Ну, мы и с ним справились. Стали дальше пробираться. Смотрим, костер, и у костра десятка три таких же самых типов во всем нашем, в матросском. Тут мы сторонкой

пошли. Еще с полкилометра по лесу отмахали и слышим — моторы работают. Подошли ближе, глядим, тракторы пушки тянут. Заметили место — и обратно. На шоссе самоходные орудия видели, прямо у дороги восемь машин ночуют.

— Понятно, понятно, — повторяет Стрелков, а сам о чем-то сосредоточенно думает. — Теперь нанесем на карту пушки и самоходки...

Разведчики окружают стол, и каждый из них делает необходимые уточнения. Затем Стрелков командует:

— Лида! Чаю! На восемь персон!

Разведчики снимают зеленые маскировочные халаты, причесываются у зеркала и садятся к столу.

В предвкушении удовольствия Стрелков ходит по комнате, потирает руки и улыбается своей ослепительно светлой улыбкой. Но Лида появляется на пороге мрачная и с пустыми руками.

— Товарищ капитан, вас срочно «небесная».

Стрелков подбегает к телефону.

— Самоходные? — кричит он в трубку. — В каком направлении? Есть! Бегу.

Он бросает трубку на стол, торопливо надевает каску, плащ-накидку, перчатки и на ходу говорит лейтенанту:

— Вы останетесь за меня. Командуйте.

Стрелков сбегает с крыльца и спешит на гул пушечных выстрелов.

Пробежав сквозь кустарник и очутившись в окопе на наблюдательном пункте, капитан прильнул глазами к биноклю: справа и слева в кустах желтые вспышки. Он еще точно не знает, где самоходные орудия, и только вспышки пламени поминутно мелькают перед глазами.

А у ближайшей пушки бойцы уже в движении: подают снаряды, отскакивают назад, в момент выстрела поворачивают голову в сторону, а едва промелькнет огненная вспышка и пройдет горячая волна, они снова у пушки.

К Стрелкову подходит артиллерист и спешит предупредить:

— Вы их не увидите, товарищ капитан. Они утекают. Даем отсечный огонь. «Небесная» ведет наблюдение...

Слова артиллериста тонут в новых и новых раскатах пушечных выстрелов. Стрелков, не отрываясь от би-

нокля, смотрит вдаль, передает бинокль в руки артиллериста и говорит ему:

— Смотрите правее на лесок, за отдельным домиком. Там, безусловно, самоходки. Огонь перенести на этот квадрат.

Артиллерист звонит по телефону и повторяет приказание. Стрелков, оставаясь на месте, не замечает ни ослепительных вспышек, ни грохота, ни свиста ответных снарядов, разрывающихся где-то поблизости. Он продолжает наблюдать за этим далеким лесом, куда только что перенесли огонь.

Бронированные машины! Они вырвались из леса и держат курс на наши огневые позиции. Мчатся и на ходу стреляют трассирующими снарядами.

— По самоходным орудиям прямой наводкой! — командует Стрелков.

И пошел — снаряд за снарядом.

А самоходки все ближе и ближе. Из орудий вырывается огонь. Бесконечной чередой летят в нашу сторону светящиеся трассы.

Еще несколько секунд, и самоходки раздавят и пушки, и людей.

Какой-то боец хватает несколько гранат и пригибается к земле, ожидая решающего мгновения.

И вот прокатывается взрыв и затем уже совсем слабый, затухающий рокот. А пушки, не переставая, бьют и бьют, расстреливая в упор две вражеские машины,—они пылают посреди поля. Третья на полной скорости спешит обратно в лес.

Бой длится считанные минуты, но кажется, что прошла вечность.

...Стрелков не уходит с огневых позиций, пока не разобрали и не уложили стреляные гильзы, пока все не убрано, не подчищено, пока он не поговорил со всеми командирами орудий и не получил от них подробного доклада. И только когда над пушками натянуты зеленые маскировочные сетки, он, усталый, возвращается в домик.

Придя в свою штаб-квартиру, он прежде всего обращается к начальнику штаба:

— Боевое донесение готово?

— Так точно, товарищ капитан!

Начальник штаба протягивает листок. Стрелков чи-

тает, ставит свою подпись и, возвращая донесение, приказывает:

— Сейчас же с нарочным в штаб флота. Да еще позвоните в «небесную канцелярию», передайте им мою благодарность. Молодцы! Отлично наблюдали и докладывали!

А потом улыбается и спрашивает у Лиды:

— Как думаешь, после трудов праведных чего моей душе нужно?

Лида, не отвечая, бежит на кухню за чайником.

— Только покрепче, Лидочка, — кричит ей вслед Стрелков, — покрепче! И как можно быстрее, а то опять приключится что-нибудь и сорвется наше чаепитие.

На сей раз Стрелкову удается насладиться чаем. Никто его не отрывает. Даже телефон притих на это время. Только к концу чаепития является пожилой человек — старший лейтенант Илья Васильевич Шевченко и спрашивает Стрелкова:

— Вы не забыли, что через полчаса у нас партийное собрание?

— Как же, отлично помню. Еще стаканчик проглочу и потом целиком в вашем распоряжении.

Шевченко посмеивается. Он, очевидно, привык к характеру капитана Стрелкова, которому только за чаем и есть время пошутить, посмеяться, отвести душу с друзьями.

Даже за короткое пребывание в домике артиллеристов легко заметить, что капитан тут не только старший начальник, командир, но и самый любимый товарищ. И особенно это не может скрыть Лида. Сидя у телефона, выполняя множество разных обязанностей, она пристально следит за Стрелковым, за тем, что он делает, с кем говорит, прислушивается к каждому его слову. Сразу видно: она живет только его интересами.

Она знает, что аккуратность у Стрелкова на первом плане. Лида по ночам стирает ему белье, утюжит брюки и гимнастерку.

И было так неожиданно и странно, когда Лида вдруг извлекла откуда-то портрет красивой молодой девушки, тайком показала мне и объяснила: «Невеста нашего капитана». Это было сказано с самыми добрыми чувствами, с радостью за своего кумира. Тогда мне захотелось спросить Лиду кое о чем, постараться понять ее

отношения со Стрелковым, но, уловив мою мысль, она замкнулась, как улитка в своей раковине.

В сумерках столовая капитана Стрелкова заполняется бойцами-коммунистами. Теперь уже здесь совсем другая атмосфера. Нет места для шуток. Коммунисты собрались вместе, чтобы обсудить, как воевали в последние дни.

Капитан Стрелков дает оценку каждому орудийному расчету и очень много говорит о людях, проявивших себя храбрыми и умелыми воинами.

— К примеру сказать, наводчик Морозов за двоих работал: свое дело успевал и, когда туговато было, снаряды подносил к орудию. К тому же и в разведке Морозов не опростоволосился. Принес ценные данные, хотя встретил гитлеровцев, одетых в нашу флотскую форму, и чуть было к ним в лапы не угодил.

Все взгляды обращены на плечистого человека с густыми бровями и длинными, лихо закрученными усами. Он сидит в стороне, смущенно опустив голову.

— Мы, товарищи, в эти дни крепко поработали, много уничтожили техники и живой силы врага. Держимся, хотя и трудно бывает, — продолжает Стрелков. — Нашим лучшим бойцам, и в частности товарищу Морозову, я даю рекомендацию для вступления в партию.

Доходит очередь до разбора заявлений о приеме в партию. Высокий, грузный усач поднимается во весь богатырский рост и рассказывает свою биографию потомственного рабочего-грузчика Ленинградского торгового порта.

— Вопросы к товарищу Морозову есть? — спрашивает председатель.

Молчание. Единогласно голосуют артиллеристы за принятие в партию Морозова.

Собрание заканчивается уже в темноте. Все уходят на огневые позиции. Только Фому Морозова попросили остаться.

— Стало быть, в нашем полку прибыло. Еще раз поздравляю, Фома Гордеевич, — говорит Стрелков, пожимая руку Морозову, и, видя его смущение, добавляет: — За дело вас, Фома Гордеевич, приняли в партию, и заодно скажу по секрету, что мы вас к званию старшины представляем.

— Спасибо, товарищ капитан! Давно у меня не было

такой радости, как сегодня. Только звание не обязательно, не за звания воюем. И вообще, не знаю, сумею ли оправдать.

— Сумеете, сумеете, — перебивает Стрелков и, взглянув на часы, объявляет: — Поскольку выбыл из строя весь взвод управления, сегодня в ночь хочу опять послать вас в разведку. Сейчас вместе с начальником штаба отберите людей. Один час на подготовку. Наметим маршрут — и действуйте.

— Есть, товарищ капитан. Когда прикажете выступить? — спрашивает, вытянувшись в струнку и козырнув, Фома Гордеевич Морозов.

После собрания мы с Шевченко идем на артиллерийские позиции. Темнота, как говорится, хоть глаз выколи. Но мой спутник по-хозяйски уверенно шагает вперед. С ним рядом и я чувствую себя спокойно.

— Целый месяц в этих местах воюем. Каждую тропинку исходили, наизусть знаем, — говорит он. — К тому же я охотник. А охотники собачьим нюхом обладают.

Илья Васильевич невелик ростом и на вид совсем не крепкого здоровья. Во время собрания я смотрел на его впалые щеки и думал, не болеет ли он. Теперь я высказал ему свое опасение. Он живо откликнулся:

— Не беспокойтесь! Никакая хворь меня не берет. У нас с ней поединок: кто кого? Туго ей со мной приходится. Я ведь видал виды. Еще в гражданку в органах ВЧК служил. Белогвардейские мятежи подавляли. Тогда меня в грудь ранило. С тех пор живу, как это в песне поется, «на честном слове и на одном крыле». Лечиться не раз посылали. Даже вызывали в райком и в добровольно-принудительном порядке хотели на курорт спровадить. Да, знаете, вечно работа не пускает. Хлопотно быть директором школы: то учебный год кончается, то подготовка к новому году. А в разгар года и подавно никуда не уедешь. Так одно за другим бесконечной чередой и тянется. Никак не выбраться. Жена алоем лечила. Приготовит с медом да с маслом кашу. Горечь, в рот не взять. Три раза в день этой гадостью потчует. Ничего, держался! А нынче и вовсе не до болезней. Такая горячка, что забудешь, как тебя зовут...

Мы шли, углубляясь в лес. Пахло хвоей, и была такая удивительная тишина, что никак не верилось в близость к фронту, к передовой, где всего несколько часов

назад гремели раскаты орудий и люди падали, сраженные пулями и осколками снарядов.

На нашем пути из леса донесся хриплый голос: «Пропуск!»

— Затвор! — сообщил парторг.

— Патрон! — отозвался боец.

Дружески поздоровавшись, Шевченко спросил солдата:

— Что у тебя, Васильевич, голос стал похож на скрипучую телегу?

— Простыл малость, товарищ старший лейтенант!

— В такую жару и простыть. Это надо умудриться. Письмишко принес тебе, Васильевич!

— От кого же? — обрадовался солдат.

— Не знаю. Читать чужие письма никому не положено, кроме военной цензуры. На обратном адресе указано: «Хвалебнова Матрена Трофимовна».

— Она, она! Жинка! — в восторге крикнул солдат. — Целый месяц не отзывалась. Родственникам, в райисполком писал. Никто не отвечает. Не знал, что и думать. Вся душа переболела. Эх, почитать бы! И фонарик есть, да боюсь светомаскировку нарушу. Уж как-нибудь потерплю до рассвета.

Он взял письмо и, пошелестев бумагой, куда-то его спрятал.

Наши голоса привлекли внимание людей, находившихся поблизости, они стали собираться и вступать в разговор, но Шевченко строго сказал:

— Давайте, друзья, не устраивать собраний.

Кто-то возразил, что по ночам немцы не воюют.

— Знаю, что не воюют, а все же лучше соблюдать тишину и порядок. В таком деле перестраховка только на пользу, — шутя заметил Шевченко. —Прошлой ночью они не воевали, а сегодня подумают, да и решат прощупать наши силы. Пойдут в атаку, а мы, вместо того чтобы вовремя спохватиться да бой дать, разинями окажемся. За такое ротозейство люди не раз жизнью расплачивались, так что давайте не повторять ошибок. И зорче смотрите. Ведь до противника пятьсот метров не будет.

Все молча разошлись на свои посты.

Я думал, что теперь мы повернем обратно, но Илья

Васильевич продолжал шагать вперед, объяснив мне, что ему нужно еще кое с кем повидаться.

Через несколько минут мы оказались возле пушки. На голос Шевченко откликнулся нестройный хор солдатских голосов.

— Товарищ Карамышев! Прошу ко мне, — сказал Шевченко командиру орудия.

Тот вырос из темноты, и мы втроем отошли в сторону. Илья Васильевич протянул ему газеты и спросил, как дела.

— Все бы хорошо, да неприятность случилась, — дрогнувшим голосом ответил тот.

— А что такое? — насторожился Шевченко.

— Под вечер немецкие самоходки в последний раз нас атаковали. Шпарили из пушек и пулеметов — нет спасения. Стоило нам чуть сплоховать — и пушки наши прощай, и людей передавили бы... Ну, мы не дали маху. Чесанули их как следует. Ребята здорово дрались. Только Кулешов — подносчик снарядов — к концу боя чего-то испугался и в канаву нырнул. Теперь не знаю, что с ним делать. Хотел до вас дойти, посоветоваться, да хозяйство не оставишь.

Наступили долгие томительные минуты, во время которых Илья Васильевич и командир орудия молчали. И только слышалось их частое дыхание.

Наконец после раздумья Шевченко сказал:

— За такое дело по закону в трибунал и к расстрелу. А по совести, может, и что другое можно придумать.

Он опять замолчал, подумал и проговорил:

— Где твой Кулешов? Зови его сюда, потолкуем.

Через несколько минут из темноты мы услышали молодой и задорный голос:

— Рядовой Кулешов по вашему приказанию прибыл!

— Как же это с тобой случилось, товарищ Кулешов? — строго и с упреком спросил Илья Васильевич.

— Сплоховал малость, товарищ парторг. Убей, не помню, как произошло. Сама нечистая сила меня в этот ров толкнула.

— У тебя есть родители?

— Есть, — мрачно процедил Кулешов. — В Сибири живут, на железной дороге. Батя — стрелочник, а мать — по домашнему хозяйству...

— Ну, вот представь себе такую картину, — рассуждал Шевченко. — Стоит твой папаша, стрелки переводит, воинские эшелоны на фронт пропускает и думает: «Мой сын тоже на фронте воюет, своей кровью победу добывает». А сын-то, оказывается, трус. На него идут немцы, а он, вместо того чтобы отстреливаться, с поля боя бежит, свою шкуру спасает. Ему наплевать на отца с матерью, на Родину, на что угодно. Ему лишь бы себя уберечь. Так, что ли? — гневно спросил Шевченко.

Ответ последовал не сразу. Сначала мы услышали всхлипывания, потом дрожащий голос:

— Я, товарищ парторг, убоялся. Мне стыдно перед товарищами, перед вами, перед всем миром. По несознательности так получилось...

— Доложу капитану Стрелкову, — строго сказал Шевченко. — Его дело решать. Только учти, товарищ Кулешов, ты совершил преступление перед Родиной. Сам улизнул, а солдаты погибайте. Хорошо, что они не похожи на тебя, выстояли под огнем и отразили атаку. А если бы все так вели себя, нас бы немцы давно перебили.

Опять наступило тягостное молчание, и, хотя я не мог видеть Кулешова, мне казалось, что гневные слова Шевченко по-настоящему взволновали молодого солдата.

Мы возвращались обратно. Теперь Шевченко был в мрачном настроении и молчал. Только у самого домика капитана Стрелкова он остановился, тронул меня за локоть и сказал:

— А все-таки этого парня в трибунал отдавать не следует. Я уверен, что именно теперь он будет воевать не за страх, а за совесть.

* * *

Стрелков бодрствует всю ночь. Он что-то измеряет на карте, подсчитывает, разговаривает по телефону с соседними подразделениями, стараясь уточнить обстановку.

В минуты затишья, когда кажется, все дела уже сделаны, он идет на кухню и скоро возвращается с чайником, из которого выбиваются струйки пара.

— Давайте по чашечке, — говорит он, обращаясь ко мне, и с каким-то озорством добавляет: — От чая, кажется, еще никто не умер и даже не заболел.

В соседних комнатах спят боевые друзья Стрелкова, а мы сидим за круглым столом и пьем чай, как, вероятно, сидели по вечерам здесь хозяева дома.

До чего тихо и мирно в этот ночной час!

Обстановка располагает к дружескому, задушевному разговору. Мы начинаем с событий истекшего дня, и Стрелков, растирая ладонью потный лоб, нехотя возвращается к тому неприятному случаю, что произошел под вечер во время последней атаки немецких самоходных орудий.

— Я с детства люблю книги о героях,— говорит он.— Но ведь многие из них неверно освещают саму природу героизма. По книгам получается, что люди чуть ли не с самых пеленок делаются героями. Расписывают какого-нибудь там летчика. Начинают, конечно, с детства. И вот убеждают читателя, что, дескать, он еще пешком под стол ходил, а уже имел железный характер. И все в таком роде... А ведь это неправда. В жизни дело обстоит совсем иначе. Особенно это видишь на войне, где человек все время ходит рядом со смертью. И очень часто случается так, что юноша первый раз попал в боевую обстановку и растерялся, струсил, как мы говорим. А назавтра он уже не боится, первым идет в наступление и нередко погибает поистине геройской смертью. Так и с этим парнишкой Кулешовым. Конечно, я имел все основания его отдать в трибунал. Мы посовещались с парторгом и решили не торопиться: поскольку парень сам понял, что у него совесть не чиста, дадим ему возможность исправиться. Ведь тут люди проверяются не годами, завтра же все будет ясно...

Он сделал несколько глотков, отодвинул в сторону чашку и с той же горячностью продолжал:

— Вы видели, какой у нас парторг. Я не зря дрался за него в отделе кадров. Это же золотой человек! Как раз такой советчик мне и нужен. Я сам-то парень молодой, горячий и могу иной раз чего-нибудь накуролесить. А с ним живешь — ума и мудрости набираешься.

Я почувствовал, что у Стрелкова накопилось много такого личного и сокровенного, чем он хочет поделиться, невзирая на то, что мы знакомы всего один день.

— Подумайте, как мне не повезло. Только облюбовал дивчину, собрались пожениться, а тут война. Даже не смогли попрощаться. И вот странная штука — мне ка-

жется, что по-настоящему я полюбил ее только здесь, на фронте. Если честно сказать, она у меня из головы не выходит. Вы не знаете, как выяснить, где она, что с ней? И вообще, жива ли? Она бедовая дивчина, комсомолка. Думаю, тоже пошла на фронт.

— Какая у нее специальность?

— Медицинский институт кончала. Без пяти минут врач...

— Ну, в таком случае она наверняка на фронте.

— Наверняка, — подтвердил Стрелков, откинулся на спинку стула, опустил голову, задумался и вдруг, о чем-то вспомнив, сказал:

— Через две недели ее день рождения. Как вы думаете, если я аттестат вышлю, — не обидится?

— Куда же вы пошлете аттестат?

— Пошлю ее родителям, а они переправят куда надо.

Я усомнился в правильности такой мысли, но, должно быть, для Стрелкова это был уже давно решенный вопрос.

— Хотите посмотреть, как она выглядит? — спросил он и, не дождавшись моего ответа, вынул из кармана гимнастерки уже знакомую мне фотографию. Я сделал вид, что увидел ее впервые.

Когда наш разговор близился к концу, я осторожно намекнул Стрелкову о Лиде. Меня очень интересовало, кто она в прошлом и как попала на фронт.

— История Лиды прямо-таки любопытная, — отозвался Стрелков. — Я мог бы ее вам рассказать. Только вряд ли она вам пригодится.

— Нет, почему же, расскажите, — попросил я.

Он поднялся, крепко закрыл дверь в ту комнату, где спала Лида, снова сел рядом, откинулся на спинку стула и начал свой рассказ:

— В самые первые дни войны я служил в оперативном отделе крупного воинского штаба. Мы отступали. Управление было потеряно. Часть наших войск дралась в окружении. Наш штаб двигался на машинах. Не успевали мы приехать в деревню и расквартироваться, как нас начинали бомбить самолеты. Едва оглянешься — а тут как тут немецкие автоматчики на мотоциклах. Мы опять на машины и катили дальше. Измотались вконец. В одной деревушке задержались на ночь. Я влетел в пер-

вую попавшуюся избу и застал там плачущую девушку. Мне с трудом удалось ее растормошить и узнать, что она проводила в армию отца, двух братьев и теперь не знает, что делать. Времени у меня было мало, я попросил разрешения здесь заночевать, оставил свои пожитки и побежал составлять донесение.

Отправил, значит, я донесение, едва плетусь на ночевку, ноги подкашиваются от усталости. Захожу в избу, смотрю и глазам своим не верю: по-праздничному накрыт стол, кипит самовар, все, что из еды было в доме, все выставлено на стол. Молодая хозяйка улыбается. А мне совсем не до улыбок. Смертельно устал, одно желание — спать, но, поскольку вижу такое гостеприимство, приободрился, сел за стол. И, знаете, почувствовал вдруг столько тепла, столько сердечности. Как ребенок обрадовался, что можно хоть на час-два забыться от тяжких дум. Хозяйка тоже как-то воспрянула духом, угощает, точно я родной человек, не отрываясь смотрит в глаза и наливает мне густого, крепкого чая, одну чашку за другой. Попили чаек. Я не мог больше сидеть, прилег на скамейке и заснул. И вот слышу — стреляют, не то во сне, не то наяву. Я вскочил, вмиг оделся. Вижу, моя хозяйка сидит и плачет. В этот момент она мне показалась такой жалкой и одинокой. Думаю, останется тут на поругание фашистам. Я сказал: «Пойдем с нами. Все равно сюда придут немцы, и тебе жизни не будет». Она улыбнулась сквозь слезы и без раздумья набросила платок. Мы выбежали на улицу, сели в первую попавшуюся машину и уехали дальше искать новое пристанище.

Это и была Лида. В маленькой деревушке нас свела судьба, и с тех пор мы много дорог прошли вместе. Я полюбил ее, как сестру. Кстати, с того памятного дня и повелась у нас чайная традиция.

Мне кажется, что Лида меня любит, но она знает, что у меня есть невеста.

Стрелков задумался и, судя по всему, собирался рассказать мне еще многое, но тут раздался стук в дверь, и вошли разведчики.

Стрелков мгновенно преобразился. Словно и не было у нас этого откровенного разговора. Я видел снова подтянутого, энергичного командира, поглощенного боевой работой. Он нанес на карту новые данные о самоходных орудиях противника, занявших исходное положение для

атаки. Лида, заспанная, выбежала из комнаты и села у телефонного аппарата. Через несколько минут прогрохотал выстрел. Начался артиллерийский бой. В маленьком домике дрожали стены. Стрелков, не отрываясь от карты, прижимал к уху телефонную трубку, управлял огнем и сам принимал донесения. «Небесная» доложила, что уничтожено четыре самоходных орудия и машина с горючим. Остальные самоходки отошли. За ними продолжается наблюдение.

* * *

Почти двое суток, проведенных у капитана Стрелкова, были полны событий. Теперь мне надо было возвращаться в бригаду морской пехоты. Наверно, Дроздов уже верстает очередной номер газеты и ждет материал о капитане Стрелкове.

Выхожу на Пиритское шоссе. Какие здесь перемены! Гладкий асфальт во многих местах покорежен снарядами. В лужах крови валяются лошади, убитые, должно быть, всего несколько часов тому назад. В обе стороны по шоссе движется поток людей, машин и повозок. Шагают отряды солдат. Связисты тянут по обочине проволоку. Люди в гражданском платье везут на ручных тележках и в детских колясочках домашний скарб.

Все озабочены, все спешат. Только раненые, с перевязанными руками, ногами, с марлевыми повязками на головах, не спеша ковыляют в тыл.

Далеко от берега, на рейде, видны силуэты наших боевых кораблей. По воде прокатываются гулкие залпы. Над головой со свистом пролетают снаряды.

— Это наши стреляют, — говорит матрос, нагруженный патронами и тоже стремящийся к линии фронта.

Прежним путем иду к штабу бригады. Прыгаю с песчаных откосов, карабкаюсь по пригоркам; еще один перевал — и выйду прямо к землянкам.

Но вокруг — ни души. Только нарастающее хлопанье винтовочных выстрелов и пулеметные трели.

Странно: так близко от штаба и никто не окликает.

При входе в штабную землянку раньше висел кусок парусины. Теперь его нет. В землянке пусто. На полу — обгоревшие листки бумаги, несколько пустых консервных банок. Нары сломаны. Ясно: ушли в другое место.

Из леса доносится стрельба. Стреляют и позади, и где-то впереди. Перейдя широкую полосу асфальта, прыгаю в глубокую траншею по ту сторону шоссе.

— Стой! Руки вверх! — слышу возглас.

Ко мне бегут наши бойцы. Матрос, на бескозырке у которого скопилась серая пыль, подходит вплотную и сердито требует: «Документы!»

Возвратив документы, он говорит так же сердито:

— Что же вы, товарищ, находитесь где не положено? Не знаете, где линия фронта, а?

— Штаб Парафило ищу, — объясняю я. — Где он сейчас?

— Вот этого вам сказать не могу, — нахмурился краснофлотец. — Бойца к вам прикомандирую, он вас доведет.

Через несколько минут мы оказались у двухэтажной дачи. Входим. Снова встреча с седым подполковником. Рассказываю ему о Стрелкове. Спрашиваю, какие события произошли за эти сутки.

— Противник атаковал аэродром, — рассказывает подполковник. — Был жаркий бой. Мы уничтожили целый батальон пехоты. Они видят, что штурмом взять Таллин не так-то просто. Потому изменили тактику, стремятся просочиться в город мелкими группами, особенно в районе Косе. Наша бригада тоже несет потери, но держимся на прежнем рубеже. Если хотите поговорить с нашими людьми, побывайте в первом батальоне. Он недалеко от штаба, вот здесь, — показывает подполковник на карте.

...Снова Пиритское шоссе, поток машин, людей, повозок.

На развилке дорог у заставы самая обстоятельная проверка документов.

— Это по случаю чего же такие строгости? — спрашиваю у старшего политрука, который долго и подозрительно изучает мои документы.

— Вчера тут двое на легковой машине хотели проскочить в Таллин, — поясняет старший политрук.

— Кто же такие?

— Разведчики из гитлеровского штаба, только в нашей форме. Мы их нюхом почувствовали, сцапали и отправили куда следует.

Справа и слева от заставы — огневая позиция. В густой зелени замаскирована пушка. Возле нее наготове ящики со снарядами. В окопах пулеметчики со своими «максимами».

К линии фронта идут новые подкрепления. Вот проходит шеренга бойцов. Люди пожилые, мешковатые, сразу видно — из запаса.

Дорогу заняли машины, и бойцы остановились на несколько минут. Всматриваюсь в лицо командира. Вот неожиданность! Да это же редактор бригадной многотиражки политрук Дроздов! Он в шинели, перетянутой портупеей. Гранаты на поясе. В руках полевая сумка.

— Вы куда? — спрашиваю.

— На передовые, воевать.

— А как же газета?

— Газета? — Дроздов махнул рукой и показал на свою колонну: — Автобус, шрифты и машину пока оставили в обозе. Наборщики и печатники здесь.

О чем-то вспомнив, он открыл сумку, вынул оттуда вчетверо сложенный, густо исписанный листок бумаги и передал мне:

— Вот эту корреспонденцию прошу переслать по назначению.

Он что-то еще хотел сказать, но не успел — машины тронулись. Дроздов скомандовал: «Шагом марш!» — и очень скоро скрылся за поворотом вместе со своим маленьким отрядом.

А я тут же прочитал переданный мне листок. Вот что в нем говорилось:

«Если я не вернусь — прошу это письмо вручить моей матери.

Дорогая мама!

Мы в Эстонии. Сражаемся уже два месяца. Теперь война приближается к Таллину. Дело идет к развязке. Наступили самые критические дни. Ты знаешь, что я всегда был журналистом и моим оружием было перо. Сейчас у меня в руках другое, самое настоящее боевое оружие, с которым пойду в атаку. Надо правде смотреть в глаза: очень возможно, что я уйду на передовую и мы с тобой больше никогда не увидимся. Я не хочу умирать в свои молодые годы, мне жаль оставлять тебя, но можно ли об этом думать, когда решается судьба всего нашего государства. Если мы с тобой больше не встре-

тимся — очень прошу тебя: не плачь, не горюй. Знай, что твой сын честно и до конца защищал любимую Родину. Прощай, родная! Крепко обнимаю тебя и всех моих родных и друзей».

Неожиданно я услышал знакомый голос:

— Что вы читаете?

Рядом стоял Всеволод Витальевич Вишневский в помятом, запыленном кителе. Черные флотские брюки были заправлены в русские сапоги.

Вишневский тоже прочитал письмо. Лицо его нахмурилось, на переносице обозначилась глубокая морщина.

— После войны такие письма будут храниться в музее как самые драгоценные реликвии, — сказал Всеволод Витальевич, возвращая мне письмо.

— Вы что здесь делаете? — спросил я, обрадованный этой неожиданной встречей.

— Изучаю обстановку и с народом беседую. Тяжело. Противник крепко жмет. Люди, сжав зубы, держатся, пружинят.

Просвистели снаряды. И точно эхо, где-то совсем близко прокатилось несколько глухих взрывов. Всеволод Витальевич усмехнулся, заметив, как моя голова инстинктивно втянулась в плечи:

— Эх вы! Сразу видно, что необстрелянный...

Вишневский дружески взял меня под руку и привел к бойцам, которые поблизости от шоссе маскировали орудие, только что установленное на новой огневой позиции.

Бойцы встретили Вишневского как старого знакомого. К нему сразу же обратился маленький круглолицый сержант:

— Товарищ полковой комиссар, вопросик есть: фронт у нас не сплошной, мало нас, а гитлеровцы в город лезут, по пятку, по десятку просачиваются. Чего доброго, там соберется целый полк. Как ударит нам в спину, что делать будем?

— Биться! — резко ответил Вишневский и уже спокойно, рассудительно продолжал: — Вы думаете, это первый случай в истории? Такая же картина была в Мадриде во время боев. Целые подразделения фашистов умудрялись пробираться через боевые порядки республиканских войск. И что же? Кто-нибудь отходил? Нет!

Фашистов вылавливали, обезвреживали, а линию фронта держали на крепком замке.

— Откуда вы это знаете? — с наивным любопытством снова спросил сержант.

— Я сам был в Испании. Ходил в наступление. Всего насмотрелся...

Это всех заинтересовало. Артиллеристы обступили Вишневского, и кто-то из них сказал:

— Расскажите, пожалуйста, как там воевали.

— Обстановка была потруднее, чем у нас в Таллине. Дрались крепко. Не на жизнь, а на смерть. Ну, а уж нам, русским, и подавно не трусить. Надо знать историю. Два раза мы приходили в Берлин. И третий раз там будем.

Слушая Вишневского и глядя на возбужденные лица артиллеристов, изнуренных долгими боями, я видел, что сейчас в этих людях поднимаются какие-то новые, еще не растраченные силы, и если потребуется через час, через два принять бой, они будут отчаянно сражаться с фашистами.

ЕЖИК

На командный пункт первого батальона, разместившийся в пригороде Таллина в каком-то погребе-овощехранилище, где еще осталось немало прошлогодней картошки, я попал в самый разгар боя.

Командир батальона — высокий, стройный. майор — говорил:

— Нам нельзя зевать. Мы прикрываем главную магистраль.

Он сообщил, что батальон сформирован из моряков-добровольцев, изъявивших желание пойти с кораблей и из частей береговой обороны на сухопутный фронт.

— У нас не было времени осваивать тактику пехоты. Мы только пришли — и сразу в бой, учимся, как говорили в мирное время, без отрыва от производства. Не умели окапываться, тактики пехотной не знали. А пришли сюда — и живо освоили это дело. Ребята у меня золотые. За сегодняшний день пять атак отбили.

Во время рассказа комбата из глубины погреба послышался голос телефониста:

— Товарищ майор, вас.

Майор поднялся и подошел к аппарату. Разговоры на КП сразу прекратились. Все настороженно прислушивались к словам комбата, следили за каждым его движением.

— Скапливаются? Так... так... — повторял комбат, и все догадывались, что фашисты, начавшие артиллерийскую подготовку, вот-вот бросятся в атаку. — Передайте Шувалову, — продолжал майор, — комбат приказал держаться. Если будет нужно, поможем артиллерией.

Шувалов? Знакомая фамилия! Да уж не тот ли это комсомолец-сигнальщик, который спас важные документы с погибшего корабля? Конечно он!

Я вспомнил знакомство с матросом Шуваловым.

Еще три недели назад мы встретились с ним в таллинском госпитале. На садовой скамейке среди раненых моряков сидел юноша в синем халате, со вздернутым носом, толстыми губами, задорным мальчишеским лицом. Белая повязка из бинтов, охватывавшая его голову, напоминала чалму. Он срывал с веток большие зеленые листья, мял их, комкал и рвал на мелкие куски.

Шувалов тогда вполне искренне удивился моему неожиданному появлению в госпитале, узнав, что я военный корреспондент и что мне поручено написать о его подвиге.

— Подвиге? — переспросил он, глядя на меня испуганными глазами. — Да какой же может быть подвиг, ежели наш корабль потоплен?!

— Как в такой суматохе вам пришла мысль о документах? — сразу попытался я выяснить у Шувалова.

Он стал всячески уклоняться от разговора со мной. Я не раз встречал на войне людей, любивших порисоваться и представить себя воплощением скромности. Это всегда было неприятно. Вот поэтому я и теперь решил не уговаривать Шувалова, спрятал блокнот в карман и, не скрывая своей обиды, собрался уходить. Тогда кто-то из раненых краснофлотцев рассердился и крикнул ему: «Ну, чего ломаешься, как сдобный пряник?! Разве не видишь, что человек к тебе по делу пришел?»

Шувалов почувствовал себя неловко перед друзьями, бросил в траву скомканные листья, поправил марлевую чалму, съезжавшую на лоб, облокотился на спинку садовой скамейки и, сначала нехотя, а затем незаметно для

самого себя все больше и больше увлекаясь, стал рассказывать:

— Утром пришли мы в бухту, ждем приказаний. А я только на вахту заступил, гляжу — из-за леса самолеты не наши... Зенитчики сразу открыли огонь. А эти сволочные пикировщики уже над нами. Несколько бомб упало в воду, а одна на палубу. Бензин вспыхнул.

Мы тушили пожар, пока вода к палубе не подступила. Вдруг — взрыв! Меня отбросило в сторону. Дотронулся до носа и ушей — кровь. Думаю: «Ну, все кончено, отпахался». Потом все-таки пришел в себя. Открыл глаза, схватился за бинокль и обратно на пост. Гляжу — командир убит. Помощник командира занял его место. Увидел меня и кричит: «Шувалов, спасать документы!» Я — в штурманскую рубку. В дыму едва пробился. Нащупал вахтенный журнал, карты. Что влезло — за пазуху, остальное — в огонь. Корабль наш стал погружаться. Меня сняли на катер. Вот и уцелел.

Заканчивая свой короткий рассказ, Василий Шувалов с юношеской непосредственностью спросил меня:

— Интересно, в Москве узнают о нашем корабле?

Стоявший рядом со мной матрос с перевязанной рукой быстро сказал:

— Конечно, узнают! В Москву докладывают обо всем, что происходит на Балтике. Доложат и о твоем корабле.

— Обо всем не доложишь, — продолжал упорствовать Шувалов.

— Ну, в таком случае ты пошли особое донесение, — шутливым тоном проговорил тот же матрос.

— У вас ранение? — спросил я Шувалова.

— Нет, контузило малость. — Он показал на завязанную голову. — Все это пустяки, корабль жаль.

— Да, жаль. Хоть старый был корабль, а жалко, — заметил кто-то из матросов.

Василий Шувалов махнул рукой.

— Ну, ладно, братва, не горюйте. Немного поправимся — и на фронт под Таллин. Верно?

— Точно так, — сказал один из его друзей. — Время горячее, что на корабле, что на суше — без дела не будем.

Мы попрощались. Шувалов еще раз, теперь уже без

всякого желания порисоваться, просто и естественно, но очень категорически заявил:

— Если будете писать в газету — обо мне ни слова. Даже фамилию, пожалуйста, не упоминайте.

— Это почему же? — спросил я.

— Долго объяснять. Не надо, и все! — грубо ответил он.

Мне не хотелось обмануть доверие юноши, но вместе с тем он меня озадачил: в самом деле, почему же нельзя упоминать его имя? Я стал искать ответ и получил его неожиданно быстро.

Оказалось, что в том же госпитале находится тяжело пострадавший от ожогов комиссар погибшего корабля. Я зашел в его палату, залитую солнцем. Человек средних лет с худым лицом, обезображенным черными пятнами ожогов, неподвижно лежал на спине, и только в полузакрытых, спокойных, но очень зорких глазах его чуть теплилась жизнь.

Я спросил его, какого он мнения о Шувалове, и услышал волнующий рассказ. Он говорил тихо, едва шевеля губами и часто останавливаясь:

— Поначалу Шувалов был у нас на корабле первый заводила и весельчак. Да вот случилась с ним неприятность. Вася был еще мальчиком, рос и воспитывался у бабушки, когда отца репрессировали. Ну а мать не хотела огорчать сынишку, придумала историю, будто отец уехал в командировку и там умер. Парнишка крепко в это уверовал. Подрос, вступил в комсомол, избачом в деревне работал, а истинной правды так и не знал. Пришел служить на флот. Тут-то все дело и распуталось. Нашлись горячие головы, вмиг на него обрушились, — дескать, скрыл, обманул и прочее. Стали требовать исключить из комсомола. Я заступился. Дошло до политотдела. Там на меня навалились: «Что же ты чужаков под свое крылышко берешь?» Я говорю: «Какой он чужак, если вырос в нашей трудовой семье». В общем, разыгралось громкое дело. Ничего, отстоял парня. Ну, он, конечно, видел все это, мучился, переживал. С тех пор и замкнулся в себе, стал точно ежик: чуть подойдешь, а он колючки выпускает. А как началась война, на поверку оказалось, что горячие головы присмирели, а Шувалов вон как себя проявил. Нет, я решительно против «пятен» и «ярлыков». Я за то, чтобы людям доверять.

Напишите все как есть, парнишка заслуживает. Я лично только порадуюсь.

Теперь, когда я услышал от комбата фамилию — Шувалов, в моей памяти вновь возник живой образ «ежика», о котором рассказывал мне комиссар корабля.

Впрочем, сейчас было не до вопросов. Комбат, не обращая ни на кого внимания, схватил с кровати автомат, из-под подушки вынул два диска с патронами, на ходу отдал приказание своему начальнику штаба и торопливо ушел.

Через полчаса он вернулся, сел на кровать, закурил. Румянец играл на его щеках. Нервно подергивались плечи. Неестественный блеск глаз выдавал его возбуждение.

Я спросил его о Шувалове.

— Он самый... Шувалов. Теперь командир. Это он и устроил сейчас баню гитлеровцам. А первый раз пришел ко мне, я посмотрел — голова в бинтах, думаю: «Ему одна дорога — в инвалидную команду». Хотел сразу отчислить в резерв. Да очень настойчивый парнишка оказался, просился на передовую. Послал и не каюсь. Воюет хорошо.

Мне захотелось снова повидать Шувалова. Вместе со связным я направился к переднему краю обороны, что находился в полукилометре от командного пункта батальона.

Лес. Густые пушистые сосны закрывают небо. Лучи солнца едва пробиваются сквозь эту толщу зелени. В просветах между деревьями видна поляна, залитая солнечным светом, а еще дальше — небольшие холмики и редкий кустарник. Показывая туда, связной говорит приглушенным голосом, точно боится, что его услышат: «Там — фашисты».

Навстречу нам, пригибаясь к земле, идет матрос. Связной останавливает его:

— Шувалова не видал?

— В траншее, — махнул тот рукой в сторону поляны и добавил предостерегающе: — Вы там поосторожнее, а то снайперы в два счета голову продырявят.

Мы подползаем к глубокой траншее и прыгаем в нее.

В песчаном грунте выдаются вперед стрелковые ячейки: в первых двух — ни души, только в глубине траншеи, за извилиной, видны несколько человек в синих

фланелевках, широких флотских брюках, подпоясанных ремнями с медными бляхами. Среди моряков особенно выделяются бойцы в зеленом армейском обмундировании и аккуратных пилотках на голове. Они пришли сюда из рабочего истребительного батальона, сформированного в самом начале войны. Дрались под Тарту, у Раквере, а затем влились в отряд Василия Шувалова и вместе с моряками защищали столицу своей молодой Советской республики — Таллин.

Кто сидит, подогнув под себя ноги, кто полулежит, откинувшись спиной на желтую, песчаную стенку траншеи. Все закусывают. В руках у бойцов ломти хлеба, перочинными ножами они выковыривают из банок волокнистые куски тушеного мяса.

Один из моряков поднялся нам навстречу. По вздернутому носу, толстым губам и озорным, чуть раскосым глазам я сразу узнаю старого знакомого. Цел и невредим Василий Шувалов.

С первого взгляда — никаких перемен, только загорел еще больше. Сразу вспомнили о госпитале на Пирите.

— Скоро же вы поправились, — сказал я.

— По встречному плану, — ответил Шувалов, приподнял каску, и я увидел, что его голова еще перевязана бинтами. — Как сказал тогда, так и получилось. Третью неделю воюем.

— Расскажите обо всем подробно, — попросил я, держа наготове блокнот.

— Да ну вас. В тот раз просил не писать, а вы сделали по-своему.

Шувалов замолчал и надул губы.

Как я мог оправдаться? Решил сказать начистоту:

— Мне комиссар корабля посоветовал о вас написать.

— Он? — вскрикнул Василий. На лице моряка, в голосе его и следа не осталось от былой обиды. Вдруг опять он помрачнел, опустил голову и тихо промолвил: — Вы знаете, его уже нет в живых. Умер от ожогов.

Мы, не сговариваясь, встали и скорбным молчанием почтили память комиссара, который был дорог не только Василию Шувалову, но и мне, хотя я его видел всего один раз.

Именно в эти минуты скорби между мной и Шуваловым установилась та внутренняя близость, которая роднит людей на войне, если даже они только что узнали друг друга. Он больше не сердился на меня и без всяких просьб охотно рассказал, как живут и воюют моряки на суше.

Оказывается, здесь, на переднем крае, утвердился свой точный распорядок дня.

По утрам, когда ромашки и васильки, украшающие поляну, еще закрыты туманной дымкой, а небо прозрачно-голубое, издалека доносится глухой рокот. Прилетают «юнкерсы» и кружатся над нашими позициями. Со стороны противника «юнкерсам» сигнализируют ракетами. Один за другим бомбардировщики теряют высоту, пикируют, сбрасывают бесчисленное множество мелких осколочных бомб. Пушки и минометы противника в такие минуты тоже не жалеют огня.

Тридцать — сорок минут бушует огненный вихрь. И вдруг сразу все обрывается, воцаряется необыкновенная тишина. Тут-то и настораживаются бойцы в стрелковых ячейках. Винтовки, пулеметы, гранаты — все на «товсь», в полной готовности.

И вот поднимается из-за кустарника и выкатывается на поляну живая стена врагов.

Пьяные гитлеровские солдаты идут в атаку плотными цепями, одна за другой.

Они подходят ближе, настолько близко, что можно разглядеть их лица. Они стреляют из автоматов, ускоряют шаг, бегут по поляне к нашим траншеям. Но навстречу фашистам — ни одного выстрела. Тишина, словно в траншеях нет ни одной живой души. А между тем пальцы бойцов на спусковых крючках, одно легкое нажатие — и заговорят пулеметы, винтовки. А пока нужно сдержать себя, преодолеть страх и возбуждение, открытыми глазами смотреть в лицо надвигающейся опасности.

До вражеских цепей остаются десятки метров. Еще какие-нибудь секунды, и солдаты в серых мундирах прыгнут в траншеи. И вот ближайший пулеметный расчет слышит голос Шувалова: «Огонь!» И разом все припадают к оружию. Вся траншея встречает врага пулями.

Навстречу гитлеровцам из траншей поднимаются не-

сколько моряков и бросают гранаты. Взрывы следуют один за другим. Цепь атакующих колеблется. Минутное замешательство. Враги неуверенно поворачивают. И вот уже что есть силы бегут в полный рост фигуры в мышиного цвета мундирах. Матросы сбрасывают бушлаты и готовятся к решающей схватке. Наконец они слышат голос Шувалова: «Вперед!» Дружным рывком выскакивают из траншей и бросаются за своим командиром, по пятам преследуя немецких солдат. И так каждый день.

* * *

— Говорят, под Одессой сильные бои. Это правда? — спросил меня Шувалов.

— Правда, — ответил я.

— Эх, где бы раздобыть газетку, а то совсем от жизни отстали.

— У меня есть свежая газета, только на эстонском языке.

— Вот это кстати, — обрадовался Шувалов, взял у меня из рук газету и крикнул кому-то: — Эй, юкс момент [1], давай сюда побыстрее!

К нам приблизился по траншее степенный молодой человек, в гимнастерке, туго подпоясанной ремнем. Его румяное лицо дышало отменным здоровьем; из-под пилотки выбивались пряди густой белокурой шевелюры.

— Знакомьтесь, наш главный разведчик Ханс Куус, — сказал с подчеркнутой важностью Шувалов.

— Не совсем так, — поправил, смущаясь, молодой эстонец. — Не главный, а рядовой.

— Это неважно, — перебил его Шувалов.

Разведчик взял газету и с едва заметным акцентом начал переводить сводку Совинформбюро. Вокруг нас незаметно собирались люди, присаживались поближе и слушали.

Когда сводка была прочитана, Шувалов первым поднялся, отряхнул песок и сказал:

— Стало быть, под Одессой ему тоже дают жизни. Как говорят, в Таллине аукнется, под Одессой откликнется.

---

[1] Юкс момент — один момент (эст.).

Ханс Куус был, по всей вероятности, одних лет с Василием Шуваловым, и, быть может, потому между ними за какие-нибудь две недели сложились подлинно братские отношения. Чем лучше они узнавали друг друга, тем крепче становилась их дружба.

И как не проникнуться большими чувствами к тому, кто находится рядом с тобой, локоть к локтю, кто вместе с тобой поднимается в контратаку и в минуты особенно большой опасности выручает, прикрывает своим телом.

Не раз бывало так, что в горячке боя падал товарищ, сраженный пулей врага. Его поднимали на руки и бережно уносили в глубь леса, а к ночи, как только наступало затишье, где-нибудь под деревом рыли неглубокую могилу и в скорбном молчании прощались со своим боевым другом. Сжимались от боли сердца оставшихся в живых, и на глазах появлялись суровые мужские слезы.

Бескорыстная дружба, верность и высокое сознание долга проявились сразу, в первые дни боевой жизни. И как ни странно, помог этому один очень неприятный случай.

Ночью из боевого охранения исчез бесследно молодой эстонец Оскар Сякке.

Все помнили, что накануне Шувалов собирал всех, кто должен ночью пойти для охраны наших боевых порядков, и напоминал о бдительности. В том случае, если будет грозить опасность, он приказал сигнализировать красными ракетами или открывать огонь.

Ночь прошла тихо, без единого шороха; казалось, все живое погрузилось в сон. А на рассвете, когда еще над землей стелилась непроницаемая туманная дымка, из боевого охранения вернулись все, кроме Оскара Сякке — рослого, худощавого эстонца с тонкими губами. И было для всех загадкой, что с ним произошло.

Особенно помрачнел Ханс Куус. Ему было очень тяжело. Это заметил Шувалов и попытался его успокоить, — дескать, ничего удивительного, на войне все бывает.

Но на лице Ханса оставалась суровая задумчивость. И понятно. Ведь Ханса с Оскаром связывала дружба с мальчишеских лет. Недалеко отсюда находилось местечко, где они родились и провели детство. Вместе учились в школе. Вместе скитались в Таллине во времена буржуазной Эстонии в поисках работы. А когда устано-

вилась Советская власть, счастье улыбнулось деревенским подросткам — они поступили на завод сначала учениками, затем начали работать самостоятельно; сняли комнату у одной старушки и считали себя городскими жителями, лишь изредка по субботам наведывались в родные края.

Но едва они стали на ноги, как началась война, на заводах создавались добровольческие рабочие батальоны. Двое друзей тоже подали заявления в батальон и очень скоро сидели с рюкзаками за спиной в теплушке воинского эшелона, первый раз в жизни прижимая к себе винтовки. Друзья знали, что едут учиться и что потом их пошлют на фронт.

Но все случилось иначе. Эшелон не дошел до станции назначения. В одном месте на железнодорожное полотно вышел человек с красным флажком в руке и остановил поезд. Его лицо было перекошено от страха, а руки дрожали. Он сообщил, что высадился воздушный десант и впереди путь разобран.

Так сразу, без всякой учебы, начались тяжелые, изнурительные бои. Правда, на первых порах Оскар удивил своего друга. Во время боя на хуторе, когда бойцы пробрались на чердак одного кулацкого дома и выбивали немецких парашютистов, Оскар спрятался на сеновале и отсиживался там, пока не кончился бой.

Ханс негодовал и собирался с ним строго поговорить, но Оскар ошеломил его своим откровенным признанием:

— Я знаю, это нехорошо. Но мне было страшно погибнуть, — признался он.

Ханс подумал: «Ну что же, человек никогда не нюхал порохового дыма и один раз проявил малодушие. Это с каждым может случиться. Повоюет, привыкнет».

И вдруг такая история!

Ханс ходил сам не свой, ни с кем не разговаривал, был в состоянии мучительного раздумья. Наконец у него созрело решение. Ханс отозвал Шувалова в сторону и изложил ему свой план. Он просил выделить несколько матросов. Ночью они уйдут в тыл врага, и там, в своих родных местах, Ханс попытается что-нибудь узнать.

Шувалов, конечно, не мог сам разрешить, но ему понравилась эта мысль. Он доложил командиру батальона, а тот — командиру бригады, и очень скоро в отряд при-

был начальник разведки с группой матросов, которые уже ходили по немецким тылам.

Вместе с Хансом они благополучно переправились через линию фронта и скоро достигли местечка, где родился Оскар.

Ханс повидался с нужными ему людьми и поспешил к своим спутникам. Теперь они направились в соседний хутор.

Осторожно подошли к малоприметному домику на окраине хутора. У крыльца маячила тень часового.

Ханс приблизился к нему и сказал несколько слов по-немецки. Часовой, должно быть, почувствовал — тут что-то неладно и схватился было за автомат, но поздно. Матросы вырвали автомат, заткнули рот кляпом и оттащили немца в сторону. Все это делалось с такой молниеносной быстротой, что пленный не успел произнести ни звука.

Ханс хорошо знал, куда он ведет разведчиков. В узеньком темном коридоре он нащупал и открыл дверь. Они тихо вошли в комнату, освещенную тусклой лампочкой.

Взгляд Ханса привлекла кровать со спящим человеком.

Он подошел ближе, тронул человека за плечо. Тот проснулся, открыл глаза, вскочил, — должно быть, сразу не понял, во сне это все происходит или наяву. Крепкая пятерня Ханса лежала у него на груди.

Лицо Оскара сделалось похожим на полотно. Он бросился на колени, просил пощадить его, но Ханс был неумолим...

Вот тогда и заговорили в отряде о Хансе как о сильном, волевом человеке, верном своему воинскому долгу.

Шувалов, не торопясь, рассказывал мне всю эту драматическую историю, и чувствовалось по всему, каким глубоким доверием проникся он к своему юному другу.

Я внимательно смотрел на Шувалова и видел, что время, отделявшее нас от первой встречи в госпитале, наложило на Василия свой суровый отпечаток. На его коричневом от загара лице не осталось и следа прежнего мальчишеского озорства. Это было лицо мужественного командира, закаленного в борьбе и умудренного жизненным опытом.

Наступил вечер. Солнце скрылось за лесом, и в воздухе ощущалась прохлада.

Пользуясь затишьем, мы ходили по траншее, и Шувалов с радостью человека, любующегося плодами своих трудов, показывал сооружения, возникшие здесь всего две недели назад.

— Сами и инженеры и землекопы, — говорил он. — Которую ночь не спим, в землю зарываемся, как кроты...

Шувалов показывал стрелковые ячейки, отрытые по всем правилам и замаскированные дерном. Если эти ячейки ничем особым не отличались, то камбуз был своего рода шедевром: его устроили сзади, за траншеями, а дымовая труба уходила в глубь леса, с таким расчетом, чтобы противник не увидел дыма.

Из всех сооружений больше всего Шувалов гордился наблюдательным пунктом, находившимся на высокой прямой сосне, поросшей густыми ветвями. С высоты десяти — двенадцати метров широко открывалась местность. Как на ладони просматривались позиции противника.

Телефонный провод уходил отсюда в траншею и на командный пункт. Это и была знаменитая в ту пору «небесная канцелярия», которая поддерживала связь с артиллеристами. Такой позывной придумали сами матросы. Когда, например, звонил комбат, ему вполне серьезно отвечал телефонист: «Небесная» слушает!» Комбат в свою очередь уже шутливым тоном спрашивал: «Ну как связь с господом богом?» — «Нормальная, товарищ комбат», — торжествующим голосом докладывал телефонист.

Шувалова позвали к телефону: звонил комбат. Шувалов вернулся серьезный, озадаченный. Он подошел к Хансу Куусу, что-то сообщил ему и сразу же приказал собираться в траншее всем, за исключением пулеметчиков. Приказ его передавался по цепи; моряки и бойцы истребительного батальона по одному и по двое пробирались к Шувалову. В вечернем мраке трудно было рассмотреть лица, но командир узнавал своих товарищей по голосам. Немного их осталось.

— Вот что, друзья: Будьте готовы. Ожидается новая атака. Ни на какую шумиху гитлеровцев не поддаваться. Не отходить ни на шаг! Вот тут пан или пропал. Понятно?

— Правильно, правильно, — слышались голоса из темноты.

...Таял отряд Шувалова, но непоколебимы были оставшиеся в живых.

* * *

Вскоре после того как я расстался с Шуваловым, из штаба Балтийского флота на фронт прибыло приказание: срочно откомандировать Ханса Кууса в Таллин. Шувалов долго бушевал.

— Как же я останусь без короля разведки? — возмущался он.

Но приказ есть приказ, и в конце концов они вынуждены были расстаться.

Шувалов крепко сжимал руку друга и несколько раз повторял:

— Так ты, может, еще вернешься? А?

Ему все не верилось, что их разлучали надолго, если не навсегда.

В кузове попутного грузовика Ханс Куус добрался до штаба флота. В одноэтажном белом домике, где помещалось бюро пропусков, перед единственным узеньким окошком толпилось много народу. Ханс не решился пройти без очереди, хотя имел на то достаточно оснований: срочно вызывают в штаб не каждого командира или политработника. И все же он встал в очередь и от усталости прислонился к стене. Впрочем, ему не пришлось долго ожидать. Через несколько минут в домик вошел молодой лейтенант, оглядел присутствующих, сразу заметил Ханса и подошел к нему, как к старому знакомому.

— Товарищ Куус? — спросил он.

— Так точно!

— Что же вы ждете? Для вас пропуск давно оставлен у часового. Пойдемте.

Они поднимались по узкой винтовой лестнице, и каждый шаг отдавался эхом внизу, в большом просторном зале, где за столами сосредоточенно работали операторы.

Ханс с лейтенантом вошли в приемную, и лейтенант исчез за дверью, обитой черной клеенкой. В ту же минуту он вернулся и сообщил:

— Начальник пока занят. Присаживайтесь. Небось намаялись там, на фронте.

— Ничего, привыкать стали, — ответил Куус, продолжая стоять.

Неожиданно открылась дверь кабинета, и оттуда вышел невысокого роста подполковник с черными глазами. Ханс Куус посмотрел ему в глаза и, как часто бывает, сразу проникся к нему симпатией. Он показался Куусу приятным человеком. Да оно так и было на самом деле. Очень многие на флоте знали его и любили за гибкий, находчивый ум, за простоту и непринужденность в обращении с людьми. Вот и сейчас подполковник протянул руку, улыбнулся и, обняв Ханса за плечи, повел к себе в кабинет, усадил на диван и сам сел рядом.

— Простите, что мы вас оторвали, но вы очень нужны, — сказал подполковник. — Нам трудно, вы сами это хорошо знаете. Противник жмет со всех сторон, недавно он подбросил в Тарту еще два полка пикирующих бомбардировщиков. Правда, наши товарищи там побывали и... — в черных глазах подполковника появилась лукавая усмешка: — Половины самолетов уже не существует. А вот со стороны Пярну для нас большая угроза, туда прибыла тридцать восьмая пехотная дивизия для нанесения решающего удара по Таллину. Если мы ничего не предпримем, то в ближайшие дни немцы как пить дать будут на улицах Таллина.

— Что же можно предпринять? — продолжал он. — А вот что: нам нужно выяснить, где сосредоточена эта дивизия, и ударить так, как мы это сделали в Тарту. Вы Пярну, кажется, знаете?

— Как же не знать! Моя сестра служит там в санатории!..

— Очень хорошо! Вы не можете отправиться туда и разузнать все, что нас интересует? Ведь однажды вы уже ходили к ним в тыл, и очень удачно. Мы вам верим и надеемся на вас.

Ханс молчаливо что-то обдумывал.

— Я могу пойти, — решительно сказал Куус, — только пойду один, а вернусь с сестрой. После моего визита ее опасно там оставлять.

Подполковник встал. Он, кажется, готов был обнять этого парня.

Они расстались.

Прошло несколько дней, а от Кууса не было никаких известий. Исчез как в воду канул. Подполковник уже начал всерьез беспокоиться. К тому же на протяжении дня ему непрерывно звонили то командующий Военно-воздушными силами, то начальник штаба флота, а то и сам командующий флотом. Адмирал спрашивал резко, придирчиво:

— Ну, что там слышно, где запропастился твой Куус?

— Дело не простое, товарищ адмирал. Всякое может случиться. Но я на него надеюсь, — отвечал подполковник.

— Не забывайте старую пословицу: «На бога надейся, а сам не плошай», — сказал адмирал и повесил трубку.

Однажды ночью, когда подполковник, окончательно сломленный усталостью, не раздеваясь прилег на диван и заснул, к нему осторожно подошел адъютант и тронул за плечо.

— Куус вернулся, — сообщил лейтенант.

Это известие сразу сняло и сон, и усталость. Подполковник поднялся и, протирая глаза, сказал: «Зовите!»

В кабинет вошел Куус. В модном светло-сером спортивном костюме — длинном пиджаке с накладными карманами, узеньких брюках и таких же светлых сандалиях — он походил на туриста, совершающего путешествие. И было несколько странно, когда в таком виде он стоял навытяжку и рапортовал:

— Прибыл... Задание выполнено...

Они тут же сели на диван, и Куус, возбужденный, переполненный впечатлениями, заговорил:

— В ту ночь меня очень удачно доставили на катере и высадили как раз там, где я хотел. До Пярну добрался хорошо. Сестру нашел на месте. Жил у нее несколько дней. Она-то мне и помогла выполнить задание. Сейчас я все покажу.

Подполковник взял фотосхему района и развернул ее перед Куусом.

— На северной окраине, вот в этом лесочке, стоит не меньше пятидесяти машин на исходной позиции. Немцы говорят, что дело у них только за горючим. Из Германии шли два танкера с бензином, да их потопили наши торпедные катера, так что получилась временная заминка.

С часу на час они ждут горючего, и тогда дивизия пойдет в наступление.

— А вот здесь, — Ханс показал на длинный корпус санатория, — здесь помещается штаб дивизии: у подъезда всегда дежурят машины. Там собираются крупные генералы, говорят, что даже фон Лееб часто навещает.

— А что еще интересного в городе? — спросил подполковник.

— Немцев там полно. На каждом шагу кабаки, кабаре. Девчонки разгуливают с офицерами и говорят, что чемоданы у них собраны, завтра или послезавтра они будут в Таллине, в гостинице «Золотой лев».

— Ну, положим, теперь мы их немножко задержим, — заметил подполковник. И вдруг спросил: — Где сестра?

— Она придет сегодня или завтра. Мы не хотели уходить вместе, чтобы никто ни о чем не догадался.

Подполковник был очень доволен. Он тушью аккуратно нанес условные значки на фотосхему, что-то записал, сердечно поблагодарил Кууса и сказал:

— Теперь давайте поменяемся ролями: вы идите отдыхать, а я буду работать.

Утром, на заре, с зеленого поля таллинского аэродрома поднялись в воздух только что прибывшие на фронт самолеты-штурмовики под командованием капитана Барабанова. Они взяли курс на Пярну. Как ни маскировались немецкие машины, гитлеровцам не удалось ввести в заблуждение балтийских штурмовиков. Самолеты появились из-за леса и ударили по скоплению войск в то место, которое было указано Хансом Куусом. В это время грузовики с пехотой, заправленные горючим, ожидали приказа выйти на штурм Таллина. Они сгорели за несколько минут, а их остовы точно вросли в землю. Недаром наши штурмовики получили у немцев достаточно красноречивое имя: «Черная смерть».

Мы, находившиеся в Таллине, после этой операции стали относиться с еще бо́льшим уважением к балтийским штурмовикам. Всякий раз, когда они возвращались с задания и пролетали над городом совсем низко, едва не задевая за острые шпили и заводские трубы, мы смотрели в небо и мысленно рисовали в своем воображении образ капитана Барабанова, мужественного летчика, ко-

торый вместе со своими боевыми друзьями помог задержать врага.

Защитники Таллина не знали, да и не могли знать, что в эту победу вложены не только умение и точный расчет капитана Барабанова, но также опасный и благородный труд брата и сестры Куус.

БУХТА ДРУЖБЫ

Наступило очень трудное время. Линии связи находятся под ударами фашистской авиации. На вопрос, можно ли получить Москву, телефонистка междугородной станции чаще всего отвечает:

— Эй, оле! [1]

Наши корреспонденции о боях в Эстонии проходят небывало длинный путь: они отправляются с попутными кораблями в Кронштадт, оттуда по воде доставляются в Ленинград и только из Ленинграда по телефону передаются в Москву. Конечно, при таком положении вещей проходит немало времени, пока наши статьи и очерки появятся на страницах газет.

Однажды каким-то чудом «прорвалась» к нам Москва, и я получил задание повидать председателя Совнаркома Эстонской республики Лауристина и взять у него интервью для печати.

Узенькая, асфальтированная дорожка вьется, поднимаясь в гору, мимо зеленых ковров и чудесных цветочных клумб.

На Вышгороде сосредоточены правительственные учреждения. Иду под древними арками, длинными коридорами. Наконец я в огромном кабинете, где только что окончилось заседание Совнаркома.

В глубине кабинета в кресле за письменным столом сидит, окруженный людьми, Иоганес Лауристин. У него худое скуластое лицо, добрые задумчивые глаза, очки в черной роговой оправе и красивые завитки волос.

У Лауристина привычка — в минуты волнения без всякой надобности поминутно приглаживать волосы рукой. Он выглядит значительно моложе своих лет. На его свежем, гладком лице, мне кажется, не отразились многие годы, проведенные в тюрьмах буржуазной Эстонии,

[1] Эй, оле! — нет! (эст.)

бесконечные преследования, которым он подвергался за принадлежность к коммунистической партии. Последний раз он был освобожден из тюрьмы в 1938 году, за три дня до отбытия срока.

Друг и соратник выдающегося деятеля рабочего движения Виктора Кингисеппа, Иоганес Лауристин был таким же стойким революционным борцом. Во времена буржуазной республики он редактировал несколько рабочих газет, журналов и одновременно был председателем Центрального Совета профсоюзов Эстонии, членом Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, находившейся тогда в подполье. Простые люди избрали его в эстонский парламент, но буржуазные деятели сделали все, чтобы лишить его мандата.

Иоганес Лауристин был известен еще и под другим именем и фамилией — Юхан Мадарик. Это его литературный псевдоним. Он автор двух романов («Ниспровергатели» и «Республика»), в которых выражались чаяния и надежды простых людей. Роман «Ниспровергатели» нелегально распространялся среди народа, а роман «Республика» стал известен только в 1941 году.

В 1940 году в его жизни совершился крутой поворот. Лауристина избрали председателем Совнаркома молодой Эстонской республики.

У бывших подпольщиков — новых руководителей Советской Эстонии — были свои особенности. Они терпеть не могли длинных заседаний, громких, помпезных речей. Должно быть, годы тяжкой борьбы выработали в них сдержанность, молчаливость, деловитость.

Вот и сейчас Иоганес Лауристин предпочитал спокойно и неторопливо поговорить с каждым в отдельности. В кабинете оставалось все меньше и меньше людей.

Лауристин начал свою беседу со мной с того, что предельно кратко охарактеризовал положение в Эстонии, рассказал о том, что вся промышленность Эстонии работает сейчас для фронта, что таллинские предприятия освоили производство боеприпасов. Эстонские железнодорожники оборудовали и передали Красной Армии два бронепоезда. Тысячи трудящихся строят оборонительные укрепления. Рабочие истребительные батальоны вместе с Балтийским флотом и кадровыми войсками Красной Армии защищают Таллин.

— И при всем этом, — смущенно заметил Лауристин, — мы хорошо понимаем серьезность угрозы и как можно быстрее стараемся эвакуировать из Таллина ценное оборудование. Вот на этом-то и играют наши внутренние враги. А они есть. Вы их, конечно, видели.

Да, я наблюдал за ними, как только приехал в Таллин. Это они целыми днями сидели под парусиновыми тентами кафе, изнемогая от жары. В дымчатых очках и шерстяных купальных костюмах они лежали на «Золотистом пляже» в живописном местечке Пирита и обсуждали текущие события.

А когда в окрестностях Таллина послышался гром фашистской артиллерии, эта аристократическая знать еще больше обнаглела. Что ни день в кирхах демонстративно устраивались пышные свадьбы, и праздничное шествие с цветами растягивалось по центральным улицам города.

— Но есть иные события. Напишите, как ведут себя настоящие люди, истинные патриоты Советской Эстонии, — продолжал Лауристин. — К примеру, случай в Локсе. Вы о нем что-нибудь знаете?

— Признаться, нет.

— Очень жаль. В бухту Локса вы уже не попадете. Она занята противником, — сказал Лауристин. — Там произошло событие, которое очень ясно показывает, что такое дружба народов.

* * *

...Представьте себе поселок, раскинувшийся на берегу маленькой бухты, который населяют рыбаки и рабочие двух небольших предприятий — судоремонтных мастерских и кирпичного завода с примитивной, допотопной техникой.

Вечерело. Солнце уходило за горизонт. Слабые красноватые отблески ложились на высокие стройные сосны и деревянные домишки, спрятавшиеся в тени под пышными кронами деревьев. Вдали, на море, чернели едва приметными точками баркасы. Рыбаки забрасывали неводы, подтягивали их к баркасам, спешили поскорее управиться с делами и до наступления темноты вернуться домой.

На песке и гальке возле воды играли дети: маленькие

энергичные ручонки строили пещеры, прорывали каналы, собирали камешки, сортировали их по цветам и оттенкам. Загорелые мальчуганы нагишом бегали по воде, поднимая брызги. Время от времени детские глаза устремлялись вдаль, к рыболовецким баркасам.

Шли первые недели войны, и это остро чувствовалось даже здесь, в далекой бухте. По ночам издалека доносился гром артиллерии. Бои шли в нескольких десятках километров от побережья и с каждым днем приближались к поселку. Люди находились в тревожном ожидании, запасались продуктами, медикаментами. В аптеке продавались всякие лекарства и препараты. Исключение составляли бинты и вата. На них было наложено «вето». Никто из покупателей не роптал, считая это в порядке вещей для нынешнего времени. Война есть война. В такую пору нелишне иметь запас бинтов, всякое может случиться...

Несколько дней в поселке стояла воинская часть, и с бойцами успело подружиться все население. Но как-то ночью совсем неожиданно она снялась и отбыла в неизвестном направлении, оставив на попечение сельского совета несколько лошадей. Активисты сельсовета были теперь озадачены, думали-гадали, что делать с лошадьми, куда их передать. Ведь они наверняка необходимы на фронте.

Особенно беспокоился об этом Леонхард Гнадеберг— высокий, немного неуклюжий эстонец, которого знали решительно все. Знали всю его родословную, помнили еще, как его отец занимал у соседей деньги, чтобы свезти жену в частный родильный дом. Помнили, как белобрысый мальчуган пас коров у кулака на ближайшей мызе, а когда ему минуло четырнадцать лет, пошел на завод, таскал в мешках глину, тяжело заболел грыжей и все же работал...

Все знали его как труженика и хорошего семьянина. Придя с завода в маленький одноэтажный кирпичный домик, расположенный на окраине поселка, он брал лопату и шел в огород. Не так-то просто прокормить жену и двух маленьких детей.

Так же, как и для всех тружеников Эстонии, 1940 год был переломным в жизни Леонхарда. Ему казалось, что именно в июльские дни 1940 года он перешагнул в дру-

гой, еще непонятный для него, но обещающий что-то хорошее мир.

Теперь ему хотелось большой жизни, заполненной общественно полезным трудом. Он находил эту жизнь в профсоюзной организации завода, в активной помощи сельскому совету, в общественной работе.

И вот сейчас мысль о том, что делать с лошадьми, принадлежащими Красной Армии, казалась ему совсем немаловажной.

Гнадеберг решил еще раз пойти посоветоваться на этот счет с директором школы Арнольдом Миковичем Микивером и встретился с ним в ту самую минуту, когда прибежали переполошившиеся ребятишки и сообщили, что в бухту идут какие-то суда с военными моряками.

Зная, что военные корабли не очень-то удостаивали своим вниманием бухту Локса — здесь даже причалить было некуда, — Леонхард и директор школы поспешили к берегу.

Действительно, пришло сразу несколько моторных баркасов, и в них раненые моряки. Командир, невысокий, плотный человек с круглым лицом и ежиком волос на голове, сложил рупором ладони и что было сил крикнул эстонцам, собравшимся на берегу:

— Кто у вас тут старший?

Его не сразу поняли, ведь далеко не все знали русский язык. Он повторил свой вопрос, и тогда из толпы вышли Гнадеберг и Микивер.

Бригадный комиссар Василий Васильевич Карякин представился им, объяснил, что он заместитель начальника Политуправления флота.

— Наш корабль потопили фашистские самолеты. — Он показал рукой в сторону рейда. — Просим оказать помощь раненым и срочно переправить их в Таллин.

Глаза эстонцев выражали сочувствие. Внимательно слушали бригадного комиссара. С первого взгляда этот моряк показался им простым, сердечным человеком. Так оно и было на самом деле. Для нас всех Василий Васильевич был живым примером политработника в самом высоком и лучшем смысле этого слова. В нем хорошо сочетались строгость и требовательность с внимательным, заботливым отношением к людям. В дни обороны Таллина он был в гуще сражений. И на этот раз, в мо-

мент воздушного налета немецких пикировщиков, он на посыльном катере подходил к кораблю. При взрыве бомбы его ранило в ногу и контузило. Он чуть не лишился сознания. Сила воли взяла верх, и вот он, прихрамывая, опираясь на палочку, мужественно держался, как подобает старшему среди моряков.

— Мы все сделаем, — заявили Гнадеберг и Микивер. Они побежали в поселок и скоро вернулись, ведя за собой целую толпу — рабочих кирпичного завода со своими женами и детьми, учителей, школьников и даже провизора из аптеки. Спокойно и деловито они подошли к баркасам и стали помогать легкораненым выбраться на берег, тяжелораненых выносили на руках.

Медсестра Юхана, маленькая сероглазая женщина с коротко остриженными и зачесанными назад волосами, на правах врача первая осматривала раненых. Вместе с ней оказывали помощь еще несколько женщин, одетых по-летнему в легкие цветные платья и белые платочки на голове.

Вот когда пригодились перевязочные материалы, заранее припасенные провизором. Учителя и школьники превратили школу в госпиталь, раздобыли в поселке кровати, одеяла, чистое белье, новые шуршащие простыни. Быть может, многие годы полотняные простыни хранились в сундуках для дочерей-невест, а сейчас щедрой рукой вынуты и отданы раненым морякам.

Немцы в это время находились всего в пятнадцати километрах от бухты Локса и могли с минуты на минуту появиться здесь, захватить раненых моряков и учинить над ними кровавую расправу.

Часы и даже минуты решали все. А до Таллина далеко. Как же быть, чтобы там узнали о несчастье и выслали помощь? Прямая телефонная связь нарушена. Несколько раз пробовали звонить окружным путем. Ничего не получалось. Тогда кому-то пришла в голову мысль: устроить живую эстафету от одного поселка к другому, и так до самого Таллина. Решено — сделано! Написали донесение и с ребятишками послали в ближайший населенный пункт, а оттуда дальше, дальше и дальше...

Прошло время, и к школе подошли автобусы из таллинского военно-морского госпиталя. Все население собралось проводить раненых. Василий Васильевич Карякин поднялся на камень, чтобы сказать несколько слов,

но когда он увидел грустные, печальные лица мужчин, слезы на глазах женщин, ему стало не по себе, слова комом застряли в горле.

«На кого мы оставляем этих честных и добрых людей, — подумал он. — Ведь немцы все узнают и конечно не пощадят их».

— Спасибо, товарищи, — с трудом проговорил он. — У нас есть пословица: «Друзья познаются в беде». Мы будем помнить всех вас и эту бухту дружбы.

Автобусы тронулись в путь. А у школы стоял учитель Микивер, Леонхард Гнадеберг, его жена Магда, двое маленьких детей, стояло все население поселка. Издалека были видны белые платочки в руках женщин, шляпы и кепи, поднятые высоко над головами мужчин, и детские ручонки, махавшие вслед уезжающим морякам.

* * *

...Дорого пришлось расплатиться патриотам из бухты Локса за свое человечное, гуманное отношение к раненым морякам.

Как только гитлеровцы вместе с кайтселийтовцами[1] заняли бухту, сразу начались обыски. Среди бела дня конвоиры проводили по поселку в тюрьму учителей, работников сельсовета и активистов кооперации.

С Леонхардом Гнадебергом они поступили иначе: хотели переманить на свою сторону, завоевать его расположение. Такой популярный среди местного населения человек всегда пригодится.

Сначала были пущены в ход посулы. Потом угрозы. Ничто не помогало.

Тогда однажды в сумерках несколько бандитов в гражданской одежде явились к одноэтажному кирпичному домику Леонхарда на окраине поселка и вызвали хозяина на улицу.

Леонхард почувствовал что-то недоброе и не торопился выходить. Бандиты вошли в домик, схватили Леонхарда за руки и насильно вывели во двор.

— Ну как, решил, с кем идти? — обратился к нему высокий, здоровенный парень.

— Не с вами, — ответил без колебаний Леонхард.

---

[1] Эстонские буржуазные националисты.

Бандит вынул из кармана пистолет и погрозил.

— Не пугай, — с вызывающей дерзостью заявил Леонхард. — Не боюсь ваших угроз.

Он хотел еще что-то сказать, да не успел: упал, сраженный пулей.

* * *

Мы считали, что в Эстонии надо вести себя строго, настороженно. И это не плод больного воображения. Были люди, враждебно относившиеся к новому строю. Подняли голову бывшие кайтселийтовцы. В подвалах, на чердаках или зарыв в землю, они хранили оружие и ждали подходящего момента, чтобы пустить его в ход. Кое-где нашим отступающим бойцам местные фашисты стреляли в спину, а гитлеровцев, разумеется, встречали с цветами, как своих освободителей.

И все же прав был Лауристин: в горе и муках мы увидели не только врагов, но и своих настоящих друзей, подобных простым людям из бухты Локса.

ТОВАРИЩ ВОЕНКОМ

Мы встретились с ним в Политуправлении флота.

— Познакомьтесь с товарищем военкомом, — сказал мне инструктор ПУБАЛТА и указал на стоявшего рядом с нами невысокого, кряжистого моряка со скуластым лицом и узкими глазами, какие бывают у монголов.

Тот улыбнулся, стиснул мою ладонь, да так крепко, что я чуть не присел на корточки. Резким голосом, в котором ощущалась бурная, неукротимая энергия, он отчеканил:

— Батальонный комиссар Золотов!

Это был комиссар одного из балтийских миноносцев, который почти каждый день оказывал огневую поддержку частям нашей армии, с боем отступающей к Таллину.

— Вы по каким делам здесь? — спросил я.

— Докладывал начальству о походе и заодно получил обращение Военного совета.

Он показал на пачку связанных листовок.

Я много слышал об этом корабле, мне давно хотелось побывать на нем и увидеть людей, которые в ночь обыч-

но выходили в море на обстрел фашистских войск, а с рассветом возвращались обратно в Таллин.

— Скажите, а нельзя ли к вам поехать? — поинтересовался я.

— Пожалуйста. Только я очень тороплюсь, — ответил Золотов, простился со своим другом, и мы быстро вышли на улицу.

Машина доставила нас в гавань и остановилась перед кораблем новейшей постройки, от которого глаз было не оторвать. Люди, вложившие в этот корабль свой ум и талант, труд и умение, сумели передать в его предельно обтекаемом корпусе, трубах, несколько наклоненных назад, мощь и стремительность... Палуба слегка вздрагивала от работающих машин, из трубы выбивались прозрачные струйки дыма. Судя по всему, корабль находился в часовой готовности к выходу в море.

— Имейте в виду, мы можем скоро уйти, — на ходу сообщил мне Золотов и, прищурив свои маленькие глазки, ждал, какая последует реакция.

Я ответил, что мне спешить некуда, и я готов пойти в поход, если не будет возражений командования корабля.

— Что касается комиссара, то он согласен, — с хитрецой в голосе ответил мой спутник.

Вступив на палубу, мы с Золотовым расстались. Он ушел к командиру корабля — человеку средних лет, с красивым смуглым лицом и мелкими кудряшками, как каракуль, рассыпанными по всей голове. Многие знали этого товарища: несколько лет назад он командовал подводной лодкой и совершил необыкновенный поход, перекрыв все существующие нормы автономного плавания. Тогда мы, журналисты, встречались с ним и много о нем писали. Но сейчас он был серьезно озабочен, и я решил, что совсем не время напоминать ему о прошлом.

Командир и комиссар удалились в каюту и о чем-то беседовали. Вскоре по корабельному радио передали извещение: коммунистам собраться в кают-компании. Они приходили сюда в рабочем платье, усталые, с опухшими веками, должно быть, не имели времени отдохнуть после ночного похода и стрельб, а тут новое дело. И в эти короткие минуты передышки, сидя на диване или мягком стуле, каждый испытывал блаженство: и белокурый юноша с нежным, девичьим румянцем на щеках, стар-

шина радистов Павел Зайцев, которого на корабле называли «снайпер эфира», и хмурый грубоватый на вид боцман Сергей Михайлович Токмаков, рассматривавший свои большие шершавые руки, и бритоголовый артиллерист старший лейтенант Степан Петрович Кончук, секретарь партийной организации корабля.

Кончук вполголоса разговаривал с Золотовым, а пальцы его нервно перебирали бумагу. Спокойствие пришло в тот момент, когда он поднялся, обвел глазами своих товарищей и открыл партийное собрание.

Сколько раз мне приходилось видеть такие собрания и слышать простые слова, сказанные искренне, с душевной страстью и готовностью ко многому. И это были не только слова. Там, где опасность, — туда первыми шли коммунисты.

Так и теперь, командир и комиссар рассказывали о серьезном положении под Таллином и о том, что сегодня в ночь миноносец опять выйдет на обстрел побережья. Части Красной Армии будут контратаковать противника и рассчитывают на помощь корабельной артиллерии.

— А мы рассчитываем на всех вас, товарищи коммунисты, — добавил Золотов. — И не скрою, успех дела во многом будут решать наши товарищи — Зайцев и Кончук. Им предстоит высадиться на берег и корректировать огонь нашего корабля.

Все посмотрели на белокурого юношу, раскрасневшегося еще больше, и секретаря партийной организации, который в этот момент склонил над столом отсвечивающую блеском бритую голову и что-то быстро записывал.

В часы, оставшиеся до похода, я видел Золотова в кубриках, машине, на боевых постах, и где только он ни появлялся, его моментально обступали люди и начинался разговор:

— Говорят, что вы сегодня в Таллине были? Что там делается? — интересовались матросы.

Золотов не скрывал, что Таллин держится, напрягая последние силы, немцы могут прорваться в город, и бои перекинутся на городские улицы.

— Нам надо пружинить, друзья. Как говорилось в старину, Россия велика, а отступать некуда.

Матросы слушали комиссара. И наверняка думали не только о Таллине; в их сознании рисовались Орша и Смоленск, Харьков и Днепропетровск, охваченные огнем

и дымом; далекие просторы Украины и Белоруссии, по которым день и ночь шли немецкие танки, неся смерть нашему народу. На этом фоне Эстония казалась совсем маленьким участком. И все же открытые честные глаза людей выражали готовность держаться здесь, чего бы это ни стоило.

Во время обеда, сидя в углу за маленьким столиком, мы ближе познакомились с Золотовым; я кое-что узнал о его жизни и понял, почему политическая работа стала его профессией.

Вечерело. Ближайшие пирсы с характерными силуэтами кораблей, с подъемными кранами и домиками постепенно скрывались в сумеречной пелене. Раздались звонки боевой тревоги. Под верхней палубой учащенно забилось стальное сердце корабля. И вскоре таллинская гавань осталась вдали неясным, расплывчатым рисунком. Кругом, насколько мог видеть глаз, лежало серое, невзрачное море — сначала мирное, доброе, но, судя по белым барашкам, готовившееся разгуляться. И не зря командир корабля вызвал на ходовой мостик боцмана и сказал:

— Погода мне не нравится. Давайте крепить все по-штормовому.

Мичман с грубыми, шершавыми руками, облаченными в брезентовые рукавицы, согласился:

— Так точно. Погодка не того. Не к добру чайки кричат и над самой водой вьются.

Боцман спустился вниз, и на мостике стало совсем тихо. Командир и Золотов — оба в черных клеенчатых регланах — стояли молча, время от времени подносили к глазам бинокли, присматривались к волнам, бесконечной чередой катившимся навстречу кораблю и точно соревнующимся в этом вечном беге.

Я взглянул на суровое лицо Золотова, на его уверенную фигуру, должно быть, очень привычную не только к этому мостику, но и ко всей нелегкой морской службе, и передо мной еще раз прошла жизнь этого человека, отданная самому благородному делу — воспитанию людей. Я представил молодого инженера, окончившего кораблестроительный институт в Николаеве. Когда он пришел после вузовской скамьи на стапеля, его учителями стали не профессора и доценты, а корпусники — монтажники, электросварщики. Эта вторая школа дала Золо-

тову самое главное — опыт и понимание жизни. Она помогла ему пойти дальше — стать хорошим инженером, вожаком комсомольской организации завода, а впоследствии секретарем Николаевского горкома ВЛКСМ. Отсюда его послали на флот, на подшефные комсомолу боевые корабли.

В разговоре со мной он, улыбаясь, вспоминал свою первую встречу с начальником политотдела эскадры. Это был огромный плечистый человек в роговых очках, поверх которых смотрели строгие глаза. Внушительная внешность, широкая золотая нашивка бригадного комиссара на рукавах, оглушительный бас, разносившийся по всему кораблю, немало смутили Золотова. Но, как это часто бывает, при всей своей свирепой внешности, начальник политотдела оказался чутким и доброжелательным человеком. И те первые встречи с ним запали не только в память, но и в самую душу Золотова, особенно запомнились его умные суждения о политработе как живом, творческом деле.

— Имей в виду, — говорил он, глядя поверх очков и словно изучая Золотова. — Что требуется от настоящего политработника? Жить одной жизнью с людьми, найти «ключик» к сердцу каждого человека. Люди — это наша сила, наше богатство, пусть они идут к нам со всеми своими мыслями и думами, не боясь, что мы их не поймем или осудим. Они должны знать, что имеют дело с представителями партии, которой свято верит каждый советский человек. А если они придут к нам с открытой душой и встретят холодного безразличного канцеляриста, — тогда наш авторитет будет равен нулю. Вы не плавали раньше? — спросил он Золотова.

— Нет, не плавал. Только строил корабли.

— Плохо, очень плохо... — покачал головой бригадный комиссар. — Придется вам пройти эту школу. Надо хорошо узнать дело, которому служишь.

После этого разговора Золотов был особенно озадачен, он признался мне в том, что у него мелькнула такая мысль: «Эх, сидел бы в Николаеве и строил корабли. По крайней мере дело знакомое». Но сердце человека, которому оказано доверие, подсказывало совсем другое: «Раз меня послали партия и комсомол, я не могу идти на попятную. Трудности? Что же, они есть в любом деле.

Моряками люди не рождаются. Было бы желание, а знания и опыт — дело наживное».

Действительно, было бы желание. А желание было велико. И так же, как, бывало, в институте, Золотов ночами напролет сидел над учебниками по сопротивлению материалов или вычерчивал какую-либо деталь корпуса, механизма, так и теперь, на корабле, изучал он науки кораблевождения — навигацию, мореходную астрономию, знакомился с морской артиллерией, минно-торпедным делом, причем это были не только книжные знания, все это он узнавал практически с помощью командиров боевых частей и старослужащих специалистов. Он не боялся уронить свой авторитет оттого, что обратится с вопросом к мичману или старшине. Наоборот, он шел к ним, спрашивал, интересовался, и это стремление молодого политработника все узнать и во все вникнуть приветствовалось людьми и вызывало у них большое уважение.

Одновременно бывший инженер-кораблестроитель накапливал опыт партийно-политической работы. Только теперь, на корабле, Золотов видел и понимал, насколько прав был начальник политотдела, когда говорил о связях с людьми. Какой из тебя воспитатель, если ты целыми днями сидишь в каюте, составляешь планы и пишешь отчеты, а жизнь, настоящая полнокровная жизнь, проходит мимо тебя. На занятиях, партийных и комсомольских собраниях, на баке во время перекура — везде и всюду можно было встретить Золотова. Иной раз по вечерам он часами просиживал в кубрике, беседуя с матросами на разные темы — от создания мира до мелочей корабельного быта. Эти разговоры нередко затягивались до отбоя, и Золотову так же, как и его собеседникам — матросам, не хотелось уходить.

И вероятно, потому, что он находился в «гуще» жизни, — встречи с людьми и дружеские беседы давали комиссару богатую пищу для размышлений. Он подчас и сам удивлялся — сколько хороших человеческих качеств порой остаются незамеченными. «И как неповторимы люди, — думал не раз Золотов. — У каждого свой характер, свои привычки, свой взгляд на жизнь. Вот почему нельзя подходить ко всем с одной меркой».

Золотов видел, как иной раз легко ошибиться в оценке человека. Смотришь — деятельный, развитый, высту-

пает на собраниях — заслушаешься, а присмотришься ближе, как службу несет, — картина иная. А другой — незаметный, как говорится, «звезд с неба не хватает», а служит примерно, любое дело можно доверить, никогда не подведет.

Впрочем, сама жизнь научила Золотова делать заключение о людях без излишней торопливости. Он долго приглядывался к Кончуку, часто беседовал с ним, но до поры до времени и в помыслах не было, что Конончук может стать секретарем партийной организации корабля. Конечно, было известно, что он хороший командир и воспитатель, что во время боя он предельно собран и его люди точно и без промаха ведут огонь. Но ведь и без него много на корабле коммунистов, отличившихся в боях и даже получивших правительственные награды. И все же именно его, артиллериста Конончука, рекомендовал Золотов на пост секретаря партийной организации. А натолкнуло его на эту мысль маленькое происшествие. Однажды утром после похода был отпущен в город на три часа лейтенант Голубев — закадычный дружок Конончука, с которым они вместе кончали училище и теперь находились в одной каюте и жили, что называется, душа в душу.

Голубев опоздал из увольнения на сорок пять минут. Прибежав на корабль, он доложил, что в городе была воздушная тревога, трамваи остановились и он попал в «цейтнот». Но коммунисты не посчитались с этим объяснением: время военное — ни на одну минуту нельзя опаздывать из увольнения. Коммунисты сурово осудили своего товарища. И особенно гневные слова по его адресу произнес старший лейтенант Конончук. Такое поведение Конончука пришлось по душе комиссару. Он убедился, что Конончук честный, принципиальный человек и никогда не пойдет на сделку со своей собственной совестью. И больше всего понравилось Золотову, что после всего случившегося между Голубевым и Конончуком по-прежнему продолжалась горячая дружба. Почему же такому коммунисту не доверить руководство партийной организацией?!

...Мы шли в густой непроницаемой темноте. Только в небе мерцали звезды — далекие и неизменные спутницы моряков. По-прежнему снизу доносился гул работающих машин и плеск волны, разрезаемой стройным

телом корабля. И по-прежнему на мостике была сосредоточенная тишина.

— На румбе?! — громко спросил командир корабля. Из штурманской рубки доложили:

— На румбе шестьдесят два!

Посмотрев на часы, командир сказал:

— Скоро придем!

В эту минуту из темноты выступили две фигуры, и мы услышали знакомый голос Кончука:

— Разрешите доложить, корректировочный пост к высадке готов.

Конончук и Зайцев неподвижно стояли, ожидая дальнейших приказаний.

— Рация проверена? — спросил командир.

— Так точно!

— Оружие при вас?

— У меня пистолет, у Зайцева — автомат.

— С армейским командованием мы связались. Уточнили место высадки. Вас встретят на берегу. Ну, добро! Действуйте! — заключил командир бодро и с тем оптимизмом, который служит лучшим напутствием в опасный путь.

— Я провожу их, — сказал комиссар и поспешил вместе с корректировщиками огня по трапу вниз на верхнюю палубу. Там уже чувствовалось оживление, слышались громкие голоса, и среди них особенно выделялись грубые, повелительные окрики боцмана. Он «чистил» какого-то матроса за неповоротливость.

— Что вы, боцман, разве нельзя без ругани? — оборвал его Золотов.

— Поймите меня, товарищ комиссар, я хочу, чтобы у нас все было тютелька в тютельку, — оправдывался боцман. — А он не понимает... Как только застопорят машины, мы спускаем шлюпку с командой и идем к берегу. А он тут чухается, все дело мне портит.

— И все-таки надо спокойно, — ровным голосом заметил Золотов и спросил: — Кто старшим на шлюпке пойдет?

— Я, товарищ комиссар.

— Ну, тем более вам нужно себя щадить и другим нервы не трепать.

Тем временем с мостика послышалась команда:

— Приготовить шлюпку к спуску!

Боцман вместе с гребцами усаживался в шлюпку, за ними последовали корректировщики. Золотов попрощался с ними, протянул руку каждому и напомнил:

— Действуйте спокойно, без нервозности. Если будут неполадки с рацией, переходите на армейскую связь.

Вот уже машина застопорила ход, и вслед за тем мы услышали команду боцмана: «Трави тали!», и еще через минуту этот лихой голос гремел уже где-то внизу: «Навались! Ррраз... Ррраз...» Шлюпка отвалила от борта и взяла курс к берегу, к тому недалекому, но загадочному берегу, над которым поминутно взлетали зеленые и красные ракеты и откуда непрерывно доносился гул выстрелов.

Золотов снова поднялся на мостик. Командир и комиссар опять всматривались в темноту, на эти взлетающие ввысь и быстро угасающие ракеты. Что-то там происходит? Думалось о самом страшном: «Неужели немцы вырвались на побережье и наши корректировщики попадут к ним в лапы?!» Но тут Золотов, как бы размышляя вслух, внес необходимую ясность:

— Этого не может быть, у нас все время есть связь с берегом. Армейцы ждут наших и уже два раза запрашивали, куда запропала шлюпка.

Опять настороженная тишина. И наконец по усилившемуся плеску воды стало ясно, что шлюпка подошла к борту, а через несколько минут в темноте послышался сильный голос боцмана:

— Ваше приказание выполнено. Корректировщики доставлены на берег и встречены армейскими командирами.

Коротко он сообщает подробности.

— Небось кричали там на всю округу, что даже охрипли, — заметил Золотов.

— Что вы, товарищ комиссар. Там фронт, там кричать не полагается. Мы действовали втихую, осторожненько, чтобы наших не выдать.

Корабль снова на ходу.

Я посмотрел на карту и удивился, почему мы внезапно легли на обратный курс.

— Маневрируем, — коротко объяснил штурман. — Получим сигнал с берега и тогда откроем огонь.

Корабль все больше удалялся от берега, свежий порывистый ветер заставлял матросов подвязать у подбородка ленточки бескозырок.

Вдруг на мостике началось движение, и я услышал голос командира, прокричавшего в переговорную трубу:

— Как у вас там, готовы?

Из боевой рубки донесся ответ управляющего огнем:

— Готовы, товарищ командир!

Я понял, что Конончук и Зайцев благополучно добрались до наших войск, и настало время корабельным артиллеристам действовать.

По приказанию командира мы спустились в рубку и через узкие прорези смотрели в ночь, на далекий берег, хотя решительно ничего не было видно.

Управляющий огнем на минуту оторвался от приборов и спросил командира: «Разрешите открыть огонь?!» В ответ послышалось: «Добро!»

И тут же дрогнул корпус корабля, как будто что-то очень сильное толкнуло его изнутри.

Черноту ночи прорезали желтые вспышки. Раскатистый гром прокатился над морем и берегом...

После выстрелов мы прислушивались к тихому размеренному журчанию приборов управления стрельбой, освещенных бледным темно-синим светом. Пауза продолжалась недолго. Снова толчок, за ним еще и еще... Огонь вели несколько орудий сразу.

Находясь за этими стальными бронированными стенками, с трудом можно было представить, что́ происходит там, на суше, в восьми — десяти милях. Ясно одно: наши перешли в контратаку, чтобы не дать немцам вырваться на побережье. И конечно, поддержка с моря пришлась сейчас как нельзя кстати.

Всю ночь мы были в предельном напряжении. Постепенно чувство изолированности пропадало, теперь впечатление было такое, что мы тоже на фронте, в войсках, потому что, глядя на карту, прислушиваясь к донесениям корректировщиков, дублировавшимся из радиорубки, мы все время видели, где наши, где немцы, в каком месте требуется поддержка и куда летят снаряды нашей артиллерии.

За ночь было несколько огневых налетов. Огонь! Небольшая пауза. И снова огонь!

К рассвету наши радисты приняли последнее сообще-

ние с берега. В нем говорилось: «Благодарю за поддержку. Твердо закрепились на рубеже. Комдив».

Рассеивалась темнота, корабль шел полным ходом, вспарывая воду и разбрасывая по сторонам кипящую пену.

Золотов с командиром по-прежнему стояли на мостике. Я подошел к ним и спросил:

— А как же там ваши корректировщики?

— Остались на суше, — спокойно ответил Золотов. — Мы ведь теперь прикреплены к восьмой армии. Так что они будут там на положении полпредов Балтийского флота.

ПРОВЕРКА БОЕМ

У самого Таллина много дней не затихает жестокая битва. Немецкое командование бросает в бой новые и новые силы. Три фашистские дивизии сняты с ленинградского направления и переброшены сюда, в Эстонию.

«Таллин падет через двадцать четыре часа», — сообщает берлинское радио.

«Невод заведен. Рыба находится внутри невода. Можно считать, что русской армии и Балтийского флота больше не существует», — передают финны.

И не только враги, но даже наши союзники пророчат самый мрачный исход борьбы.

«Положение русских безнадежное. Они закупорены в Таллине, как в горле бутылки, и единственное, что им осталось, — это затопить свои корабли и пробиваться по суше в Ленинград»,— заявляет английский радиообозреватель.

Однажды утром я открываю глаза и вижу — койка Цехновицера стоит в стороне и, как видно, на ночь не раскладывалась. В Политуправлении я узнал, что Орест Вениаминович ночью уехал на передовые позиции.

Тихо и пустынно в зале. Столь неожиданный отъезд его и других политработников флота объясняется очень просто: дела на фронте осложнились, у нас нет резервов. Ленинград не может нам помочь: он сам в опасности. К тому же шоссе Нарва — Таллин уже в руках немцев. Остается одно: пружинить, как говорил Вишневский, и держаться. До последней возможности удерживать

Таллин, поскольку здесь сосредоточены и корабли, и склады боепитания, и продовольственные запасы.

А самое главное, Таллин отвлекает большие силы противника от наступления на Ленинград, без Таллина трудно сражаться островным гарнизонам Эзеля, Даго и полуострова Ханко. Береговые батареи Таллина, Ханко, Эзеля, Даго взаимодействуют, закрывают вход в Финский залив немецкому флоту. Кроме этого, Ханко, Эзель и Даго прикрывают наши передовые маневренные базы, откуда активно действуют балтийские торпедные катера.

Вот почему все, чем обладает флот: корабли, авиация и люди, — все брошено навстречу врагу, чтобы возможно дольше задержать его на промежуточных рубежах, измотать его силы, не допустить в Таллин.

И разумеется, в эти дни такой человек, как Цехновицер, не мог оставаться в Таллине. С первой же группой флотских политработников он выехал на сухопутный участок фронта.

Несколько дней о нем ничего не было слышно. И вдруг он вернулся. К вечеру, даже не забежав в нашу «спальню», он явился прямо в Политуправление флота. Здесь мы и встретились.

На его широком лбу резче обозначились морщины, скулы еще больше заострились. Под глазами черные круги. На сукне шинели пятна глины.

— Совсем приехали? — спросил я, искренне обрадовавшись встрече.

— Нет, только до утра. У нас там ранен комиссар, и я пока его заменяю.

— Вас уже назначили?

— Да нет, кто же там будет назначать. Само собой произошло. Военный совет должен утвердить.

На этом наш разговор оборвался. Появился адъютант и вызвал Цехновицера к начальнику Политуправления флота дивизионному комиссару Муравьеву.

В приемной на диване сидели двое молодых моряков. Они приехали вместе с Цехновицером и сами о нем заговорили.

— Ваш профессор — душа человек и воюет что надо, — сказал один из них и посвятил меня в историю, приключившуюся с Цехновицером в первый же день его приезда на передовую. Как известно, он вызвался поехать на фронт, чтобы беседовать с бойцами морской

пехоты в короткие промежутки между атаками. Но таких промежутков не оказалось.

В траншее Цехновицер начал было разговаривать с матросами. В это время вынырнули откуда-то фашистские самолеты и с бреющего полета стали бросать осколочные бомбы.

— Ложись! — послышалась команда.

Цехновицер прижался к стенке траншеи. Бомбовый удар пришелся как раз возле группы беседующих. И только рассеялся дым, Цехновицер увидел рядом с собой несколько убитых моряков. Смерть прошла в двух шагах от него.

Самолеты скрылись. Уцелевшие бойцы отряхивали с одежды комья налипшей земли. Вдруг со стороны противника послышались звуки военного оркестра. Бравурный марш.

С дикими криками «олла... ла» гитлеровские солдаты шли на наши позиции. Моряки отстреливались, но с каждой минутой огонь слабел: патроны были на исходе.

— Что будем делать? — спросил Цехновицер лейтенанта, командира подразделения.

— Контратаковать! — ответил тот и протянул две гранаты.

Они оба выпрыгнули на бруствер. За ними бойцы морской пехоты бросились на врагов. Оркестр, конечно, сразу смолк. Гитлеровцы замешкались, затоптались на месте, и в конце концов моряки заставили их повернуть обратно.

Короткая передышка позволила привести в порядок оружие, поднести боеприпасы. Несколько суток шли бои, и Цехновицер не уходил с переднего края. Он лежал на земле рядом с бойцами, а когда стало известно, что ранен комиссар батальона, Цехновицер по своей собственной инициативе заменил его и не отлучался с передовой, пока его не вызвали в Военный совет флота.

— По душе пришелся он нашим бойцам! И всерьез поговорить может, и пошутит, и в атаку вместе со всеми пойдет, — сказал в заключение моряк.

Цехновицер вышел из кабинета усталый, но довольный, улыбающийся. Он объявил нам:

— Вопрос согласован. До назначения нового комиссара возвращаюсь обратно.

Замученный и изнуренный бессонными ночами, он вдруг побледнел, пот выступил на лбу. Он сделал усилие, чтобы устоять на ногах, но не выдержал и упал в кресло. На губах показалась кровь, хлынувшая горлом.

Мы все бросились к нему, протягивая кто воду, кто носовой платок. Адъютант побежал к телефону и стал вызывать врача.

— Не надо, пройдет, — отозвался Цехновицер.

Все же врача вызвали. Пожилой человек в очках выслушал Ореста Вениаминовича и назидательно сказал

— Вам, уважаемый, надо лечь.

— Что вы! Я здесь на несколько часов с фронта и сейчас отправляюсь обратно!

— Ничего не значит, в постель.

— Дорогой доктор, если бы вы там побывали, то поняли бы, что это не болезнь! Такие болезни сейчас в расчет не принимаются. Раз руки, ноги на месте, значит, все в порядке.

— Напрасно, напрасно вы так рассуждаете, — возражал врач.

Однако, видя бесплодность своих увещеваний, он попрощался и ушел. А Цехновицер пошел в соседнюю комнату, присел, уронил голову на спинку дивана и сразу заснул. Мы старались его не тревожить до тех пор, пока он сам не проснулся и не пришел к нам. Лицо его все еще было бледным, но по-прежнему оптимизмом звучал его голос.

— Многое видел, многое узнал я на фронте, — говорил он. — Черта с два удастся Гитлеру победить людей, обладающих такой исключительной духовной силой. Я поехал вдохновлять их, но, честно говоря, они меня вдохновляли!

Орест Вениаминович заканчивал упаковывать свой маленький чемоданчик и готовился распрощаться с нами. В эту минуту в комнату ворвался майор с золотыми нашивками, голубыми просветами на рукавах. Взрослый человек, он был похож на ребенка, которому доставили какую-то невероятную радость.

— Товарищи! Новость-то какая! — воскликнул он.

Цехновицер положил на стол чемоданчик и вместе с нами бросился к майору:

— Какая новость, говорите! В чем дело?

— Наши бомбили Берлин!

Это известие вначале нас ошеломило, потом обрадовало.

— Кто бомбил, рассказывайте, — нетерпеливо требовал Цехновицер.

— Да летчики полковника Преображенского.

Мы обступили майора, расспрашивали его, хотя он сам располагал очень скудными сведениями, и смотрели на него такими жадными глазами, словно перед нами был первый человек, побывавший на Марсе.

А когда майор смолк, Цехновицер взял в руки чемоданчик. Я никогда не видел его в таком приподнятом, возбужденном состоянии.

— Ну, раз дошли до Берлина по воздуху, то по земле и по морю тем паче дойдем! — говорил он, прощаясь с нами.

Он уехал обратно на фронт, в морскую пехоту.

А мы никак не могли разойтись, обрадованные новостью, и долго говорили о том, как, очевидно, трудно пришлось нашим морским летчикам: всю ночь находиться в воздухе, в предельном напряжении, сколько опасностей подстерегало их на пути и как, должно быть, счастливы они, что первыми добрались до логова врага.

Любопытно, что днем все немецкие радиостанции передавали сообщение о большом налете на Берлин... английской авиации.

В Лондоне, разумеется, опровергли это сообщение, и геббельсовские вруны оказались в конфузном положении.

СЕМЬ МИНУТ

Я поспешил на таллинский аэродром в надежде узнать какие-нибудь подробности о полете на Берлин летчиков полковника Преображенского. Может быть, удастся с попутной оказией попасть на острова и повидаться с людьми, о которых сегодня говорил весь флот.

Оказалось, что никакой связи с островами не существует.

Но мне все же повезло: на аэродроме я встретил Героя Советского Союза Петра Бринько. Он прилетел в Таллин с полуострова Ханко всего на несколько часов, чтобы заменить какую-то износившуюся деталь мотора.

Только что совершив посадку, Бринько стоял окру-

женный летчиками и неторопливо беседовал, пожевывая травинку. Он был небольшого роста, крепыш, с быстрыми и живыми глазами; рассказывал он, наверное, что-то забавное — стоявшие вокруг летчики весело улыбались.

— Вот так и работаем! — сказал Бринько, и в эту минуту издали донесся протяжный вой сирены.

Тревога!

В воздух моментально поднялось звено дежурных истребителей.

— Прошу прощения, я вас оставлю на несколько минут, — сказал Бринько и побежал на КП.

Затем мы увидели его на подножке автомобиля-стартера. Вот он подбегает к своему «ястребку», торопливо застегивая на ходу парашютные ремни, кричит мотористам:

— Ну-ка, друзья, помогите!

Один из мотористов провернул винт. Загудел мотор. Зеленый «ястребок» быстро покатился, приминая траву, и через минуту был уже в воздухе.

В небе показался вражеский самолет, держа курс на наш аэродром.

Все стояли на зеленом поле, забыв об опасности, и, завороженные, наблюдали, как над нашей головой разыгрывалось захватывающее зрелище.

Появление «ястребка» было, очевидно, полной неожиданностью для экипажа вражеского разведчика. Бринько сперва пошел в лобовую атаку. Потом проделал несколько головокружительных фигур и очутился над разведчиком. Мы услышали глухие пушечные выстрелы. Бринько до тех пор атаковал разведчика, пока тот не «задрал нос» и, описав дугу, не пошел на снижение. Через мгновение от самолета оторвались три черные точки, и над ними вспыхнули купола парашютов; теперь уже ни у кого не было сомнения, что вражеский самолет сбит. Он горел и несся к земле.

Когда парашютисты скрылись за домами, Бринько пошел на посадку.

Самолет Бринько зарулил к ангару. Со всех концов поля к нему бежали люди. Бринько ловко спрыгнул на землю, снял парашют, аккуратно положил его и пошел навстречу товарищам. Летчики, техники и бойцы из стартовой команды восхищенно смотрели на него.

А Бринько как ни в чем не бывало не спеша стал

разъяснять товарищам то, что могло остаться незамеченным или непонятным в тактике воздушного боя для них, наблюдавших эту схватку с земли.

Расспросы продолжались, пока на аэродром не пришла машина, доставившая офицера штаба авиасоединения.

Офицер пригласил Бринько «познакомиться» со сбитыми им летчиками: пленные гитлеровцы уже были доставлены в штаб.

Через несколько минут мы очутились в одной из комнат штаба.

— Давайте-ка этих красавцев, — сказал начальник штаба сержанту.

Ввели трех пленных. Серые мундиры, форменные галифе, высокие зашнурованные ботинки. На лицах — пятна ожогов. У одного забинтована голова.

— Спросите этого долговязого, за что он получил железный крест? — сразу обратился Бринько к переводчику.

— За Англию! — самодовольно ответил гитлеровец.

— А этот значок? — Бринько указал на другой фашистский орден.

— За Францию! — столь же горделиво сказал фашистский ас.

— А теперь, — проговорил Бринько, обращаясь к переводчику и показывая пальцем на забинтованную голову фашиста, — а теперь объясните ему, что это он получил от нас — за Россию!

Даже строгий начальник штаба не смог удержать улыбку.

Из допроса гитлеровцев стало ясно, что экипаж разведчика прилетел для фотосъемки таллинского аэродрома. Это еще раз подтверждало, что противник готовит воздушные налеты на Таллин с целью уничтожения нашей авиации и кораблей Балтийского флота.

Бринько несколько раз во время допроса нетерпеливо поглядывал на часы, было видно, что он торопится.

— Спешите? Куда? — спросил я его.

— Пора домой!

Мы вышли.

— До ночи надо обязательно попасть на Ханко, — проговорил Бринько, направляясь к машине.

— Что так?

— Да, понимаете, нехорошо получается: я в гостях, а товарищи на Ханко целый день за меня отдуваются. Нас ведь там мало, летаем по очереди. Если одного не хватает, план не выполняется, — шутливым тоном сказал Бринько.

— Так вы его в Таллине выполнили! — заметил начальник штаба.

— Что в Таллине — не считается. Один на один драться — это не фокус. У нас на Ханко картина совсем другая. Их больше в четыре, а то и в пять раз. Да и условия особенные. Иной раз взлетишь, и пока ты в воздухе, артиллерия финнов весь аэродром вспашет. Садишься, — того и гляди, как бы в воронку не плюхнуться. И все же мы им даем жару, — заключил Бринько.

Действительно, так виртуозно сбитый в Таллине Петром Бринько самолет был десятым на его боевом счету.

Бринько уже садился в машину, когда я вынул блокнот и хотел еще о чем-то спросить, но он заметил это, сверкнул своими веселыми глазами, дал сигнал шоферу и исчез.

БОИ У ВОРОТ ГОРОДА

Таллин в кольце пожаров. Огонь полыхает вдоль всего побережья — от пестрых домиков Пириты до рыбацких слобод. Черные столбы дыма поднимаются в небо и долго-долго почти неподвижно висят в воздухе. Вдали перекатываются взрывы, сливаясь с гулкими залпами крейсера «Киров», лидера «Ленинград», эскадренных миноносцев и многих других кораблей, темные силуэты которых ясно выделяются на фоне спокойных вод Таллинского рейда.

Корабли ведут артиллерийскую дуэль с врагом, помогают армии сдерживать противника на главном направлении.

Особенно сильное впечатление производит крейсер «Киров». Его стройный корпус весь устремлен вперед. Он скользит, рассекая гладь моря. На борту мелькают желтые огненные вспышки, и по воде проносится грохот выстрелов.

В боевой рубке крейсера сразу после выстрелов — тишина. Слышно, как щелкает прибор, указывающий мо-

мент падения снарядов. Секунда... Две... Звонок. Стало быть, снаряды у цели.

Из района боя корректировщики крейсера «Киров», находящиеся в гуще наших войск, докладывают:

— Цель накрыта! Прямое попадание в танки на шоссе!

Огонь сразу усиливается.

— Первая, вторая, огонь на поражение! — командует капитан-лейтенант Клименко.

Снаряды корабельной артиллерии летят туда, где идет борьба не на жизнь, а на смерть, и наши люди дерутся из последних сил, чтобы не допустить прорыва противника в город.

Подобные раскатам грома, басовые голоса крейсера «Киров» слышны и днем, и ночью. Их уже хорошо знают в наших войсках. Они известны и противнику.

«Киров» в первые дни войны находился в Рижском заливе. Гитлеровцы не раз делали попытки уничтожить его и продолжают за ним охотиться здесь, у Таллина.

Едва им удается приблизиться на расстояние выстрела, как всю мощь огня они обрушивают на крейсер. В бинокль можно различить немецкие аэростаты наблюдения, появляющиеся над лесом и корректирующие огонь своих батарей. Что ж, артиллерия «Кирова» бьет и по аэростатам, расстреливает и поджигает их.

Дальнобойные батареи врага обстреливают рейд. Вокруг «Кирова» высоко взлетают столбы воды, то далеко, то совсем близко от борта. Корабль непрерывно меняет место и тем самым сбивает пристрелку вражеских артиллеристов.

За один день 23 августа противник выпустил по рейду более шестисот снарядов. «Киров» в свою очередь отвечал огнем.

Передышка продолжалась лишь несколько ночных часов, а с первыми лучами солнца опять завязалась дуэль. Убедившись, что потопить крейсер артиллерийским огнем не удастся, гитлеровцы с утра бросили на корабль авиацию.

Крейсер атаковали восемнадцать пикировщиков. Теперь к грохоту пушек главного калибра присоединили свой голос зенитки и пулеметы.

Первая тройка вражеских самолетов пикирует на крейсер с правого борта.

Наступает самый острый момент. Самолеты один за другим резко снижаются, и от них отрываются бомбы.

— Лево на борт! — приказывает командир корабля рулевому.

Главстаршина Андреев быстро перекладывает руль, и крейсер уклоняется влево. Через несколько секунд шесть бомб падают в воду справа от корабля. Искусное маневрирование спасает корабль от прямого попадания.

Но слева заходит вторая тройка. Вновь маневр — и опять бомбы летят в воду.

И так почти весь день атака следует за атакой. Зенитчики крейсера отбили одиннадцать воздушных атак. Более ста бомб было сброшено в этот день авиацией врага, но ни одна из них не причинила «Кирову» сколько-нибудь серьезных повреждений.

— Рыбку глушат, стервятники, — смеялись утомленные напряженным боем моряки.

А командир корабля объяснял:

— Если корабль на ходу, то пикировщики не так опасны. Нужно только вовремя изменить свой ход и курс.

Бой продолжается часами. Снаряды летят через город; над головой не затихает их противный свист, рассекающий воздух. Корабли занимают огневые позиции напротив ближайшего пригородного местечка Пирита и бьют по батареям и живой силе противника. Катера-дымзавесчики шныряют между кораблями и закрывают их облаками густого дыма.

Бои идут у городских застав. Наших сил явно недостаточно, чтобы сдержать натиск гитлеровских войск. Но ждать помощи неоткуда. Ленинград сам в опасности. Оттягивая на себя силы, защитники Таллина помогают и Ленинграду.

Обстановка усложняется с каждым часом, но в городе твердый порядок. По ночам на улицах тишина. Патрули, зажигая фонарики, проверяют пропуска.

Противник любой ценой хочет прорваться в Таллин. Пленные говорят, что фашистские полки несут большие потери, но сейчас подтягиваются новые силы из Риги и Каунаса. Видимо, скоро начнется последний и решающий штурм Таллина.

В городе постепенно угасает деловая жизнь. В центре нет привычного оживления — мало пешеходов, не видно

традиционных таллинских извозчиков. Смолк грохот трамваев, молчат уличные радиорупоры. Пустуют газетные киоски.

По тенистым аллеям парка Кадриорг прыгают ручные белки. Они голодны — кому придет в голову их покормить?! В узеньких улочках тихо и пустынно. Никто не обращает внимания на мусор, который не убирался уже много дней. Исчезли дворники в белых передниках с метлами и совками. Учреждения закрыты. На дверях парикмахерских круглосуточно висит плакат «Suletud» (закрыто).

На улице Харью владельцы снимают тенты над зеркальными витринами магазинов готового платья и закрывают щитами витрины. Удары молотков эхом отдаются в конце улицы. Так забиваются последние гвозди в гробовую доску.

В ресторане гостиницы «Золотой лев» посетителей встречает толстый, с двумя подбородками человек во фраке — тот самый необычайно любезный метрдотель, который всегда учтиво смотрел в глаза, стремясь угадать желания и вкусы клиента.

Сейчас его окаменевшее лицо могло бы соперничать с египетской мумией.

— Что угодно? — спрашивает он.

— Можно пообедать?

На лице человека во фраке саркастическая улыбка:

— Кончилось, все кончилось, достопочтеннейшие товарищи...

Он бесцеремонно показывает нам спину и уходит.

Молчат паровозные гудки. Бывало, они, перекликаясь днем и ночью, радовали и ободряли людей. А без них чего-то не хватает, грустно и тоскливо на душе. Получен приказ Ставки Верховного Главнокомандования: войскам, сражавшимся под Таллином, и Краснознаменному Балтийскому флоту отойти в Кронштадт и Ленинград.

МЫ ОТСТУПАЕМ

Фронт перемещается еще ближе к городу. В окопах при въезде в Таллин, на развилке дорог, у памятника морякам русской броненосной лодки «Русалка» уже ведут бой автоматчики, прикрывающие отход наших воинских частей.

На самом берегу моря в кустах зелени кого-то хоронят. Нет ни оркестра, ни гроба.

Неглубокая могила вырыта в тени, и возле нее на санитарных носилках девушка, одетая в шинель, с белым, как мрамор, лицом. Улыбка застыла на тонких губах. Руки по швам. Русые волосы разметались.

Вокруг носилок бойцы. Скорбно склонены головы. Командир — высокий пожилой человек — перочинным ножом режет зеленые ветки, а боец сплетает из них венок.

Когда венок готов, командир бережно кладет его у изголовья погибшей, и все снимают пилотки. Тело девушки-бойца опускается в могилу.

Двое бойцов уже взялись было за лопаты, но командир сделал знак — отставить. Он с минуту стоит молча, потом поднимает голову и, будучи не в силах подавить волнение, начинает тихо говорить:

— Товарищи! Мы прощаемся с Зиной, с нашим хорошим другом. Она была так же молода, как и вы. Она спасала вашу жизнь и сама хотела жить. И вот нет ее. Мы оставляем ее здесь, в сырой земле. Прощаясь с ней, скажем: мы вернемся сюда, в Таллин, и это будет нашей дорогой подруге Зине живой памятью.

Он замолк, и все стоят в горестном оцепенении, пока первая горсть земли не брошена в могилу.

...Улица Нарвамаанте. У здания школы, превращенной в госпиталь, сгрудились санитарные машины. Выносят раненых, назначенных к эвакуации на транспортах. Один из них срывается с носилок и кричит:

— Я сам! Я сам!

Он вырвался из рук санитаров и с безумными глазами бежит в толпу. Санитары настигают его и ведут обратно к машине.

— Я к своим!.. К ребяткам!..

— Осторожнее, товарищи, он бредит, — объясняет врач.

На главных улицах люди, машины, повозки. По лицам солдат сбегают струйки пота. Некоторые солдаты держат две-три винтовки — свою и убитых товарищей. На плечах несут пулеметы. Все спешат в порт. Ветер с моря гонит запах гари и пороховой дым.

Улицы перегорожены баррикадами из толстых бревен, связанных колючей проволокой. Оставлены лишь

неширокие проходы, возле которых стоят бойцы, ожидая, когда пройдут последние воинские части, чтобы закрыть бревнами эти проходы, перегородить путь немцам в Минную и в Купеческую гавани.

— Тере![1] — приветливо обращается к нам какой-то пожилой эстонец в светло-зеленом плаще. Он стоит без фуражки, в руках держит корзинку. Лицо его выражает сожаление.

— Ай-ай, что происходит! — разводит он руками, показывая на отступающие войска. — Вы покидаете Таллин! Опять фашист придет?!

— Придет, да ненадолго...

— Да, это я знаю. Только плохо будет нашему брату, — отвечает он дрожащим от волнения голосом. — Плохо...

Он от всего сердца пожимает руки матросам.

— До свидания. До свидания, товарищи!

И он долго стоит, этот старик с корзинкой в руках, глядя нам вслед, и кажется сейчас особенно одиноким, осиротевшим, покинутым.

В Минной гавани среди страшного грохота, среди непрерывных огненных вспышек и густого дыма, расстилающегося над землей и временами скрывающего из виду наши корабли, происходят торжественные проводы на фронт курсантов Военно-морского училища имени Фрунзе.

Рослые юноши в новых форменках с голубыми воротниками; до блеска надраены бляхи на ремнях. Вот такими мы видели их на парадах на Дворцовой площади в Ленинграде, и одно их появление всегда вызывало в народе взрыв восторга.

Они выстроились поодаль от пирсов. К ним выходит командующий флотом и обращается с короткой речью, которая поминутно заглушается ревом орудий.

— По выправке узнаю вас, товарищи курсанты. Не скрою — на горячее дело идете. Бейте врагов, как били их ваши отцы и деды. В боях под Таллином помните о Ленинграде!

— Есть, товарищ командующий!

— За землю советскую, за родное Балтийское море ура!

[1] Тере! — добрый день, здравствуйте! (эст.)

«Ура!» прокатывается из ряда в ряд. Играет оркестр. Чеканя шаг, безупречно, точно по нитке выдерживая равнение, курсанты проходят торжественным маршем и скрываются за портовыми зданиями.

Разрывы снарядов, гул канонады, клубы кирпичной пыли напоминают о том, что бой идет неподалеку, жестокий и неумолимый бой.

«Киров» и миноносцы дают залп за залпом.

Непрерывные огненные вспышки. Горячее дыхание орудий доходит до пристани. Плывут тучи дыма.

Поблизости от стоянки транспортов, где идет погрузка наших войск, горит склад с патронами. Слышится сухой треск рвущихся патронов и глухие взрывы.

Все охвачены волнением, считая минуты, оставшиеся до выхода транспортов в море. В каждом из нас живет вера в то, что опасность существует только тут, в гавани, что достаточно оторваться от причала, как корабль станет неуязвимым... Такое странное ощущение не только у армейцев, но и у моряков, нетерпеливо ожидающих, когда наконец корабли начнут выбираться из этой «мышеловки».

Капитаны транспортов руководят погрузкой техники. Помощники капитанов размещают людей, непрерывно прибывающих с фронта.

Из кабины плавучего крана показалось искривленное от злобы лицо крановщика.

— Какого черта грузите ящики? Живым людям места мало, а вы с фронта ящики приперли!

— Боезапас это, дурная голова! — отвечает снизу боец.

— Боезапас, боезапас. Кому он нужен в море, твой боезапас. Да в случае чего мы вместе с твоим боезапасом ко дну пойдем, — надрывается крановщик.

— В Ленинграде все пригодится.

Тяжелый кран поднимает на борт груды ящиков с боезапасом.

Сторожевой корабль «Пиккер», служивший командным пунктом Военного совета, уже давно опустел. На корабле остался лишь кок, рослый детина в белом колпаке. Он сидит на палубе в плетеном кресле и с любопытством взирает на происходящее.

Фигура начальника штаба мелькает на пирсе. К нему поминутно обращаются — то насчет ненормальностей с

погрузкой, то спешат выйти в море и просят «добро». Один армейский капитан, только что явившийся со своей частью, хочет во что бы то ни стало попасть на транспорт, которому уже дано «добро» на выход из гавани.

— Разрешите, товарищ начальник, — чуть ли не умоляющим голосом просит он. — У меня никакой техники нет, последнюю пушку подорвали.

— Не могу,— решительно заявляет контр-адмирал.— Транспорт переполнен. Грузитесь на танкер.

Капитан видит, что его уговоры не помогут, отходит в сторону и спрашивает первого попавшегося ему матроса:

— Слушай, братишка, ты не знаешь — танкер с нефтью? А то ведь сгорим к чертовой бабушке.

— Не беспокойтесь, танкер порожний.

— Порожний? Ну, тогда порядочек.

Обрадованный капитан бежит к бойцам и ведет их к борту танкера.

Непрекращающийся свист снарядов, и вдруг в небе нарастают новые звуки — глухой рокот. Самолеты... Они летят на восток. Значит, не наши. На палубе транспорта кто-то кричит: «Всем вниз!»

Черные точки приближаются с разных направлений... Все дрожит от гула зениток. Небо в густых облачках разрывов шрапнели. Никто не ожидал, что несколько транспортов и боевых кораблей способны создать на пути противника такой густой зенитный огонь. Перекрывают всех, конечно, зенитки крейсера «Киров». Он окутывает себя дымовой завесой, но как раз на него и направляют свой основной удар фашистские самолеты. На мгновение они как будто повисают в воздухе и тут же пикируют на «Киров» один за другим.

— А ведь могут угробить, — шепчет встревоженно боец.

Но в ту же секунду он преображается, толкает соседа в бок и с детской восторженностью кричит:

— Смотри, боятся! Честное слово, боятся!

Фашистские летчики и впрямь не решаются приблизиться к шапкам разрывов — они пикируют поодаль от крейсера.

Невероятный грохот. Столбы воды закрывают корабль. Но вот спадает водяная стена и снова видны знакомые контуры башен и надстроек.

Трудно сказать, сколько минут беснуются в небе немецкие пикировщики. Когда с замиранием сердца смотришь в небо и на корабль, бой кажется очень долгим.

Все в гавани остановилось на эти минуты: бойцы как поднимались по трапу на танкер, так и замерли на том месте, где застал налет. Подъемный кран, подхвативший с пирса противотанковую пушку, не успел опустить ее в трюм: пушка повисла в воздухе. Крановщик высунул голову из окна кабины, и на его лице нет и следа от недавней злости, оно полно тревоги за судьбу нашего красавца крейсера.

В небе клубы черного дыма. Самолеты отогнаны. Зенитки замолкли, и воцарилась тишина, от которой все мы успели отвыкнуть.

Вдали от пирса останавливается серая трофейная малолитражка. Из нее выходит Всеволод Вишневский. Прищуренными глазами долго смотрит на пожары, на рейд, окутанный дымом, прислушивается к непрерывному гулу выстрелов.

Оглянувшись по сторонам, Вишневский насупился и обратился к шоферу, показывая на узенький проезд между двумя кучами угля:

— Здесь ее подорвите.

Шофер колеблется.

— Может, просто бросим, товарищ полковой комиссар? Карбюратор испорчу, сам черт не наладит.

— Вы приказ знаете: ничего врагу не оставлять. Выполняйте приказ.

— А если я ее в воду? — продолжает упрямиться шофер.

Он смотрит на пирс, где полно людей и машин — яблоку упасть негде. Поняв, что из его плана ничего не выйдет, шофер въезжает между двумя кучами угля. Долго роется в багажнике, словно жаль ему расстаться с машиной, не спеша извлекает оттуда заплечный мешок, инструмент и весь остальной скарб. Отойдя в сторону, он несколько минут смотрит на машину издали, а затем кричит во все горло:

— Прошу подальше, товарищи! Как бы осколочком не задело!

Он прячется за кучу угля, со всего размаха бросает в машину гранаты-лимонки и сам падает на землю. Об-

ломки машины поднимаются в воздух и разлетаются среди угля.

Шофер бежит к разбитой машине, и мы снова слышим его голос:

— В порядке, товарищ полковой комиссар, приказ выполнен в точности.

Вишневский и его шофер с вещевым мешком за плечами шагают к пирсу. Мы преграждаем им путь. Вишневский поднимает голову, щурит свои близорукие глаза и, узнав нас, сразу оживляется:

— Откуда вы взялись? Ну, что слышно? Нельзя ли достать сегодняшний номер «Советской Эстонии»? Там сводка Совинформбюро и важное обращение Военного совета.

— Смотрите, какая масса народу, — первый раз я вижу, как кипит от возмущения Вишневский. — Попробуйте, поговорите тут с каждым в отдельности. Именно сейчас газета нужна, как воздух. Все должны знать: мы в Эстонии дрались упорно. Время выиграли. Это безусловно скажется в общем балансе войны.

Вишневский предлагает снарядить экспедицию за газетами. Кто-то сразу возражает:

— Это слишком опасно. К тому же туда не попадешь, баррикады мешают.

Вишневский не согласен, он настаивает на своем.

Возглавить группу берется шофер — верный спутник Вишневского по фронтовым поездкам.

— Кто еще пойдет? — спрашивает он.

Желающих много. Корреспондент «Комсомольской правды», писатели Анатолий Тарасенков, Юрий Инге, работники газеты «Красный Балтийский флот». Я решил присоединиться к ним, но не во имя солидарности. Дело в том, что уже здесь, в Минной гавани, я вспомнил о своих записях, хранившихся в нашем потайном шкафу. Так жалко было их потерять! Ведь я записывал все свои наблюдения, мысли, день за днем, час за часом, как советовал Вишневский. И вот теперь, пользуясь случаем, я решил попробовать их разыскать.

Мы двигаемся к центру города по улицам, перегороженным баррикадами, через обходные дворы, глухие, безлюдные переулки.

По пути горят здания: видимо, немецкие зажигательные снаряды упали с недолетом и вместо кораблей подожгли жилые дома.

Странная картина. Город точно вымер, совсем безлюдно. Даже некому тушить пожары.

Мы повернули на улицу Пикк (что означает — Длинная). Приближаемся к серому зданию редакции и типографии газеты «Советская Эстония». Напротив горит четырехэтажный дом. Судя по всему, он подожжен изнутри. От нестерпимого жара трескаются оконные стекла и осколки со звоном летят на мостовую, а вслед за тем наружу со страшной силой вырывается сноп желтого пламени, облизывающий стены и достигающий железного парапета крыши.

В типографии «Советская Эстония» на первый взгляд все как было. Только не слышно гула машин; стоит непривычная, томящая тишина. Никто не работает, но рабочие на своих местах — мрачные, удрученные, в каком-то тревожном ожидании... В экспедиции лежат ровные стопки свежего номера газеты со статьей Вишневского на первой полосе под заголовком, состоящим из двух энергичных слов: «Балтфлот действует».

Рабочие молча толпятся возле нас, должно быть, ошеломленные нашим неожиданным появлением. На их задумчивых лицах можно прочесть: «Что-то с нами будет?» А один пожилой, сгорбленный человек в синем халате подходит к нам и откровенно говорит:

— Что же, уходите?

— Да, уходим.

Суровым укором звучат его горькие слова.

Каждый из нас берет несколько пачек газет. Мы прощаемся с рабочими. Идем к выходу. Следом за нами семенит маленькими шажками женщина в платочке и ситцевом платье. Она ни слова не произносит, и только слезинки катятся по ее лицу.

Теперь мы с Тарасенковым покидаем наших друзей и идем по моим делам к Дому партийного просвещения.

На Ратушной площади нас останавливает патруль.

— Туда нельзя, — говорит матрос с трофейным автоматом в руках. — Там из подвалов и чердаков стреляют. Уложат вас на месте, только и всего.

Мы переглянулись и поняли друг друга: да, не стоит

соваться в эту кашу. Еще чего доброго схватят, да живыми попадем к гитлеровцам.

И вместе с тем мысль об оставленных записках не дает покоя. Ведь наш дом находится в каких-нибудь пяти минутах ходьбы, а не попадешь.

Тем же путем возвращаемся в Минную гавань. Теперь, среди пожаров, на улицах слышны выстрелы и пулеметные очереди: это уличные бои, но не с немцами, а с кайтселийтовцами, которые засели на чердаках, в подвалах и хотят отрезать отряды прикрытия, задержать их, чтобы они не успели ни в одну из гаваней на суда, уходящие в Кронштадт.

* * *

Наконец мы в Минной гавани. Нас всех распределили по кораблям. Вишневский пойдет на лидере «Ленинград», а меня, Тарасенкова и еще многих писателей и журналистов направили на борт «Виронии».

Пароход «Вирония» камуфлирован и потому утратил свою прежнюю франтоватость. Он стоит крайним в ряду еще не ушедших кораблей.

Масса людей. И штабные офицеры, и работники Политуправления флота, и сотрудники прокуратуры, трибунала с кипами бумаг, и морские пехотинцы.

Каюты переполнены. Люди стоят, сидят и лежат в узеньких коридорах и на палубах. Многие, вернувшись с передовой после бессонных ночей, примостились на полу. Если нужно куда-либо пробраться — перешагиваешь через них.

Все наши вещи привезены из штаба флота и свалены в один трюм. Несколько матросов получили задание их рассортировать, привести в порядок. Увы, это невозможно. Из мешков и чемоданов, не закрытых на замок, вывалилось белье, обувь, костюмы, книги.

На верхней палубе большое место занимает какой-то громоздкий груз, покрытый серым брезентом и привязанный канатами. Никого близко не подпускают, а когда людская волна прорвалась и сюда, бдительный страж — мичман, чувствуя свое бессилие, просит, умоляет:

— Только, ребятки, осторожнее. Это машина нашего командования. Если будет хоть царапина на крыле — начальство мне голову снимет.

Какой-то задорный голос слышен из-под брезента:

— Тут люди гибнут, а у них забота о машинах. Эх вы, горя не видали, господа моряки...

— Ты поосторожнее, — говорит испуганно мичман.

— Что мне осторожничать. Поползал бы на пузе под пулями, живо забыл бы о своих машинах.

Встречает новых пассажиров и помогает им разместиться высокий, подтянутый человек с добрым, порыжевшим от веснушек лицом — батальонный комиссар Бусыгин. Для очень многих, прибывающих на корабль, Бусыгин старый знакомый, его знает каждый, кому приходилось бывать в Политуправлении Балтийского флота. Я познакомился с ним еще в финскую войну. Помнится, тогда в Кронштадте мы встретились с ним и подружились. Он был на редкость простой, душевный человек.

Даже по внешности можно определить, что Бусыгин в прошлом учитель: чувствуется какая-то профессиональная особенность в его ясном, последовательном мышлении, спокойствии, терпении и необыкновенно большой, нескрываемой любви к людям. Инструктор отдела культурно-просветительной работы, он в финскую войну разъезжал с артистами по кораблям и частям, а когда однажды простудился и сильно заболел, то об этом даже никто не узнал. На ногах перенес он воспаление легких, продолжая в зимнюю стужу оставаться на фронте.

«Если боец сыт, тепло одет, обут, да еще у него хорошее настроение, — он горы своротит. А создать настроение — это по нашей части...» — улыбаясь говорил Бусыгин и прилагал все старания к тому, чтобы у бойцов было действительно хорошее настроение.

С тех пор мы с Бусыгиным не виделись. В эту войну он уже стал батальонным комиссаром, начальником культурно-просветительного отдела и продолжал жить заботами о музыкальных инструментах, кинопередвижках, о том, чтобы в короткие промежутки между боями люди могли немножко отдохнуть и развлечься.

Недавно я застал его в Политуправлении флота за необычным делом. Он был в походной форме — шинели, подпоясанной ремнем, и набивал пулеметные ленты. Патроны так и мелькали у него в пальцах.

— Уходим все на фронт, — сказал Бусыгин, не отрываясь от работы,

Высокий и подтянутый, с наганом на ремне, с железным ящиком, наполненным пулеметными лентами, в левой руке, Бусыгин последним из политработников спустился во второй этаж и, приоткрыв дверь комнаты машинисток, махнул на прощание им рукой.

— Ни пуха ни пера, Константин Николаевич. Желаем боевых удач! — провожали его женские голоса.

Мы вместе вышли из Политуправления и вскоре расстались. Где он был все это время и что делал, лучше всего рассказывают страницы записной книжки, с которыми он меня познакомил на «Виронии»:

«Положение на фронтах напряженное. Пал Смоленск. Ожесточенные бои на старорусском направлении. А у нас в Таллине перед глазами зелень, цветы, не потревоженные войной, и, глядя на все это, порой даже не отдаешь себе отчета в том, сколь серьезная угроза нависла над страной.

По поручению Военного совета я занимаюсь формированием резервного батальона из пограничников и моряков, который при первой необходимости будет брошен в «прорыв», а пока народ живет на казарменном положении. Я много времени провожу среди личного состава, знакомлюсь с людьми, беседую, отвечаю на вопросы.

По утрам — политинформация. Коротко сообщаю, что в сводках. Подробнее рассказываю о положении дел на нашем эстонском участке. Слушают внимательно, тяжело переживают наши неудачи. И все, как один, рвутся на фронт. Приходится долго и терпеливо объяснять, доказывать необходимость учебы. Необученный человек — обуза на фронте, как правило, он погибает в первом же бою, а нам нужны люди, которые умеют грамотно и умело воевать, наносить врагу крупные потери. Этого, к сожалению, не могут понять многие горячие головы. Они кричат: «Даешь фашистов!» Вот с ними-то и приходится вести долгие беседы, охлаждать пыл, настраивать на деловой лад, доказывать, что придет время, их тоже пошлют на фронт. А пока надо к этому готовиться.

К нам в батальон прислали курсантов училища имени Фрунзе. Замечательные ребята! Они — моя верная опора, любое поручение в один миг выполняют, каждое утро выпускают «Боевой листок».

Особенно я подружился с Виктором Шаровым. Быть может, это объясняется тем, что, просматривая его лич-

ное дело, я увидел, что его отец Василий Петрович — учитель средней железнодорожной школы в Валуйках, Курской области. Товарищ по профессии! С разговоров об отце и началась наша дружба.

Мне нравится этот паренек, живой, общительный. Будь я писатель, обязательно вывел бы его героем очерка или рассказа. Биография у него очень типичная для моряков, вступающих в жизнь в наши дни. Рассказывает, что в детстве играл в войну, в сражения, хотел быть Чапаевым, Павкой Корчагиным, капитаном Немо. Тройка в аттестате помешала ему попасть в военно-морское училище после окончания школы. Поступил в Индустриальный институт. Но не выдержала душа, и после первого курса все же добился перевода в училище имени Фрунзе. Третий курс окончил, приехал в Таллин на практику и попал как кур во щи.

Сейчас вместе со всеми ребятами переучивается, тактику сухопутную изучает. Как и все остальные, Виктор тоже рвется на фронт.

Обстановка меняется (к худшему). Нашему батальону приказано срочно сформировать заградотряд и бросить его на Нарвское шоссе задерживать бойцов, отступающих без приказа, наводить порядок.

Через час приказ выполнили. Прибыли на место. Что тут делается? Трудно описать. Люди, кони, тележки. Военные и гражданские перемешались. Старики, женщины с детьми на руках...

Сразу установили заставу, строго проверяем документы и пропуска. Беседуем с солдатами и тут же отправляем их на передовую.

Рядом с нашей заставой действует походная рация, корректирующая огонь наших кораблей. Меня удивил там ловкий разворотливый парнишка радист, которого все называют «цыганом». Я познакомился с ним довольно близко, душевно поговорил, а потом осторожно спросил: «Вы действительно цыган?»

Он рассмеялся:

— Нет, что вы?! Это меня за усы прозвали.

Я внимательно присмотрелся: действительно, смуглый цвет кожи и черные, точно тушью нарисованные усы.

«Цыган» показывает чудеса быстроты и оперативности. Он по нескольку раз связывается и с нашим батальоном, передает мои донесения.

Второй день на шоссе. Такая горячка, что нет спасения...

Борьба разгорается. Что-то будет в ближайшие дни?»

Нетрудно догадаться, почему на этом месте запись оборвалась.

Я представляю себе положение Бусыгина, когда был получен приказ отступать и масса войск хлынула по шоссе в Минную и Купеческую гавани. Надо было поддерживать порядок. И он действовал на шоссе, ожидая отряд прикрытия.

Прямо с фронта он прибыл к нам на «Виронию» и здесь взялся помогать командованию корабля в размещении усталых, измотанных бессонными ночами людей.

...По всему побережью бушует огонь. И может показаться странным, что в ясный, солнечный день на рейде темно от дыма. Сигналы, передаваемые флагами, не различишь. Сверкают огни прожекторов. Только они могут прорвать этот фантастический мрак.

Небо озарено багровым отблеском пожаров. Полыхает арсенал — старинное здание с высокими колоннами. Факелы огня стоят над нефтяными цистернами в Купеческой гавани.

Население корабля возрастает с каждой минутой. Встречаются друзья, только что дравшиеся с фашистами на окраинах города. Усталый поднимается на борт с рюкзаком за спиной и наш друг Цехновицер.

— Привет, ребятки! — кричит он издали, заметив на корабле знакомых командиров, и медленно передвигает ноги по трапу.

Его лицо еще больше исхудало и обросло бородой. Шинель помята, ботинки в глине. Одно в этом человеке неизменно — бодрость, оптимизм.

— Ну и попал в чертову мясорубку, — говорит он.— Каким чудом уцелел, просто не понимаю. Мы три дня из боя не выходили, и я думал, конец всему, гроб с музыкой обеспечен. И вдруг сообщение об отходе, приказ явиться в Минную гавань.

— Вы под счастливой звездой родились, — замечает кто-то.

— Какое там, — махнул рукой Цехновицер.— Просто случай. На войне есть свои необъяснимые законы.

При виде Цехновицера у всех нас сразу поднялось настроение. Мы ведем его в нашу, и без того переполненную, каюту, по общему согласию уступаем ему самое лучшее место и выставляем на стол всю еду, какая только осталась. Но он не ест, а лишь отвечает на наши вопросы.

Еще хватит времени посмотреть, что делается в гавани. Мы сходим с «Виронии» и попадаем в самую гущу войск, заполнивших всю гавань.

Немецкие батареи по-прежнему бьют с закрытых позиций. Вокруг кораблей поднимаются белые султаны воды — то где-то поодаль, то у самого борта. Кажется, вот-вот снаряд разорвется на палубе. Но расчеты наших моряков расстраивают намерения противника: корабли под прикрытием дымовых завес непрерывно меняют места и продолжают обстреливать врага. Они живут и сражаются.

В 11 часов 15 минут противник снова сосредоточил огонь на «Кирове». Сплошная волна разрывов встала вокруг крейсера. Уклоняться нет возможности. Еще минута, две — и крейсер получит повреждения.

Трудное положение флагмана заметил командир одного из миноносцев. Он снялся с якоря и под градом снарядов дал полный ход. Из труб миноносца повалил черный дым. Завеса плотно окутала рейд. Пристрелка вражеской артиллерии сбита. Крейсер не получил повреждений. Но не успела еще рассеяться дымовая завеса, как немецкие снаряды вновь падают у борта «Кирова».

В Минной гавани, вероятно, еще никогда не было такого скопления охваченных тревогой людей. Кого только здесь не встретишь! Крупные государственные деятели Эстонской республики, рабочие со своими семьями, известные писатели и артисты. И особенно много военных.

Подразделения Красной Армии приходят на пирс строем, со знаменосцами впереди. Усталые, потные лица бойцов. Шутка ли сказать: по две — три недели не выходили из боя!

Все, что происходит кругом, — странно и необычно для молодых бойцов. Они пугливо взирают на громады транспортов. По всей вероятности, многие из них никогда в жизни не были на корабле. И уж, конечно, не

при таких обстоятельствах надеялись они познакомиться с морем и совершить свое первое плавание.

Посадка на транспорты происходит быстро и организованно. Как только транспорт заполнен — к нему подходят буксиры и выводят из гавани, а дальше он идет своим ходом и занимает место, отведенное ему в отряде кораблей.

Пробиваясь сквозь толпу, совершенно неожиданно лицом к лицу встречаю председателя Совнаркома Эстонской ССР Иоганеса Лауристина. Он в синем плаще, на голове спортивная шапка с длинным козырьком, какие чаще всего носят лыжники. За плечами рюкзак, набитый вещами. Его лицо необычайно возбуждено.

— Вы куда держите путь? — спрашиваю его.

— На ледокол «Суртыл». Хочу повидаться с нашими товарищами.

— Вы опоздали. «Суртыл» вышел в море.

— Неужели?! — с досадой восклицает Лауристин. — В таком случае пойду на миноносце «Володарский». До встречи в Ленинграде!

Мог ли я подумать, что разговариваю на пирсе с Иоганесом Лауристином в последний раз и больше никогда не увижу этого старого коммуниста, благородного человека. Он трагически погиб во время похода.

Наступила ночь, но бой продолжается.

Древний Вышгород стоит на возвышенности, точно сказочный богатырь, среди моря огня. В отблеске пожаров на башне «Длинный Герман» виден красный флаг.

На улицах Таллина то и дело рвутся снаряды. Солдаты, моряки и рабочие — бойцы истребительных батальонов держатся на самых последних рубежах.

КОРАБЛИ ВЫХОДЯТ В МОРЕ

Транспорты выходят в море. Боевые корабли прикрывают их отход. Настала очередь и нашей «Виронии». Портовый буксир заводит концы.

Медленно разворачивается грузный пароход. Буксир ведет его к выходным воротам, обозначенным буями. Шквал огня. Несколько снарядов падает невдалеке от борта «Виронии». Вода окатывает палубу. Еще снаряд. Корпус дрогнул, снаряд разорвался между буксиром и

«Виронией». Взрывная волна основательно тряхнула буксир. Мы, стоявшие на палубе, были уверены, что буксир перевернулся. Но водяной столб спал, и мы увидели: буксир целехонек, перебиты лишь тросы. Командир «Виронии» с мостика в мегафон отдает команду:

— На буксире! Заводить новые буксирные концы! Новые, говорю!

Его голос тонет в шуме, лицо багровеет от досады.

Буксир поворачивает и снова медленно подходит к носу парохода. Матросы ловят трос и закрепляют его. Буксировка продолжается.

Мы идем мимо острова Нарген. Зеленый, поросший густым лесом, с желтым песчаным берегом и громадными серыми валунами, он остается слева. Где-то в глубине зелени сверкают орудийные вспышки. Расположенные на острове, наши батареи будут стрелять, пока из Таллина не уйдет последний корабль. Затем батареи взорвут, а людей эвакуируют на катерах. Сейчас они стоят замаскированные под сенью прибрежных кустов.

Берлинское радио на все лады вопит о том, что «большевистский флот заперт и Советы больше его не увидят».

Мы хорошо понимаем, что́ нас ждет впереди. Предстоит идти через густые минные поля, отражать атаки немецкой авиации, торпедных катеров и подводных лодок. Противник давно начал готовиться к этому дню. На захваченные им прибрежные аэродромы несколько дней стягивалась авиация. В финских портах укрывались подводные лодки и торпедные катера: немецкое командование готовило все для уничтожения боевого ядра Балтийского флота.

Не в первый раз в истории враг зарится на Балтийский флот. В марте 1918 года он тоже пытался захватить русские корабли, находившиеся в Гельсингфорсе: Финский залив был скован тогда тяжелыми льдами. На кораблях не хватало квалифицированных специалистов, туго было с топливом. Но матросы — коммунисты Балтики совершили неслыханный подвиг: из-под носа врага увели линкоры, крейсера и другие корабли, составлявшие тогда основное ядро Балтийского флота. Этот героический поход вошел в историю под именем «Ледового».

Теперь еще более трудная обстановка. Но есть у наших балтийских моряков боевой опыт, полученный в первых схватках, и самое главное — неукротимая воля к борьбе и победе.

* * *

Мы с Тарасенковым и Цехновицером не уходим с верхней палубы. Смотрим на Таллин, окутанный дымом пожаров, на башни и шпили, то открывающиеся, то вновь затягиваемые темной пеленой дыма.

Внимание привлечено к Таллинскому рейду и к городу, неповторимый силуэт которого хочется сохранить в своей памяти на все то время, пока мы сюда не вернемся.

Кругом нас корабли и катера.

Бой идет вдалеке от нас, на Таллинском рейде, и сюда доносятся лишь его глухие отголоски. Но вот открыл стрельбу стоящий рядом с нами лидер миноносцев. С чего это вдруг? Всем хочется узнать, что произошло.

Сразу разобраться трудно, по какой цели ведется огонь. Только видно, что пушки развернуты в сторону моря и бьют с нарастающей быстротой.

Вероятно, мы долго оставались бы в неведении, если бы чей-то сильный голос не прокричал с верхнего мостика:

— Смотрите, там катера! Торпедные катера противника!

В самом деле, прямо на нас издалека, со стороны солнца, несутся развернутым строем маленькие черные точки.

Все корабли, в том числе и наша «Вирония», спешат сняться с якоря, чтобы в нужный момент иметь возможность произвести маневр — отвернуть от торпеды.

Но времени в нашем распоряжении слишком мало, а катера все ближе и ближе.

Наши снаряды ложатся довольно точно. С каждым новым падением снаряда всплески приближаются к катерам.

Мы не можем оторвать глаз от этих черных точек, рассекающих спокойную гладь воды, пристально наблюдаем за всплесками.

Все корабли, за исключением «Виронии», снялись с якоря. Они уже на ходу. А нам сняться с якоря не так просто. Противник может воспользоваться случаем и торпедировать нас.

Стрельба лидера все чаще и чаще. И вдруг слышно восторженное «ура».

Накрыли! Прямые попадания! От двух катеров только дымки пошли вверх. Третий катер горит. Это ясно видно даже невооруженным глазом. Еще несколько выстрелов — и с ним тоже кончено.

Остальные катера повернули обратно и уходят на полной скорости. Вдогонку им летят наши снаряды.

Стрельба постепенно стихает. Настроение у всех приподнятое. Все смотрят на лидер, который идет малым ходом неподалеку от нас. Кто-то говорит вслух:

— Молодец Петунин! Дал им жару, свинцовой каши попробовали.

Хочется собраться с мыслями. Достаю записную книжку и карандаш, но свист вражеских снарядов, пролетающих над «Виронией», не дает сосредоточиться, напоминает о том, что впереди еще трудные испытания и неизвестно, чем кончится наш поход.

А вот и час обеда. Собираемся в кают-компании. В салоне среди обслуживающих нас официанток появилась неизвестная девушка: черные косы, тонкие, словно резцом мастера выточенные черты лица, голубые глаза. На вид ей лет девятнадцать — не больше. Она похожа на школьницу-выпускницу.

После обеда все выходят на палубу и следят за немецкими самолетами. Их все больше и больше. Девушка с черными косами, аккуратно уложенными на голове, стоит рядом со мной.

— Так странно война началась... Так неожиданно, — говорит она. — Я долго решительно ничего не понимала.

— Вы ленинградка?

— Да, я в Таллин попала совершенно случайно. Приехала по делам и застряла.

— А ваша семья где?

— Муж на фронте, дети с бабушкой в Ленинграде. Они еще совсем крошки. Я все думаю о них... — Глаза моей собеседницы полны слез. — Говорят, немцы у самого Ленинграда. Неужели это правда, а?

— Не знаю, завтра выяснится.

— Господи! Только бы они не подошли к Ленинграду! Скажите, у вас тоже есть семья? — просто, подружески спрашивает она.

— Да, у меня жена и дочь шести лет. Они эвакуировались.

— Будем надеяться, что все будет хорошо и с нами, и с нашими ребятами.

...Снялись с якоря и идем на восток. Острова Нарген и Вульф остались далеко позади. Впереди и в кильватер нам тянется длинный караван судов. Считаю дымы. После полусотни окончательно сбился со счета.

Снова гул фашистских самолетов.

Они вне досягаемости зениток «Виронии». Сейчас по ним ведут огонь другие корабли. Голубое прозрачное небо расцвечено черными и белыми разрывами.

Со стороны Таллина по-прежнему доносятся взрывы и грохот орудий. Это крейсер «Киров» и миноносцы прикрывают отход самых последних транспортов с войсками.

Среди нас командир, который не отрывает глаз от бинокля. Вокруг собираются люди. Каждому хочется знать, что происходит в нескольких милях от нас.

— Девяткой пикируют — не то на танкер, не то на теплоход. И кажется, попали... валит густой дым... Нет, я ошибся — это катера поставили завесу.

С замиранием сердца все слушают командира. Его информация дает хоть приблизительное представление о том, что творится вокруг.

О, как хочется знать, что происходит сейчас на море! Не только возле Таллина, но и у Эзеля, Даго, Гогланда. У самого Кронштадта. И что задумали фашисты? Пугает неведение. Если бы знать, — кажется, тогда все обстояло бы в тысячу раз проще.

— Смотрите! Нас нагоняют корабли, — восклицает командир и наводит бинокль на корабли, появившиеся позади нас. Затаив дыхание, ждем, что он сообщит.

— Наши, — говорит командир.

Напряжение сразу спадает. Через несколько минут, вспарывая воду острым форштевнем и поднимая волну, на полном ходу нас обгоняет крейсер «Киров» в сопровождении лидера и миноносцев. Один вид этого стального красавца вселяет спокойную уверенность.

ГИБЕЛЬ «ВИРОНИИ»

«Киров» выходит вперед и ведет бой с немецкими пикировщиками.

К вечеру море окутывается туманом. Сигнальщики в напряжении: по легкому бурунчику нужно заметить подводную лодку. Полсекунды опоздания — и невидимый враг поразит корабль.

Крейсер «Киров» идет под охраной миноносцев, тральщиков и «морских охотников». Катера, находящиеся в противолодочном охранении, время от времени сбрасывают глубинные бомбы. Одна опасность сменяется другой. То и дело слышатся голоса сигнальщиков:

— Справа по борту мина!

— Мина слева!

Корабль идет самым малым ходом. Даже авиация и береговые батареи немцев для корабля менее опасны, чем эти зловещие черные шары, покачивающиеся на воде и, словно живые существа, нетерпеливо ожидающие, когда наконец к ним прикоснется корабль, чтобы взорвать стальную броню и похоронить крейсер в этой зеленой толще воды.

По бортам крейсера тянутся параваны [1].

«В правом параване мина!» — докладывают на ходовой мостик. Нужно застопорить ход и отрезать трал вместе с миной. Но останавливаться нельзя ни на минуту.

Старший помощник командира корабля, окинув взглядом матросов, отважившихся пойти на трудное и опасное задание, указывает на маленького щуплого паренька:

— Давайте вы, Кашуба.

— Есть! Все будет в порядке, товарищ старпом! — отвечает Кашуба и начинает обвязываться. Он вооружается электросварочным аппаратом, и на ходу корабля Кашубу, привязанного к деревянной беседке, спускают за борт все ниже и ниже, вот он уже чуть ли не касается ногами бурлящей воды. По его сигналу включают ток. Синий огонек, встретившись с металличе-

[1] Параван — приспособление для предохранения корабля от якорных мин и для их траления.

ским тралом, отрывает от корабля его страшного спутника.

Едва успели Кашубу поднять на палубу, как новое донесение — мина в левом параване! И снова человек висит над водой и делает свое дело. Взамен обрезанных на ходу ставятся новые тралы. Поход продолжается.

Торпедные катера, авиация, подводные лодки — все брошено врагом в этот день на героический корабль, но он идет своим курсом. Вскоре «Киров» открывает огонь по батарее противника на мысе Юминда и заставляет ее навсегда замолчать. Путь транспортам открыт.

Теперь враг пытается нанести комбинированный удар по крейсеру.

Сигнальщики доносят: «Самолеты справа!»

Почти одновременно с кормового мостика сообщают: «Самолеты по корме. Торпедные катера с норда».

Критическая минута. Маневрировать негде. Справа и слева минное поле, на фарватере плавающие мины. А самолеты врага уже на короткой дистанции, торпедные катера — на боевом курсе.

— Кормовой башне по фашистским катерам — огонь!

Башня в ту же минуту разворачивается на левый борт. Всплески воды вырастают на пути торпедных катеров, с каждой секундой все яснее выступающих из белой пены бурунов.

Они несутся на крейсер, чтобы послать в упор свое смертоносное оружие — торпеды. И не так просто уклониться от них.

Секунды решают все. Комендоры «Кирова» посылают снаряд за снарядом. Пушки бьют очень точно, образовав на пути катеров огненный заслон.

Чем ближе катера подходят к крейсеру, тем точнее огонь кормовой башни. Вот на одном из катеров сверкнула желтая вспышка — прямое попадание. Остальные не рискуют идти строго по курсу и один за другим поворачивают, оставляя за кормой широкие пенящиеся буруны.

А зенитчики тем временем ведут бой с пикирующими бомбардировщиками.

Очевидно, на этот налет противник делал главную ставку. Вот тут-то фашисты и предполагали свести счеты

с «Кировым». Все было продумано и учтено. Самолеты должны были отвлечь на себя огонь крейсера, а торпедным катерам надлежало в это время незаметно подкрасться к кораблю и послать в упор торпеды.

Но и в этот раз экипаж «Кирова» своей выдержкой и боевым умением расстроил план «комбинированного удара». Побросав в воду около полусотни тяжелых бомб, самолеты, так же как и катера, скрылись в дымке, в прозрачной вуали, затянувшей небосклон.

...У нас на «Виронии» близится время ужина. По корабельному распорядку собираемся в кают-компании и занимаем места за столиками. Моя палубная собеседница, молодая женщина с косами, разносит тарелки с борщом. Мы начинаем ужинать и вдруг слышим протяжный вой сирены.

— Ну вот... Не было печали! — сердится Цехновицер.

Через большие широкие окна кают-компании смотрим с тревогой в голубое небо. На большой высоте едва заметными точками появляются «юнкерсы».

Наши зенитчики торопливо вращают маховики вертикальной и горизонтальной наводки. Сверкают блестки — разрывы зенитных снарядов. Небо в черных клочьях дыма.

Вооружение у «Виронии» небогатое, но зенитчики стараются, как могут. «Юнкерсы», сверкая на солнце дисками пропеллеров, поочередно пикируют на «Виронию». В эти мгновения ничего не слышишь — ни громких команд, ни боя зениток. Все заглушает вой самолетов, срывающихся в пике.

Бомбы... Серебристые груши отрываются от самолета. Кажется, будто они повисли в воздухе. Мы слышим до костей пронизывающий свист.

«Вирония» выходит из общего строя и непрерывно меняет курс. Бомбы падают в море, в нескольких десятках метров от нас. Звонкий металлический гул прокатывается по воде.

Вдруг у всех нас разом вырываются нестройные крики восторга: один «юнкерс» быстро снижается, за ним тянется шлейф густого черного дыма. Самолет горит. На наших глазах он врезается в воду. Остальные

самолеты скрываются, и на душе сразу легко-легко. Зенитчики — молодые, энергичные ребята — улыбаются во весь рот.

Но враг не оставляет нас в покое. У него, по-видимому, приказ: во что бы то ни стало потопить «Виронию». Немцы думают, что здесь по-прежнему размещается штаб флота.

Снова глухое, прерывистое ворчание моторов. Пикировщики опять идут на нас: в этот раз — со стороны заходящего солнца. Люди разбегаются кто куда...

Слышится басовитый голос Цехновицера:

— Товарищи! Успокойтесь! Ведь с нами пока ничего не случилось! Паника — самое опасное в нашем положении...

Люди сразу возвращаются на свои места.

Пока наши пушки бьют по одной группе самолетов, с другой стороны появляется еще шестерка «юнкерсов». Ведущий клюет носом, вывертывается и визжит, срываясь в пике. Он метит точно в нас. Голова непроизвольно втягивается в плечи, пальцы крепко сжимают леера. Кажется, еще миг — и бомба обрушится прямо нам на головы.

Нет. Опять мимо! Все с надеждой смотрят на зенитчиков. А они едва успевают поворачивать пушки, направляя огонь то на один, то на другой самолет. Мы не в силах облегчить их тяжелый и опасный труд. И только на чем свет стоит клянем гитлеровцев.

Пикировщики бросают бомбы и уходят. Но почти сразу же появляется новая группа самолетов, опять атакующих «Виронию». Пароход маневрирует, и бомбы падают мимо цели. Тогда фашистские летчики меняют тактику: они отказываются от атак в одиночку, а пикируют сразу со всех сторон.

В воздухе беспрерывный свист падающих бомб. Да, надо иметь крепкие нервы, чтобы владеть собой и оставаться спокойным. Зенитчики — молодцы, и на сей раз отбили атаку.

Но вот над нами новая волна пикирующих бомбардировщиков. И сразу удар страшной силы сотрясает пароход. Что-то под ногами трещит и рушится. Все тонет в дыму. Не успев опомниться, я оказываюсь в воде и стремительно иду ко дну. Кажется, это конец. Нет! С такой же силой меня снова выбрасывает на поверхность.

Где очки? Их нет, исчезли. Со лба стекает тоненькая струйка крови и заливает левый глаз.

Самое ужасное для меня — остаться без очков. Хочу увидеть пароход. Но он куда-то пропал. Утонул в клубах густого дыма. Вокруг меня много голов. И у всех, кто оказался в моем положении, только одна мысль: «За что-нибудь ухватиться и как-нибудь продержаться, пока не спасут».

По воде свистят пули. Брызги ударяют в лицо. Сразу не понять, кто стреляет и откуда. Только повернувшись на спину, вижу в небе самолеты. Они осыпают нас каскадами белых искр, они расстреливают нас из пулеметов.

Самолет! Кажется, он пикирует прямо на меня. Прячу голову в воду. Рокот мотора удаляется дальше. Опять лежу на спине, устремив глаза в густую синеву неба.

Ощущаю толчок. Что-то твердое, холодное. Переворачиваюсь на живот и вижу окровавленное тело на поплавках. Раскроен череп, изуродовано лицо, и только по черным косам, облегающим голову, узнаю молодую женщину — нашу спутницу-ленинградку, которая совсем недавно, всего несколько часов назад, мечтала о встрече со своими детьми. Ее тело несет по волнам...

Долго еще вижу ее голову с аккуратно уложенными косами.

Плыву, плыву... Выбиваюсь из сил, захлебываюсь. Кажется, все кончено. Ну вот пришла и моя очередь. Мысли за сотни километров отсюда — с женой и дочерью. И только нечаянные глотки соленой воды возвращают сознание к этой голубой точке на карте, где я маячу между жизнью и смертью... Нет, надо установить режим. Воля берет свое. Лежу на спине, отдыхаю и снова плыву.

Кругом крики о помощи. Кажется, стонет все море. Но чем помочь людям? Волны катятся мне навстречу, и с каждым новым глотком соленой воды смерть незримо подбирается ближе ко мне. Да, конечно, это последние минуты жизни. Думаю: «Ну, сколько смогу выдержать эту борьбу с морем? Еще пять — десять минут, не больше». И опять издалека подкрадывается волна. Снова захлебываюсь. Физические силы еще есть, но сознание отказывает... Вера в возможность спасения слабеет.

Кругом вода, холодная, мертвая вода до самого горизонта. Но вдруг в руках появляется сила; я энергично рассекаю воду и плыву, не знаю куда и зачем, но плыву вперед. Встречаю один, другой, третий водяной вал, и опять силы покидают меня. Зато сознание работает ясно: «Теперь некуда спешить. Море велико. Пусть оно поглотит меня хотя бы часом позже».

Переворачиваюсь, долго лежу на спине. Перед глазами бескрайняя синева неба. Волны по-прежнему катятся мне навстречу. Принимаю и отражаю их головой. На спине плыть удобнее — не так захлебываюсь.

Постепенно людей вокруг меня остается все меньше, все реже доносятся крики о помощи, наконец они совсем прекращаются, и вокруг ничего не слышно, кроме плеска воды.

Вероятно, уже часа полтора прошло с того момента, как меня снесло в море. Пока я жив. У меня сложился какой-то режим: пять — шесть минут плыву, пятнадцать — двадцать минут лежу на спине и накапливаю силы. Кажется, я даже привыкаю к своему положению и не чувствую себя обреченным. Вдруг приходит мысль: «Цел ли бумажник с партийным билетом? Что с часами?» Бумажник оказывается в порядке, часы на руке. Но стрелка замерла. «Вот жулик часовщик. Уверял, что они герметически закрыты и в механизм не проникнет ни одна капля воды».

Мысли уносятся в прошлое, и на память приходят какие-то малозначащие детали далекого детства. Но глоток соленой воды, перехватившей дыхание, сразу отрезвляет меня, и я возвращаюсь к своему печальному положению.

Суровое и безжалостное море — от него никуда не денешься, оно опять передо мной, сжало меня в объятиях, и я терпеливо жду исполнения приговора.

Издалека катятся белые барашки. Водяной вал, словно вор, подкрадывается, чтобы схватить меня за горло.

Снова крутая волна. Возможно, на этом все будет кончено, все разом оборвется, рухнет, как в пропасть.

Что же делать? Может, покориться судьбе? Не сжимать судорожно губы, открыть рот? Ведь нужно совсем немного — несколько глотков соленой воды, и я навсегда освобожу себя от страдания.

А жизнь? Она больше не повторится. Нигде и никогда я не испытывал такой жажды жизни, как сейчас, здесь, в море, на краю гибели. Нет, я хочу жить и буду бороться!

Слышны глухие перекаты волн. Вот они совсем близко от меня. Я поворачиваюсь к ним спиной, и через мою голову перехлестывают высокие, как горы, пенящиеся водяные валы.

Руки инстинктивно тянутся вперед, хочется ухватиться за что-нибудь твердое, устойчивое, но кругом вода, и только вода.

Очередной вал, как взмыленное чудовище, набрасывается на меня, и я, словно спичечный коробок, куда-то проваливаюсь, даже не сопротивляясь. Только сжимаю губы и задерживаю дыхание.

Седой вал умчался, и белая пена облепила мне шею, подобно петле.

Несколько энергичных движений руками, и я рву эту петлю, лежу на спине, слегка покачиваясь. Смотрю на белые облачка, и кажется, будто птицы летят в густой синеве.

Хочу крикнуть громко, чтобы меня услышали люди на каком-нибудь нашем корабле. И пусть они бросят мне спасательный круг. Это самое большое сокровище, о котором я смею мечтать. Кажется, если мои пальцы коснутся чего-то твердого, я буду самым счастливым человеком в мире.

Стараюсь думать, бодриться; только бы не оборвалась нить сознания; если сознание хоть на минуту сдаст — воля ослабнет и силы покинут меня.

Вихрем меняются настроения, но мысль работает отчетливо. Это руль, без которого я давно бы покорился стихии.

Хочется жить и бороться, бороться до последнего вздоха, бороться изо всех сил, которые еще остались в моем застывающем теле.

...На вечернем небе прорезываются звезды. Они чуть видны, только что загораются, далекие и бледные.

А я плыву и плыву. Живет надежда: «Авось заметят. Авось спасут». Холодно! Только бы судорога не схватила. Если онемеет нога или рука, тогда я обречен на гибель.

Мимо проплывают ящики с надписью крупными бук-

вами: «Театр КБФ». Какое счастье! Эх, ухватиться бы за такой ящик! Тогда продержусь хоть сутки. Решаю охотиться за ящиками. Из последних сил подгребаю к ним, но налетает волна, и ящики уносит далеко вперед. Нажимаю снова, еще несколько энергичных гребков — и один из ящиков будет мой. Нас разделяет какой-нибудь десяток метров. Еще одно усилие, и как крепко я за него уцеплюсь руками, ногами, зубами. Нет, не судьба мне завладеть ящиком. Проклятая волна налетает откуда-то со стороны и опять отбрасывает меня на неодолимое расстояние.

Навстречу плывут канцелярские счеты — обыкновенные счеты с деревянными желтыми костяшками. Поймать счеты — не выход из положения, но и они кажутся здесь драгоценной находкой. Подплываю к ним, протягиваю руку, но, как назло, волна и их отбрасывает далеко в сторону.

Солнце садится, окрашивая потемневшее небо красноватыми отблесками. «Темнота — самое страшное. На всю ночь меня, конечно, не хватит...» Мною овладевает страшное безразличие. Лежу на спине и думаю: «Теперь черт с ним, будь что будет». В теле появляется расслабленность, силы сдают, и сознание постепенно угасает.

Не видно людей, вода не доносит их голосов, только шум волн, и больше никаких звуков не улавливает мой слух. Я остался один. Один посреди моря.

И сколько бы я ни кричал, сколько ни старался бы найти точку опоры — все зря, все понапрасну. И тут, в душевном смятении, в хаосе мыслей и чувств появляется новое ощущение. Страх! Он парализует и тело, и сознание.

Мне холодно. Озноб тысячами невидимых каналов растекается по всему телу. Мерзнут не только руки и ноги, холод забирается в сердце, оно леденеет, и это самое страшное — я, кажется, теряю над ним власть...

На море свежеет, волны больше, круче, свирепее... Огромный пенящийся вал несется издалека, подбрасывая на гребне мое тело. Но что это? Прямо на меня идет катер. Быть может, это сон, видение? Нет, его бросает, он раскачивается с борта на борт, но идет, идет ко мне на помощь.

Я готов выпрыгнуть из воды. Из последних сил поднимаю то одну, то другую руку. Только бы заметили и не отвернули в сторону. Нет, уже не отвернет. Я различаю его острый нос, разрезающий волны, и нескольких матросов, стоящих на борту, и особенно одного, который держит толстенный канат и готовится подать его мне.

Катер подходит ближе и стопорит ход. Мне бросили конец. Судорожно хватаюсь за упругий канат и повисаю в воздухе. Катер болтает на волне. Что-то мешает матросам вытащить меня на палубу. Руки мои слабеют, и я больше не в силах держаться. Помимо моей воли канат выскальзывает из рук, и я опять лечу в воду. Ударяюсь головой о что-то твердое. Все разом исчезает в каких-то потемках. Прихожу в сознание оттого, что опять захлебнулся, открываю глаза — возле меня тот же канат с «восьмеркой» на конце. Руки окоченели, пальцы не сгибаются. Левую ногу удается просунуть в петлю. За ногу меня и вытягивают на палубу. Твердая палуба — родная наша земля...

С жаром целую первого попавшегося матроса, и сразу мелькнула мысль: «Чем отблагодарить за спасение?» Взгляд останавливается на руке с часами. Отстегиваю цепочку и сую часы в руку матросу. Он отказывается:

— Что ты, не надо!

Но я заставляю его принять подарок. Матрос осторожно ведет меня в кубрик, укладывает на свою койку и прикрывает теплым байковым одеялом.

— Водку пьешь, браток?

— Нет... нет, — дрожащими губами отвечаю я.

— А спирт?

— Нет.

— Да ты не стесняйся, тяпни маленькую и сразу согреешься.

Я даже не в силах разжать рот, сказать что-нибудь, глаза мои закрываются, а матрос продолжает уговаривать:

— Согреться надо, выпей стопочку. Смотри, дрожит у тебя каждая жилка.

Тело сводит судорога. В голове туман. Все куда-то проваливается, исчезает.

Просыпаюсь утром от шума в моторном отсеке.

До меня доносятся тревожные голоса;

— Быстрее огнетушитель!

— Нет, лучше шубой. Шубу давайте.

Я слышу за переборкой удар, звон стекла и шипение струи огнетушителя.

Шум быстро стихает. Мой спаситель-матрос заглядывает в кубрик, трогает меня за плечо и спрашивает:

— Ну, как дела?

— Что у вас там за шум? — спрашиваю я.

— Да так, маленькое происшествие, — смеется он.— Твои часы беду принесли. Хотел я их подсушить, смазать и вернуть тебе. Снял, значит, стекло, положил на мотор, рядом с масляной тряпкой, и совсем забыл. А стекло-то, оказывается, целлулоидное. Ну, оно и загорелось. А кругом бензин. Хорошо, моторист заметил, а то пришлось бы тебе еще раз-плавать. Так что прошу больше не делать таких подарков.

Через люк льется дневной свет. За стеной ритмично стучат моторы и слышится спокойный повелительный голос командира катера: «Лево руля!», «Право руля!» И время от времени короткое, как меч, разящее слово: «Бомба!» Глухой удар прокатывается вслед за этим по воде. В кубрике все падает со своих мест от сотрясения. Чтобы не свалиться с койки, хватаюсь за барашки иллюминатора.

Сквозь все это, сквозь взрывы и постукивание моторов слышен протяжный крик:

— Человек на мине!

Что за чертовщина такая? С трудом поднимаюсь с койки и, шатаясь, держась за поручни, выхожу на палубу. Моторы отрабатывают задний ход, а впереди маячит захлестываемая волнами голова человека, словно припаянного к круглому телу мины. Смерть и спасение! Кажется, и то и другое сосредоточено в этой мине. Отпусти ее хотя бы на миг, лишись ее опоры — и он, обессиленный, не сможет двигаться дальше, пойдет ко дну. Это невероятно, но это так — мина сейчас спасательный шар в схватке человека со смертью!

— Отплывайте в сторону! — передает командир в мегафон. — Сейчас к вам подойдем!

Но человек или не слышит, или не в силах оторваться от своего страшного спутника.

В конце концов он все же отделяется от мины. На самом малом ходу приближается к нему катер.

Бросили конец, и человек жадно вцепился в него пальцами. С концом, крепко зажатым в ладонях, поднимают на палубу юношу в матросской форме, с посиневшим лицом и застывшими, устремленными в одну точку, стеклянными, словно окаменелыми, зрачками.

Двое матросов держат его под руки.

— Бросай конец. Сейчас уложим тебя в кубрике.

Юноша никак не реагирует.

— Дай конец-то. Ведь он тебе больше не нужен, — уговаривает боцман, склонившись над ним и глядя ему прямо в лицо.

Но парень словно неживой.

— Да помогите ему разжать пальцы, — кричит с мостика командир катера.

Боцман пытается разжать пальцы. Безуспешно. Они словно срослись с пеньковым концом.

— Ого! Крепко схватил. Нет, ничего не выйдет, — заключает боцман, сообщая об этом командиру катера.

— Тогда руби конец, — приказывает командир.

Боцман вытаскивает топорик и несколькими ударами обрубает конец.

Так, с остатками пенькового троса, крепко зажатого в руках, спасенного несут в кубрик и укладывают на койку.

Губы его дрожат, глаза полузакрыты. Его приходится долго оттирать спиртом, пока краска проступает на покрытых пушком щеках.

— Я... из... училища... Фрунзе, — с трудом произносит он, приподнимается на койке и смотрит в круглое стекло иллюминатора.

Катер отходит в сторону. Грохочет выстрел. Оглушительно взрывается расстрелянная мина, на которой курсант-фрунзевец продержался всю ночь.

— А как же это вы с миной встретились? — спрашиваю его.

— Плавал, плавал. Смотрю — мина. Обрадовался. Схватился за нее. Решил, нет худа без добра: лучше взлечу на воздух, а живым ни за что немцам не дамся.

Еще не затих в ушах металлический гул, как снова слышны голоса матросов.

— Справа по борту мина!

— Слева мина!

— Прямо по курсу мина!

Сплошное минное поле! Моторы работают на малых оборотах. Все способные двигаться выбежали на палубу. Мины окружают наш маленький корабль.

Черные шары смерти несет прямо на катер. Да, теперь, кажется, наша песенка спета...

Тишина. Вдруг чей-то молодой, энергичный голос зовет:

— Коммунисты, за борт! Руками отталкивать мины!

Стоящие рядом со мной двое матросов поспешно сбрасывают непромокаемые плащи, сапоги, расстегивают ремни...

— Отставить!

С мостика раздаются лаконичные приказания: «Задний ход! Лево руля!»

Катер осторожно маневрирует и выходит из минного поля.

Через несколько часов всех спасенных решено перевести на большой корабль. Не хочется уходить с этого маленького, юркого катера, от этой дружной команды. Кажется, что только здесь наше спасение, а на другом корабле мы опять попадем в какую-нибудь беду.

Но приказ есть приказ. Едва держась на ногах, собираюсь. Матрос — мой попечитель — натягивает на меня свою холщовую сухую голландку. Я отказываюсь от этого дружеского дара, но матрос непреклонен:

— Подумаешь, люди пропадают, а ты об одеже беспокоишься. На, бери. Придем в Кронштадт, я новую получу.

ВЕТЕРАН БАЛТИКИ

Катер подходит к борту учебного корабля «Ленинградсовет». Старый знакомый! На этом корабле мне приходилось не раз бывать в Таллине. Моряки уважительно называют его ветераном Балтики. И действительно, учебный корвет, спущенный на воду еще в 1896 году, до сих пор служит нашему флоту.

Много поколений русских и советских моряков первый раз в жизни увидели море с борта этого корабля.

У ветерана Балтики есть заслуги перед революцией. В Октябрьские дни 1917 года он доставил в Петроград отряды балтийских моряков, выступивших вместе с рабочими на штурм Зимнего дворца.

Не раз думало командование — не пора ли ветерана списать с военного флота, но всегда у него находились рьяные защитники, преподаватели нашей старейшей «навигацкой школы» — Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Они упорно доказывали — рано такой крепкий корабль отправлять в отставку. Пусть еще послужит курсантам-фрунзевцам. Так была продлена жизнь корабля до самой Отечественной войны.

Война застала «Ленинградсовет» в Таллине. Конечно, рядом с миноносцем или лидером он выглядел музейным экспонатом. Однако и ему нашлась работа.

Имея лишь две небольшие пушки, он не поддерживал с моря наши войска и не топил фашистские корабли. Ему давались более скромные задания: перебросить войска из одного порта в другой или сопровождать конвои.

И хотя это была нужная и даже крайне необходимая боевая работа, командир «Ленинградсовета» старший лейтенант Амелько тяготился своим положением.

Я хорошо запомнил его — стройного молодого командира со смуглым, загорелым лицом и светлыми, расчесанными на пробор красивыми золотистыми волосами.

Он не любил ничего рассказывать о себе и своем корабле, но часто говорил о своих однокашниках, воюющих на миноносцах, торпедных катерах, подводных лодках, и в словах его чувствовалась зависть, вызванная самыми чистыми и благородными помыслами. Они участвуют в набегах на фашистские конвои, уходят к берегам противника и топят корабли врага, а тут не видишь противника: сиди у моря и жди, пока пошлют тебя перевозить войска или сопровождать военные транспорты.

Но так или иначе старший лейтенант Амелько понимал: он тоже находится на действующем флоте, и командовать кораблем четыре года спустя после окончания училища — это не так уж плохо! А что касается встреч с противником, то он, конечно, знал: рано или поздно, но и до него тоже дойдет очередь.

И, как видим, она дошла. Трудно представить более серьезное боевое испытание для молодого командира, чем участие в этом походе.

Мы на палубе «Ленинградсовета». Кто-то позади окликает меня. Оказывается, Анатолий Тарасенков. Мы горячо обнимаем друг друга. Он в мокрых брюках, кителе и в одних носках.

— При взрыве меня тоже выбросило за борт. И представь, больше ничего не помню. Говорят, «Виронию» взяли на буксир, а потом ее потопила немецкая подводная лодка. Пойдем пить чай, — предлагает он. И, посмотрев пристально мне в лицо, вдруг восклицает:

— Дорогой мой! У тебя же на голове запеклась кровь. Давай сначала сходим к врачу.

Мы спускаемся вниз, в санчасть. Врач, осмотрев рану, говорит:

— Пока сделаем перевязку. Я думаю, черепная коробка не затронута и все обойдется. Только примиритесь с мыслью, что шрамик останется на всю жизнь.

— Будет у тебя память о нашем походе, — добавляет Тарасенков.

Идем в кают-компанию. Тарасенков представляет меня:

— Ещё один неудавшийся утопленник. Прямо с того света.

Все смеются, глядя на меня — босого, обросшего бородой, одетого в твердую, как футляр, неуклюжую голландку.

Впрочем, сидящие за столом одеты ничем не лучше меня: они в рабочих костюмах, в комбинезонах, фуфайках, тельняшках, бушлатах. По одежде никак не догадаешься, командиры они, матросы, военные или гражданские.

В углу примостилась черноглазая машинистка штаба флота Галя Горская в широких матросских брюках и полосатой тельняшке. Она сидит на корточках и, не обращая внимания на окружающих, быстро-быстро набивает патронами ленты для зенитных пулеметов.

Видимо решив меня ободрить, Толя Тарасенков говорит:

— Вот видишь, нет худа без добра. Все равно погибли бы твои записи. Будь рад, что сам спасся.

— А как ты думаешь, что стало с Цехновицером? — спрашиваю я.

— Трудно сказать. Все это лотерея: одни прекрасно умели плавать и погибли, другие, вроде меня, не ахти какие пловцы, а все-таки выгребли. Представь, как я только очнулся в воде, вспомнил сразу о Машиных письмах, нащупал их в кармане, успокоился и поплыл дальше. Давай-ка мы их сейчас высушим.

Тарасенков вынимает из кармана пачку отсыревших, пропитавшихся влагой писем жены, где все написанное слилось в сплошные синие пятна. Тем не менее каждый листочек в отдельности он бережно раскладывает на столе и, кажется, дышит на него, хочет обогреть его своим теплом.

Из кают доносятся стоны.

— Раненые были доставлены на борт прямо с фронта, — спешно поясняет корабельный врач и тут же уходит.

Впрочем, горячие часы не только у врача. Все командиры «Ленинградсовета» заняты тем, чтобы разместить, одеть, накормить сотни спасенных людей.

У старшего помощника командира корабля жар, но он стоически переносит болезнь на ногах. Свою каюту он уступил раненым. Врач пытается его убедить:

— Вам обязательно надо лечь.

— Сейчас не время. Вестовой! Проверьте, все ли товарищи накормлены? Вызовите ко мне Силкина.

В кают-компанию является баталер корабля, очень занятный парнишка, маленький, круглолицый, с рыжими волосами.

— Силкин, надо одеть наших гостей, — говорит старпом.

Старшина молчит, потом подозрительно оглядывает нас и вдруг спрашивает:

— А вещевые аттестаты у них имеются?

Мы на секунду даже опешили, и тут же по кают-компании прокатился громкий хохот.

— Аттестаты, старшина, рыбки съели, — отшутился старпом.

— А без аттестатов не могу. Действуем согласно приказу. Не положено. И все! Сами знаете, в военном деле порядок требуется. В Кронштадт придем, у меня ревизия будет. Мне за них в трибунал идти мало радости, — вполне серьезно оправдывается Силкин.

— Чудак человек! Не об этом речь, — перебивает его старпом. — Личный состав корабля дарит пострадавшим товарищам свои вещи. Твое дело — пройти по каютам, кубрикам, собрать обмундирование и приодеть наших гостей. Понятно?

— Ах так, пожалуйста, на таких условиях сколько угодно! В таком случае мы по-пионерски — всегда го-

товы! — обрадовался Силкин и сразу бросился выполнять приказание.

После обеда баталер притаскивает в кают-компанию вороха одежды, обуви и белья.

— Я буду показывать каждую вещь, и кому понравится — подходи, примеряй и забирай. Ладно? — спрашивает Силкин.

Все соглашаются. Так открывается нечто похожее на аукцион.

— Брюки сорок восьмой размер, — выкрикивает Силкин и, подобно опытному коммерсанту, обводит нас неторопливым взглядом, пока не находится охотник до брюк — пожилой худой мужчина в сером свитере и широких морских брюках-клеш, изодранных в клочья.

— Тужурка парадная. Размер пятьдесят четыре.

— Давай примерю. — Выходит юноша в холщовом костюме и, облачившись в длинную тужурку, глядит на себя, не выдерживает и смеется.

— Явно не подходит. Отставить! — замечают со стороны.

Мы поглощены переодеванием, и вдруг над нами раздается топот. По верхней палубе бегут люди. Слышатся слова команды. Что еще случилось?

А вот и выстрел пушки. Пулеметная трель.

Через открытую дверь виднеется ясное небо. Тьфу, нечистая сила! Опять летная погода! Будь она трижды неладна! В промежутках между выстрелами доносится рокот моторов.

Ударили зенитки. Возбужденно кричат наверху наблюдатели:

— Слева по курсу самолет противника!

— Прямо по курсу пикирует самолет!

Нам, находящимся в кают-компании, самолетов не видно. Но отчетливо слышно противное завывание бомб и металлический звон при их падении в воду.

Смотрим на ходовой мостик, на фигуру в шинели с биноклем на груди. Мы впились в нее глазами, отлично понимая, что сейчас почти все зависит только от командира корабля старшего лейтенанта Амелько.

«Старший лейтенант! — разочарованно подумал я. — Не молод ли он для таких испытаний. Вот если бы кораблем командовал капитан первого ранга — можно было бы на него положиться. А что старший лейте-

нант...» К сожалению, мы смотрели тогда на число золотых нашивок на рукаве, и очень часто это было единственным мерилом человека. Какая наивность! Какое глупое заблуждение!

Положение серьезное. Над кораблем кружат не два и не три, а уже девять пикировщиков. С воем срываются «юнкерсы» в пике. Смотрим на командира: все ли он делает для спасения корабля?

Командир замечательно владеет собой. Он не выпускает ручку машинного телеграфа. Как только раздается завывание бомб, Амелько командует в переговорную трубу:

— Право руля! Лево руля!

И тут же быстро выпрямляется, запрокидывает голову и, наблюдая, куда летят бомбы, снова энергично командует.

Минуты затишья. Одни бомбардировщики сбросили смертоносный груз и исчезли, другие еще не успели появиться. С мостика слышен голос старшего лейтенанта Амелько:

— Сколько снарядов?

— Маловато осталось, товарищ командир: сто двенадцать.

— Экономить снаряды! — приказывает Амелько. — Открывать огонь только на прямое поражение противника.

Опять приближается прерывистое жужжание моторов. Смотрим в небо и ожидаем новых ударов.

Мы прекрасно понимаем, что так далеко в море нас не могут встретить истребители балтийской авиации. И все же увидеть сейчас свой самолет — страстная мечта каждого из нас.

Визжат бомбы, вода кипит от взрывов.

— Товарищ командир, снаряды кончились.

Случилось то, чего мы больше всего боялись. Смотрим направо, где замер живой конвейер подачи снарядов. Еще минуту назад люди, расставленные на палубе от погребов до орудий, были в непрерывном движении. Сейчас они стоят неподвижно, в какой-то непонятной растерянности.

Еще несколько выстрелов — и пушки смолкли. Стрекочет один крупнокалиберный пулемет.

На палубе — тишина, странная, непривычная, и поэтому особенно тревожная.

Возможно, что наш орудийный огонь не был особенно эффективным, но гул выстрелов укреплял нашу уверенность. А теперь мы чувствуем себя безоружными, и первый же вражеский пикировщик безнаказанно сможет летать над мачтами корабля, сбрасывать бомбы, атаковать пулеметным огнем так же, как они расстреливали нас вчера, когда мы барахтались в море.

Смотрю на своих товарищей. Они молчаливы. Отчаяние написано на их лицах.

Какой-то пехотный командир, сидя на полубаке, снимает с себя аккуратненькие, отливающие блеском хромовые сапоги гармошкой.

— Что это вы раздеваетесь, товарищ командир? — спрашивает матрос.

— Случись что, прыгнуть-то будет легче.

Матрос переводит взгляд на босые ноги моих товарищей по несчастью и говорит:

— В таком случае разрешите пожертвовать ваши сапоги тем, кто уже выкупался.

— Нет, браток, пусть они покуда тут постоят. Хлеба не просят. — И он отодвигает сапоги в сторону.

Голоса сигнальщиков:

— Справа по борту пять самолетов противника.

— Слева по корме...

Дальше слов не слышно, все тонет в гуле моторов, пулеметной дроби и в грохоте взрывов.

Через минуту все стихает. Корабль невредим.

Один из командиров обращается к собравшимся на палубе:

— Все, кто с оружием, — выходи строиться.

На корабле нашлись винтовки с патронами. Щелкают затворы.

Капитан второго ранга, пожилой моряк с густыми бровями, нависшими над самыми глазами, все время находившийся на ходовом мостике рядом с Амелько, сходит на палубу и обращается к выстроившимся:

— Товарищи! Снаряды кончились. Мы будем отражать налеты из ручного оружия. Вы, вероятно, слышали, что бойцы на фронте из винтовок не раз сбивали фашистские самолеты. Если самолет пикирует низко,

цельтесь в кабину. Хотя бы один из нас может попасть и убить бандита.

Цепочкой люди встают вдоль бортов и поднимают к небу винтовки. Капитан второго ранга предупреждает:

— Без команды не стрелять!

В это время у командира корабля появилось на мостике много непрошеных «советников» и «консультантов». Они шумят, не переставая спорят, каким курсом идти, как маневрировать. Эти разговоры, должно быть, изрядно надоели Амелько, потому что он вдруг первый раз за время похода вспыхивает и разражается гневом:

— Мне никаких советов не нужно. Я несу ответственность за корабль и прошу всех пассажиров с ходового мостика удалиться.

«Консультанты» вынуждены ретироваться. Амелько остается один.

Его взгляд прикован к самолетам, уши ловят донесения наблюдателей, руки вращают рукоятку телеграфа. Поразительная собранность. Предельное напряжение: видимо, каждый нерв, каждый мускул, как взведенный курок.

В мгновения смертельной опасности, когда бомбы с бешеным воем несутся на корабль, Амелько остается невозмутимым. Нас приводит в изумление точность его расчетов: в какие-то секунды корабль меняет курс, и бомбы, летящие прямо на нас, падают в стороне. Мы видим: победу в морском бою решают не только мужество и отвага, но также и умение, и твердый, безошибочный расчет. Нет, с таким командиром мы не пропадем!

День клонится к концу. Налет за налетом. Наши стрелки бьют залпом и в одиночку. Увы — ни одного самолета они не сбили, но мы верим, что они своим огнем отпугивают самолеты.

Солнце спускается к горизонту. Сорок восьмой налет... Десятки «юнкерсов» пикируют со всех сторон. Все притихли. Часто-часто бьется сердце. Вдруг радостный крик:

— Товарищи, наши летят!

— Где? Где?

Люди выбегают на палубу. Прыгают, радуются, как дети, при виде красных звезд на серебряных крыльях

нашего разведчика МБР-2[1], пролетающего низко над водой. В воздухе мелькают бескозырки. Но блаженный миг краток: разведчик ушел, и над нами снова висят «юнкерсы». Опять в ушах вой фугасок. Слышу по звуку: один бомбардировщик ринулся в пике. Свист его хлещет по всему телу. В следующее мгновение завоют бомбы. Так оно и есть.

— Полундра! Четыре штуки на нас...

Бомбы падают метрах в двадцати от корабля. На палубу обрушиваются водяные столбы. Стрелки с винтовками и пистолетами промокли на своих постах.

Солнце садится. Тарасенков отмечает в записной книжке: пятьдесят девятый налет за день...

Пятьдесят девять раз висела над нами смертельная опасность. И все-таки мы живы. Кому мы этим обязаны? Командиру корабля, его экипажу и тем пассажирам, что проявили себя настоящими бойцами.

По палубе бежит матрос. Бежит безумный, оголтелый и прямо на ходовой мостик. Действительно, не сошел ли он с ума?.. Вот он уже около Амелько. Кричит так, что, кажется, лопнут голосовые связки:

— Товарищ командир! «Ястребки»! Вижу «ястребки»!.. Там! — Он выбрасывает руку вперед. — Наши!

— Бред какой-то... — ворчит наш сосед, пожилой желчный человек, но и сам срывается с места, бежит по палубе, как, вероятно, бегал только в детстве, играя в лапту.

— Да, это из Кронштадта «ястребки».

«Юнкерсы» заметили появление нашей авиации и спешат уйти. Глухой порывистый гул фашистских бомбардировщиков сменяется звонким пением наших истребителей. Они проносятся над кораблем, бросая опознавательные зеленые ракеты и покачивая крыльями. Как выразить радость? Мы хлопаем в ладоши. Мы счастливы. Мы поздравляем друг друга.

«Ястребки» гонят «юнкерсов». Мы — в относительной безопасности.

Стемнело. Кругом до того тихо, что командир корабля, оставив на мостике своего помощника, впервые за двое суток может сойти вниз в кают-компанию, немного забыться и отдохнуть.

---

[1] МБР — морской ближний разведчик.

Он не садится, а падает на диван с такой силой, что даже трещат пружины. Подперев голову правой рукой, он долго сидит в безмолвии. И вдруг, спохватившись, вяло начинает расстегивать пуговицы кожанки, достает из кармана кителя гребешок и, не торопясь, расчесывает на пробор свои золотистые волосы. Его широкое лицо стало задумчивым, щурятся глаза под светлыми бровями. Никто из находящихся в кают-компании не решается заговорить, как бы боясь нарушить тишину, которая хоть на короткое время дает отдых и забвение этому человеку, выстрадавшему больше всех нас. Кто знает, какие испытания еще впереди?

Амелько о чем-то задумался, но тут является штурман, держа под мышкой навигационную карту.

— Товарищ командир, разрешите доложить: от близких взрывов бомб вышли из строя оба гирокомпаса. Магнитный после двух суток стрельбы тоже пошаливает.

— Вы Кронштадт запросили, каким фарватером идти? — перебивает его Амелько.

— Так точно. Южный фарватер не рекомендуют. Он под огнем батарей противника.

Подумав, командир говорит:

— Сегодня Шепелев маяк будет давать проблески. Кроме того, есть мигалки. Вы должны суметь определиться, штурман.

Штурман раскладывает на столе карту.

— Здесь — узкий проход в сетевом заграждении. Может, проскочим?

— Другого ничего не остается, — отвечает Амелько и, усмехнувшись, обращается к нам: — Здесь минное поле наше, там — противника. Совсем нет жизни мореплавателям!

Повернувшись к штурману, сообщает свое решение:

— Ночью встанем на якорь. А к утру полезем через эту узкость...

Теплая летняя ночь — последняя перед Кронштадтом. К «Ленинградсовету» подходят два «морских охотника». Они присланы сопровождать нас.

Корабль в сплошном мраке. Слышна команда:

— Приготовиться к постановке на якорь!

Гремит якорь-цепь. Вахтенные проверяют светомаскировку: ни одного огонька. «Морские охотники» выслуши-

вают подводные лодки и каждый час бомбят район стоянки.

Еще не прошло нервное возбуждение после тревожного дня: почти никто не спит. Говорят вполголоса, словно боясь нарушить тишину ночи.

Одолевает смертельная усталость. Болит каждая косточка, каждый сустав. Нет сил стоять на ногах. Говорю себе: взбодрись, ведь опасность не миновала, нас могут торпедировать, могут накрыть огнем вражеские береговые батареи... Но и самовнушение не действует. Хочется спать, и только спать.

Над машинным отделением железная решетка. Снизу идет тепло. Здесь меня сваливает непобедимый сон. Уже в состоянии полузабытья чувствую, как трудно дышать: нос забило мелкой угольной пылью, поднимающейся вверх вместе с потоком теплого воздуха. Ну и черт с ней, с пылью! Кажется, пусть меня колют сейчас иголками, бьют, режут на части, все равно я будут спать, и эту усталость не может перебороть сознание того, что именно сейчас, в ночное время, надо быть начеку. Нет, ни бомбы, ни мины, ни торпеды — ничто больше для меня не существует. Спать! Только спать!

Вскакиваю от оглушительного грохота. Слева над водой шарит голубой луч прожектора.

— Что случилось? — спрашиваю идущего мимо матроса.

— Финны прощупывают прожекторами. И ведут огонь. Один снаряд упал рядом.

Доносится голос Амелько, усиленный мегафоном в десятки раз. Он объясняется с командирами катеров, невидимых в темноте и угадываемых только по прерывистым звукам моторов.

— Подойти к борту! — несколько раз повторяет Амелько, пока в ответ не доносится голос:

— Есть, подойти к борту!

Шум моторов приближается. «Морские охотники» пришвартовываются к борту корабля. Моторы работают приглушенно, и потому можно разобрать каждое слово из разговора Амелько с командирами катеров.

— Надо сниматься с якоря. Иначе нас накроют. Сниматься и идти самым малым.

— Опасно, товарищ командир. Много мин.

— Я вас потому и вызвал. Мое решение: послать катер вперед и каждые пятнадцать минут бросать по бомбе. Если поблизости мины, они будут детонировать. Понятно? Время дорого, пошли... Один катер впереди... Второй справа по борту.

— Есть! — отвечают с катера. — На вашу ответственность...

По учащенному шуму моторов и всплескам воды можно понять, что катера отходят от борта. Наши машины тоже прибавляют обороты. Идем в сплошной черноте. Море слилось с небом. Лишь слева, с финского берега, тянутся узенькие белые лучи прожекторов. Сидя на палубе, настороженно прислушиваемся к всплескам воды, рассекаемой носом корабля. Через ровные промежутки времени по воде прокатывается металлический гул. Иногда после взрыва глубинной бомбы следует еще более сильный удар: это взорвалась мина.

Справа берег охвачен пожарами. Из темноты вырываются огненные блики. Там тоже идут бои. Фашисты приближаются к Ленинграду. Об этом даже страшно подумать, но ведь так оно и есть на самом деле.

Корабли Краснознаменного Балтийского флота спешат на помощь Кронштадту и Ленинграду.

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

На исходе последняя ночь. Восток светлеет, окрашивается в фиолетовый и розовый тона. Над водой расстилается легкая беловатая дымка тумана. Поднимается солнце. Его острые золотистые иглы играют в воде, переливаются, согревают живительным и нежным теплом. Великая прелесть ничем не покоренной жизни!

Занимается новый день. Шестьдесят девятый по счету день тяжелой войны.

Тихое утро. Ни волны, ни ряби, ни единого дуновения ветра. Гляжу на спокойное море, простирающееся далеко, до самого лесистого берега, выступающего узенькой, едва приметной черточкой на горизонте, и в голову приходит мысль: неужели это и есть то самое море, что сутки назад кипело от взрывов мин и бомбовых ударов, не раз погребало и пылающие немецкие самолеты, и обломки кораблей, унесло немало человеческих жизней?

Впереди и сзади нас едва заметными точками на го-

ризонте видны корабли. Так же, как и «Ленинградсовет», они держат курс на Кронштадт. Транспорты, миноносцы, подводные лодки, сторожевики, тральщики. Их не сумели потопить фашисты, как не смогли они надломить дух советских людей, убить нашу волю к борьбе, способность к сопротивлению.

...Легкий шелест доносится с носа корабля, рассекающего воду: два волнистых уса тянутся по бортам, а за кормой остается шумный, пенящийся поток.

Все как-то воспрянули духом и высыпали на палубу, с нетерпением ожидая, когда откроются родные берега.

Ворчливый пожилой сосед, запрятав куда-то записную книжку, уже больше не нервничает, не кипятится, а добродушно улыбается. Командир нашего необычного стрелкового подразделения собрал вокруг себя большую группу людей; он показывает на финские шхеры, откуда в августе 1919 года английские торпедные катера пытались совершить налет на Кронштадт и потопить крупные корабли Балтийского флота. От катеров, как известно, сохранились одни обломки, их можно видеть в Центральном военно-морском музее в Ленинграде.

Даже раненые сейчас словно переродились. Не слышно стонов, производивших в боевой обстановке такое гнетущее впечатление. В каютах для раненых то же, что и везде: радость возвращения.

Только один человек не изменился. Он по-прежнему стоит на ходовом мостике в своем кожаном реглане с биноклем на груди — сосредоточившийся, поглощенный управлением кораблем. Время от времени он подносит бинокль к глазам, смотрит вперед, по сторонам, что-то выискивает и снова стоит, положив руку на телеграф. В его внешнем облике сохранилась суровость вчерашнего боевого дня.

Солнце разлилось по палубе и начинает основательно припекать.

Корабль идет быстро, но время тянется ужасно медленно, хочется поскорее увидеть хотя бы маленький клочок нашей родной земли.

Внезапно размышления обрываются криками сигнальщиков:

— Прямо — истребители!

Кто-то, не разобравшись, восклицает:

— Неужели опять налет?!

Все насторожились.

— Да нет, наши, конечно.

Как передать это волнующее чувство, когда люди, в ушах которых еще стоит проклятый гул фашистских бомбардировщиков, слышат вдруг звонкие, певучие голоса наших истребителей. Защитники Ленинграда! Их рокот в ясной голубизне неба кажется нам живым приветом из родного города. Они несколько минут кружатся над нами, сигнализируют ракетами, а затем собираются и строем продолжают полет над морем навстречу остальным кораблям.

Одна радость сменяется другой. Впереди на горизонте появились очертания маленьких островков. Кажется — они все больше и больше поднимаются из воды. Кронштадтские форты — недремлющие морские стражи Ленинграда!

Мы продолжаем стоять на палубе и, забыв в эти минуты обо всем на свете, смотрим на приближающуюся родную землю.

На ходовом мостике, рядом с командиром корабля, появляется корабельный врач и обращается к Амелько:

— Товарищ командир! Раненые просятся на палубу.

— Вывести тех, кто может ходить. Пусть порадуются, — отвечает, улыбаясь, Амелько. И на его лице сейчас уже нет той суровости и ледяного спокойствия, что были вчера.

Фигура Амелько возвышается над счастливой и восторженной толпой, окружившей ходовой мостик.

Идем поодаль от фортов. На серых крепостных стенах не видно никого, кроме часовых да сигнальщиков.

И наконец вот он, долгожданный большой Кронштадтский рейд! Какое множество кораблей: миноносцы, тральщики, сторожевики, и среди них заметно выделяется изящный корпус с внушительными надстройками и орудийными башнями — крейсер «Киров»!

Гитлеровцы бросили все свои силы для уничтожения Балтийского флота: устраивали засады и бесконечные воздушные налеты на корабли в Таллине. Особенно серьезная ставка была сделана на их потопление во время похода. Но провалились планы врага. Вот они, наши корабли, красавцы со знакомыми, дорогими названиями на борту и корме.

Мы приближаемся к «Кирову». Горнист, стоящий ря-

дом с Амелько, поднял горн и играет «захождение». Проходя мимо «Кирова», мы стоим в торжественном молчании, вытянув руки по швам. На «Кирове» тоже играет горн, и вахтенные, и комендоры, только что возившиеся у пушек, и коки в белых колпаках, которых звук трубы застал по пути на камбуз, — все замирают на месте лицом к нашему кораблю. И оттого что моряки «Кирова» приветствуют нас, появляется новое, до сих пор не изведанное, гордое и радостное чувство.

Прошли мимо «Кирова». Подходим к новым кораблям, и опять горнист играет «захождение», и опять моряки выстраиваются вдоль бортов. Идем как на параде. Одна такая встреча в родной гавани — это, пожалуй, самая лучшая, самая большая награда за все пережитое нами в открытом море за последние сутки.

На рейде и в знаменитой Петровской гавани впервые приходится видеть такое множество судов. Даже кронштадтские старожилы удивляются, читая на бортах и корме выгравированные большими золотыми буквами названия новых балтийских кораблей.

Во время перехода мы понесли большие потери. Погибло много транспортов, имевших слабое зенитное вооружение. Но боевое ядро Балтийского флота — лидеры, миноносцы, подводные лодки, торпедные катера с флагманом Балтики крейсером «Кировым» — здесь, в Кронштадте. Около двухсот кораблей и транспортов прорвались из Таллина в Кронштадт. План германского верховного командования потопить или захватить Балтийский флот снова провалился, точно так же, как и в 1918 году.

Мы никогда не забудем этих дней, не забудем и тех, кто переживал вместе с нами тяжелое и опасное время, кто пал в борьбе с фашистами. Вечная слава их боевым делам!

Сигнальщики энергично заработали флажками: запрашивают, где кораблю пришвартоваться. С берега быстро отвечают, указывают место.

У пирса стоят корабли в пять-шесть рядов. Мы подходим к тральщику. «Привет, браточки!» — крикнул кто-то из моряков, да так громко, что самому стало неловко, и он, оглянувшись, даже покраснел.

Не сон ли это? Густые массивные деревья Петровского парка, бронзовая фигура Петра на высоком постаменте, окаймленная зеленью, толпа каких-то людей на

стенке, машущих нам фуражками, и даже сам воздух — запах пеньки и нефти — все, все подтверждает, что мы в Кронштадте, родном и близком сердцу каждого моряка.

Ну, пора на берег. Так и тянет поскорее выскочить на пирс и ощутить под ногами твердую землю. Между тем все стоят и терпеливо ждут, пока командир заканчивает свои дела на мостике, отдает какие-то приказания. Но вот и он сходит на палубу и попадает в радостную толпу. Все хотят попрощаться с Амелько и как можно крепче пожать руку этому поистине замечательному человеку.

— Легче, товарищи, — шутит штурман. — Оторвете ему руку или мозоли натрете. Раньше времени наш командир инвалидом станет.

Один из пассажиров, тот самый, что снимал хромовые сапоги, готовясь плавать, обнимает Амелько обеими руками:

— Дружок мой, всю жизнь тебя не забуду и детишкам накажу, чтоб внуки узнали.

— Ну, стоит ли такими пустяками детские головы забивать, — отшучивается Амелько.

Дошла и наша очередь проститься с Амелько. Анатолий Тарасенков развертывает листок бумаги и, к удивлению всех, читает свои стихи:

> Амелько, старший лейтенант!
> Вам шлю любовь свою,
> За доблесть, мужество, талант,
> Проявленный в бою!

Тарасенкова оттирают в сторону, а рука Амелько переходит в широкие ладони пожилого капитана 2 ранга, в критические минуты принявшего на себя командование стрелками и проявившего такую решительность во время налетов.

— Поздравляю! — говорит он. — Я рад, что из моих курсантов вышли такие командиры!

Амелько широко открывает глаза. Вспомнил и, словно увидев родного отца, бросился в объятия старого моряка, стыдясь и краснея, что не узнал его в горячке боя.

— Ну, ладно, живы будем — еще встретимся, — говорит капитан 2 ранга, прощаясь с Амелько.

Время идет, а толпа не трогается с места. К Амелько пробиваются все новые и новые друзья. На редкость тро-

гательны эти минуты расставания с кораблем, прошедшим дорогу смерти.

А там, на пирсе, нас встречают и, видимо потеряв всякое терпение, посылают своего делегата узнать, что случилось, почему мы не сходим на берег.

Через палубы кораблей маленький, крепко сбитый политработник с трудом добирается до нашего «Ленинградсовета» и вскипает от возмущения:

— Вы, должно быть, решили, что мы, точно дураки, целый день будем стоять и ждать, пока вы соблаговолите обратить на нас внимание?

После столь грозного упрека уже сам Амелько, пользуясь властью, начинает, что называется, деликатно выпроваживать нас с корабля.

Мы переходим с борта одного корабля на борт другого и наконец ощущаем под ногами родную твердую землю.

Нас окружают совершенно незнакомые люди, обнимают, поздравляют с возвращением, слышатся простые, идущие от всего сердца слова.

— Товарищи, нам просто неудобно, так встречают только победителей. А мы... — сказал кто-то, с трудом высвободившись из крепких объятий.

— Не скромничайте, знаем, сколько вы горя хватили!

— Честное слово, просто неловко.

— Ну, товарищи, кончайте! Еще будет время, наговоритесь! У меня план. Ваше время расписано. Пора двигаться, — объявляет представитель Политуправления флота, простой, сердечный, любимый всеми полковой комиссар Василий Иванович Гостев.

И целое шествие под руководством Гостева двигается по направлению к Кронштадтскому экипажу. Там действительно нас уже заждались. Первым долгом мы попадаем в баню, и с нами происходит чудесное превращение: в одну дверь вошли грязные, одетые во что попало, кто босой, кто в непомерно большой обуви, через каких-нибудь сорок минут выходим из другой двери, одетые в новенькую форму, в ботинках, в фуражках с позолоченными эмблемами.

Осматривая друг друга с ног до головы, мы идем в столовую, где все сервировано по-праздничному.

Рассаживаемся за столами. У каждого тьма-тьмущая

вопросов, и бедного Василия Ивановича раздирают на части. Раньше всего хочется узнать о нашем походе. Прежде всего спрашиваем:

— Как дошел «Киров»?

— Так же, как и все остальные, — с боем прорывался. Только вы имели хотя бы короткие передышки, а на «Киров», как по конвейеру, непрерывно шли самолеты. Наверно, три четверти своих бомбовых запасов они побросали вокруг крейсера, но у них так ничего и не вышло, — рассказывал Гостев. — Надо отдать справедливость и кораблям охранения. Они крепко отражали атаки врага. Один из них погиб.

— Какой?

— Миноносец «Яков Свердлов», — с печалью в голосе ответил Гостев.

Мы все очень хорошо знали этот миноносец, помнили, как он вел огонь на Таллинском рейде и, маневрируя, ловко уклонялся от прямого попадания немецких бомб и снарядов. И вот сейчас в мозгу, воспаленном недавними переживаниями, вдруг ожила потрясающая картина с такой реальностью, словно мы были ее свидетелями, будто сами увидели в один миг и побледневшее лицо командира и взрыв на корабле — вспышку огня, повторные взрывы снарядных погребов и в следующую минуту одни клочки черного дыма в воздухе и обломки, плавающие на воде.

Стало тихо, все молчали, как бы отдавая почесть людям, оставшимся на дне моря вместе со своим героическим кораблем.

И, вероятно, долго продолжалось бы тягостное молчание, если бы не открылась дверь и не появился командир, который во всеуслышание сообщил, что несколько минут назад из Берлина воспевали хвалебные гимны гитлеровскому морскому и воздушному флоту за потопление большевистского крейсера «Киров».

Фашисты тогда не поскупились на краски, чтобы расписать уничтожение крейсера «Киров», а заодно с ним и всех остальных кораблей Балтийского флота.

Но как туман отступает при наступлении ясного солнечного дня, так очень скоро рассеялся миф о потоплении Балтийского флота, который огнем своих пушек встретил врага на подступах к Ленинграду.

* * *

Кронштадтцы ласково и заботливо отнеслись к людям, побывавшим в беде. В эту ночь каждый дом стал для нас родным. Все двери были широко открыты для участников таллинского похода.

Куда бы мы ни приходили, везде оказывались самыми дорогими и желанными гостями. Многие из нас попали в совсем незнакомые семьи, и здесь нашли людей, с которыми потом долгие годы были связаны верной и бескорыстной дружбой.

Матросы с потопленных кораблей разместились в кубриках береговых частей. Хозяева добровольно уступили им свои койки, а сами ушли под открытое небо, спали на брезентах, расстеленных на земле.

Матросы метались, спросонья выкрикивали какие-то бессмысленные слова, вскакивали и долго не понимали, где они и что с ними. Даже во сне люди не могли найти покоя.

По-разному прошла эта ночь. В одних домах семьи собрались за праздничным столом и поднимали бокалы за благополучное возвращение близких. А в других... В других семьях это была долгая, тяжкая, мучительная ночь. Боль сжимала сердца женщин и детей при одной страшной мысли, что их мужья и отцы — радость и надежда — не вернулись из Таллина и больше никогда не вернутся...

ПОДВИГ «КАЗАХСТАНА»

Первые дни нашего пребывания в Кронштадте были полны неожиданностей. Мы узнавали все новые и новые подробности таллинского перехода. Нас радовало прибытие с Гогланда и других островов многих товарищей, считавшихся уже погибшими. Они рассказывали самые необыкновенные истории, очевидцами и участниками которых им довелось быть.

Из всего, что я узнал в эти дни, особенно большое впечатление произвела на меня история нашего торгового парохода «Казахстан».

Война застала его в Таллине. Я хорошо помню, как он возвышался над причалами Купеческой гавани. Он находился в распоряжении командования Краснознамен-

ного Балтийского флота и выполнял самые различные боевые задания. Но в эти дни в Кронштадте люди с тревогой спрашивали друг друга:

— Вы не знаете о судьбе «Казахстана»? Где он, что с ним? Жив ли вообще?

Пришли из Таллина сотни кораблей, а о «Казахстане» ничего не было слышно, и потому все с большим нетерпением ожидали каких-нибудь известий о нем.

И вдруг первого сентября по Кронштадту пронеслась молва о том, будто пришел «Казахстан». Нашлись люди, которые уверяли, что видели своими глазами, как он входил в гавань.

Спешим в гавань и мы, военные корреспонденты. Она забита кораблями и транспортами. «Казахстан» найти трудно. Впрочем, вот он, притулился у гранитной стенки.

Не нужно спрашивать, какие ему выпали испытания. Его вид говорит о многом. Ходовой мостик обгорел и почернел от копоти. Изнутри торчат доски, искореженное железо. Высокие корабельные мачты совершенно обуглились. В борту над водой зияют ужасающие черные пустоты.

Сейчас возле транспорта собираются моряки. Они осматривают «Казахстан», его свежие раны, и в их словах чувствуется гордость и восхищение людьми, которые отстояли корабль и привели его в гавань.

У трапа — часовой с винтовкой. Я прошу вызвать дежурного по кораблю и обращаюсь к нему:

— Можно повидать капитана «Казахстана»?

— Товарищ Загорулько отдыхает. Я вас могу провести к нему. Только учтите — несколько суток мы были в бою и он не присел ни на минуту, — объясняет дежурный. — Пришли в Кронштадт, его сразу вызвали в штаб флота. Полчаса назад он вернулся и прилег у себя. Если очень нужно, я разбужу.

— Нет, нет, ни в коем случае, — сказали мы и попытались поговорить с дежурным. Но, судя по всему, он был поглощен совсем другими мыслями и делами.

В это время Загорулько появился на палубе, и мы узнали о походе «Казахстана», что называется, из первоисточника.

27 августа «Казахстан», нагруженный войсками и боевой техникой, вместе со всеми нашими кораблями вышел в море и взял курс на Кронштадт.

В прозрачной голубоватой дымке постепенно скрывались, точно растворяясь, берега Эстонии.

Широкие просторы моря простирались вокруг транспорта. Волны катились навстречу и разбивались о борт «Казахстана». Быстрокрылые чайки пролетали совсем низко и то садились на воду, то, распуская широкие крылья, взмывали ввысь и с беспокойным криком парили над палубой.

Пассажиры «Казахстана» не чувствовали себя одинокими хотя бы потому, что впереди, насколько видел глаз, шли такие же транспорты.

Было тихо и спокойно, но все хорошо понимали, что это затишье перед бурей, и потому все боевые средства находились в готовности. Жерла наземных зениток, доставленных с фронта, настороженно и грозно смотрели в небо. Возле них, на матах, снаряды, и тут же безотлучно находились бойцы.

Сравнительно небольшой экипаж парохода пополнился в эти дни людьми, прибывшими с сухопутья. На палубах и в трюмах было много пассажиров: одних военных два пехотных полка, да госпиталь в полном составе, да работники Таллинского торгового порта — населения хватило бы на целый поселок.

«Плохо, если у людей в боевой обстановке нет никаких обязанностей», — подумал второй помощник капитана Леонид Наумович Загорулько.

Он решил включить в боевую жизнь армейцев, прибывших на судно в качестве пассажиров, расставить вдоль палубы зенитки, доставленные с фронта. Пока перекатывали пушки с одного места на другое, Загорулько приглянулся ловкий и расторопный старший лейтенант в выгоревшем на солнце, порыжевшем кителе, высокий, статный, с белокурыми волосами, выбивавшимися из-под черной морской фуражки. Бойцы понимали его с полуслова и соревновались в быстроте, выполняя его приказы.

Когда в носовой части корабля была водружена последняя зенитка, старший лейтенант с белокурыми волосами снял фуражку и вытер потный лоб.

— Спасибо вам за помощь, — сказал ему Загорулько и не удержался, добавил: — А у вас это здорово получается. Можно подумать, что вы командиром родились и в тот же день приняли подразделение.

Все, кто находился поблизости, рассмеялись. Они-то знали: старший лейтенант такой вовсе не от природы, он стал таким за два месяца войны.

— Позвольте спросить, а кто будет вести наблюдение за самолетами? — поинтересовался старший лейтенант.

— Не торопитесь, всему свое время, — ответил Загорулько и куда-то исчез. А когда вернулся обратно, то уже не нашел старшего лейтенанта и очень сожалел, что сразу не узнал его фамилию и вынужден был долго разыскивать его по приметам, пока опять не встретился с ним в трюме корабля.

При появлении Загорулько старший лейтенант вскочил, вытянулся и хотел было доложить по всем правилам. Но Загорулько никак не мог привыкнуть к воинским порядкам. Он по-дружески положил руку на плечо старшего лейтенанта и сказал:

— Дорогой мой, куда же вы запропастились? С трудом нашел. Кстати, как ваша фамилия?

— Абрамичев Петр Георгиевич.

— Отлично, Петр Георгиевич. Так вот, насчет службы наблюдения. У нас есть несколько человек из числа экипажа, расписанных по боевой тревоге. Сейчас это капля в море. Знаете что, батенька мой, возьмите-ка на себя все это дело, организуйте народ, расставьте вдоль обоих бортов корабля. Поскольку народа хватает, расставьте людей поближе друг к другу. Сектор наблюдения у каждого будет небольшой, и он без труда сможет заметить самолеты, или там подводные лодки, или еще какие-нибудь сюрпризы, приготовленные для нас.

Говоря об этом, Загорулько пристально смотрел в открытое лицо простого русского парня, которое располагало к доверию.

— Есть! Ваше приказание будет исполнено, — ответил Абрамичев, повернулся к бойцам своего подразделения и скомандовал на весь трюм: — Встать!

Эта команда, быть может, была и не совсем кстати в такую минуту, когда одни закусывали, другие дремали, склонив головы на заплечные мешки, третьи были погружены в раздумье. Во всяком случае, команда «Встать!», произнесенная сильным, властным голосом, мгновенно отозвалась в сознании бойцов. Все поднялись кто как был и стояли, вытянув руки по швам.

— Построиться! — И тут же: — За мной, на палубу!

На палубе старший лейтенант выстроил бойцов лицом к морю и с присущей ему четкостью объяснил, как должно вестись наблюдение, чтобы заметить малейшее пятнышко на небе, самый незначительный гребешок на воде.

Больше всего он говорил о минах.

— Если вы увидите на воде темный шар или какой-нибудь подозрительный предмет, сразу докладывайте на мостик. Чем раньше обнаружим мину, тем больше шансов уклониться в сторону, а если прошляпим, напоремся на нее, тогда поминай как звали и корабль, и нас с вами.

Он распределил всех бойцов на несколько смен, каждому показал сектор наблюдения.

В наступающих сумерках десятки острых, настороженных глаз смотрели в небо, на море, которое к закату солнца теряло голубые тона и становилось холодным, стальным.

Часто до «Казахстана» доносились раскатистые громы: это катера — «морские охотники» прямой наводкой расстреливали плавающие мины.

Старший лейтенант неотлучно находился на палубе среди бойцов. Рядом с ним стоял сержант Козлов, наблюдая за морем и воздухом. Вдруг Козлов крикнул что было силы:

— На нас идет мина!

И десятки голосов повторили:

— На нас идет мина!

Эти слова донеслись до мостика. Капитан застопорил ход, и все стали волноваться.

— Где? Где? — спрашивали Козлова, но он совершенно растерялся, схватился в отчаянии за голову и уже истошно вопил:

— Мина у самого борта!

И тут же в страхе попятился назад. Все оцепенели, ожидая взрыва. Старший лейтенант вернул Козлова на пост, и тот, глядя вниз, на воду, ударявшуюся о борт транспорта, уже совсем другим, спокойным и даже торжественным голосом объявил:

— Извините, ошибся, товарищ старший лейтенант. Это бочонок!

Действительно, черный деревянный бочонок с железными обручами покачивался на волне и терся о борт «Казахстана».

— Чтоб ты провалился! — в сердцах крикнул кто-то с мостика, и в адрес Козлова со всех сторон послышались ехидные насмешки: «У страха глаза велики», «Пуганая ворона и куста боится».

Но тут строго прозвучал голос старшего лейтенанта Абрамичева.

— Прекратить разговоры! — скомандовал он и добавил строго и выразительно: — За проявленную бдительность сержанту Козлову Федору Поликарповичу объявляю благодарность.

С ходового мостика передали: «Усилить наблюдение!» — и все взгляды снова были обращены к небу и морю.

Издалека донесся глухой рокот моторов. Скоро над горизонтом появились далекие точки, они нарастали, и вот уже совершенно ясно обозначилась стая вражеских бомбардировщиков, приближавшихся к кораблям, застигнутым в минном поле посреди Финского залива.

Заговорили пушки, пулеметы — все, что могло стрелять, встречало врага огнем. Но с каждой минутой появлялись все новые и новые самолеты: немецкие асы, участники пресловутой «битвы за Атлантику», потопившие немало английских и американских кораблей, выполняли теперь приказ Гитлера об уничтожении Балтийского флота. Они пользовались тем, что в небе нет ни одного советского самолета, смело прорывались сквозь завесу зенитного огня и пикировали чуть ли не до самых корабельных мачт.

Особенно охотно они бросались на транспорты, которые представляли крупную цель и не имели сильной зенитной обороны. К числу таких судов относился и «Казахстан». Он вздрогнул от прямого попадания бомбы, и в следующий миг люди, охваченные паникой, увидели в кормовой части столб огня и клубы черного дыма. Люди бегали по палубе в поисках спасения. Одни бежали, не понимая, куда и зачем бегут, с криками «тонем», другие бросались к шлюпкам. С правого борта начали спускать шлюпку, переполненную людьми. Один конец заело. Шлюпка потеряла равновесие, стала наклоняться и в конце концов опрокинулась, а люди, находившиеся в ней, попадали в воду.

В этот тревожный момент, когда, казалось, все рушится и никакими силами не остановить людей, охваченных

паникой, Загорулько оставил свой пост у телеграфа и бросился на ходовой мостик к капитану парохода.

На мостике он увидел несколько обезображенных трупов. «Вероятно, и капитан наш погиб», — подумал Загорулько и тут же решил: надо что-то предпринять, как-то успокоить людей, прекратить панику. Вдруг он лицом к лицу встретился со старшим помощником капитана, который поспешно надевал на себя спасательный пояс.

— Капитан убит. Принимайте командование, — сказал ему Загорулько.

— Ты что, с ума спятил? Не видишь, что наше дело проиграно. Сейчас надо спасаться кто как может, — быстро проговорил старший помощник и тут же исчез.

Загорулько не оставалось ничего другого, как принять на себя командование транспортом. Он взял в руки мегафон, но его слабый голос утонул среди криков и воплей людей.

Трудно себе представить, что могло случиться дальше с транспортом и людьми, метавшимися по палубе в поисках спасения, если бы в эти минуты не объявились армейцы и моряки, командиры воинских подразделений, защищавших Таллин.

— Товарищи! Мы обязаны взять на себя руководство и раньше всего пресечь панику любой ценой, вплоть до применения оружия, — сказал голосом, полным воли и решительности, начальник штаба береговой обороны Таллина полковник Георгий Андреевич Потемин.

Многие собравшиеся здесь знали его — опытного командира, человека, который зря слов на ветер не бросает...

— У нас нет времени совещаться, митинговать. Каждая минута дорога! Сейчас же отправляйтесь в свои подразделения, призовите на помощь коммунистов, комсомольцев. Наконец, сообщите всем, что о нас знают по радио и к нам идет выручка. Когда водворится порядок — явитесь получить новые указания...

Так на транспорте появился своеобразный походный штаб, состоящий из командиров-фронтовиков во главе с полковником Потеминым. На призыв штаба откликнулись многие пассажиры, среди них человек в черном кожаном пальто, обтягивавшем его плотную представительную фигуру. В правой руке он держал пистолет, в левой — мегафон. Появившись на палубе, человек в кожаном пальто сурово, угрожающе крикнул: «Кто посмеет паниковать,

расстреляю, как труса!» И в подтверждение своей угрозы выстрелил в воздух. Люди остановились и присмирели. Наступила тишина.

Общими усилиями панику удалось прекратить. Теперь все силы были брошены на борьбу с пожаром. И хотя вышла из строя магистраль, не было ни песку, ни огнетушителей, но в руках у людей появились кастрюли, каски, брезентовые ведра; их спускали на шкертах за борт, поднимали наполненными водой и передавали по живому конвейеру. Пожар не утихал. Тогда кто-то предложил намочить простыни, шинели и бросать их в огонь.

Еще вовсю бушевал пожар, когда к Загорулько подбежали бойцы с тревожной вестью:

— Там взрывается боезапас!

Они показывали туда, за трубу, где лежали в штабелях ящики со снарядами и гранаты, которые отбирались у пассажиров еще в Таллине, во время посадки на транспорт.

Нет большей опасности для судна, чем взрыв боезапаса.

— Пройдем туда! — сказал Загорулько человеку в кожаном пальто, которого теперь люди с уважением величали «генералом».

Они побежали. За несколько минут до их прихода взорвался снаряд, на палубе лежали убитые. Взрывной волной свалило счетверенный зенитный пулемет.

— Что рот разинули? Надо спасать корабль, а то взлетим на воздух вместе со снарядами! — закричал «генерал» бойцам, стоявшим поодаль и боязливо смотревшим на всю эту картину.

Бойцы сразу осмелели. Они вместе с членами экипажа и пассажирами бросились тушить пожар, охвативший половину транспорта.

Долго велась борьба с огнем. Пламя удалось сбить, и только густой черный дым валил из кормовой части судна, как из паровозной трубы.

Израненный транспорт не мог двигаться дальше. При взрыве бомбы управление было выведено из строя, и он стоял один посреди моря, ожидая помощи.

Загорулько и командиры, пришедшие ему на помощь, находились на ботдеке, заменившем сгоревший ходовой мостик. Они подчинили своей воле сотни людей; их при-

казания, передаваемые через мегафон, мгновенно выполнялись.

В носовой части тоже нашлись люди, к голосу которых прислушивались пассажиры. И среди них были батальонный комиссар Гош, майор-зенитчик Рыженко и писатель Зонин.

Вскоре гитлеровская авиация снова нацелила свои удары на хорошо заметный с воздуха раненый транспорт. Но, к счастью, всякий раз, совершая боевой заход и пикируя, летчики допускали большой просчет, бомбили с опережением.

На море поднялся ветер, и «Казахстан» лег в дрейф. Его понесло к берегам Эстонии, где теперь хозяйничали немцы.

Снова появились самолеты. Многим казалось, что теперь уже наступил конец. Как только приближались фашистские бомбардировщики — на палубе слышались панические крики. А когда над транспортом сразу засвистело несколько десятков бомб и люди разбежались в укрытия, Загорулько заметил, что какой-то человек в гражданском костюме снимает кормовой флаг и вместо него хочет прикрепить белую простыню — знак капитуляции перед противником.

— Ты что делаешь, негодяй! — что было силы крикнул Загорулько.

А один из командиров, прицелившись, выстрелил в изменника.

Уже все снаряды были давно израсходованы, и «Казахстан» превратился в беззащитную мишень для фашистской авиации.

Люди, принявшие на себя всю ответственность за судьбу корабля, мучительно думали над тем, что еще предпринять для спасения «Казахстана». Они приказали собрать как можно больше всякого тряпья, сложить все это в каски и поджечь, создав впечатление пожара.

Так и сделали. Самолеты пролетали над транспортом, утонувшим в клубах густого дыма. Немецкие летчики приняли имитацию за настоящий пожар и, решив, что с этим судном покончено, отступились.

Бойцы, населяющие «Казахстан», ясно понимали трагизм положения, но не потеряли веры в людей, принявших командование над ними.

Все немного успокоились и даже стали привыкать к этой необыкновенно напряженной обстановке. В носовой части удобно расположились двое земляков, бойцов-украинцев: один — матрос, другой — солдат, повар по специальности. Он прихватил с собой из Таллина пакет с сухим молоком, развел его в воде и вместе с другом принялся закусывать. Вместо котелка они приспособили металлическую каску. Но вот беда — на двух человек была всего одна ложка, и потому один ел, а другой ждал своей очереди.

А тут как раз налет. Самолеты разворачивались для выхода на боевой курс. Матрос-украинец уминал за обе щеки хлеб с молоком и не обращал внимания на самолеты, а повар запрокинул голову в небо и глубокомысленно произнес:

— Дывысь, знову лэтять.

— Та нехай бомбять, — ответил матрос. — Що нам, лопай молоко знай...

Они так и не двинулись с места, продолжая закусывать. А когда от самолетов отрывались бомбы и со свистом проносились, они повторяли по очереди:

— Цэ мымо, цэ мымо.

И действительно, бомбы падали мимо. Но вот повар вдруг втянул голову в плечи и с испугом произнес, глядя на пикирующий самолет:

— Цэ всэ!

Он закрыл глаза и, резко опустив голову, задел каску с молоком, плеснувшим на лицо. Бойцы, сидевшие поблизости, тоже судорожно прижались друг к другу. И только матрос не унывал:

— Якый же ты чудак, Мыкыта, вся морда в молоци, дывысь, на якого черта ты похож.

Повар поднял лицо в молоке, отвернулся, вытер его рукавом и сказал:

— А я думав, вин попадэ, бисова балалайка, дывлюсь, опять мымо.

Во время этого налета бомба действительно упала на транспорт, но она пробила палубы, провалилась в угольную яму и там, к счастью, не разорвалась.

Опасно было оставить ее на корабле. Может, она замедленного действия и с минуты на минуту взорвется. Что с ней делать? Как от нее избавиться поскорее?

Двое матросов-смельчаков вызвались провести эту

рискованную операцию. Они спустились в угольную яму и, пользуясь тем, что бомба весила не больше чем сто килограммов, подняли ее на руки, вынесли и сбросили в воду.

С победным видом они явились к Загорулько и доложили:

— Фугасную бомбу замедленного действия списали за борт!

* * *

Солнце уходило за море. На горизонте полыхали его оранжевые лучи. Небо было похоже на гигантское зарево пожара. В это время моряки приступили к осмотру механизмов. Дать кораблю ход, добраться до нашего ближайшего островка Вайндло — в этом было единственное спасение. А если оставаться плавучей мишенью, то утром транспорт наверняка добьют и потопят вражеские самолеты.

Всю ночь не прекращалась работа в машинном и котельном отделениях. Старший механик Фурса, боцман Гайнутдинов, машинисты Шишин и Слепнер, кочегар Шумило, повар Монахов — все, кто остался жив из экипажа, вместе с военными моряками и со своим новым капитаном Загорулько ремонтировали механизмы.

Левый котел был совершенно выведен из строя, паропровод изуродован до неузнаваемости. Оставалось одно — попытаться ввести в действие правый котел, поднять в нем пар, а затем опробовать машину.

Усталые, обессиленные люди! Им бы отдохнуть после всего пережитого на протяжении дня. А они продолжали трудиться, понимая, что сейчас от них зависит судьба транспорта и четырех тысяч пассажиров. И при одной этой мысли проворнее действовали руки, учащеннее бились сердца...

Приближалось утро. Люди напрягали последние силы. До рассвета надо было любой ценой закончить работу.

Наконец наступил долгожданный момент — кочегар Шумило зажег в топке огонь, и взгляды людей обратились к манометру. Постепенно росло давление пара, а к пяти часам утра все находившиеся на корабле услышали первые обороты машины.

После долгой тишины, такой неприятной и угнетающей в боевой обстановке, транспорт, подобно человеку,

очнувшемуся после беспамятства, дрогнул и стал дышать. Казалось, что с каждой минутой к нему возвращались новые силы.

Люди толпились у входа в машинное отделение, наклонялись к переборкам и прислушивались к ритму работающих машин. Все старались заглянуть вниз, хотелось своими глазами увидеть, как бьется сердце «Казахстана».

Но вот из машинного отделения стали подниматься наверх усталые, едва державшиеся на ногах моряки. Это шествие замыкал капитан Загорулько, — высокий, худой, он даже покачивался от утомления.

Вместе с Загорулько участники ремонта поднялись на ботдек. Перед ними стояла толпа ликующих людей. Загорулько немного выдвинулся вперед и тихим взволнованным голосом сказал:

— Товарищи! Пары подняты, машина исправлена, «Казахстан» может двигаться своим ходом.

В ответ на его слова со всех сторон понеслись радостные громкие крики. Загорулько, растроганный до глубины души, вынул платок и вытер слезы, быть может впервые за многие годы появившиеся у него на глазах.

Из кормового трюма в откинутой на затылок бескозырке выскочил матрос с гармонью в руках. Он заложил ремень за плечо и взял аккорд. Из толпы выбрался приземистый моряк-украинец в бушлате нараспашку и пустился в пляс. Он прошелся по кругу и со свистом стал выбивать чечетку. В кругу появлялись новые и новые плясуны: матросы, солдаты, девушки-санитарки — люди торжествовали победу. Уже недалеко маленький кусочек нашей родной земли, а с ней, с этой землей, связана надежда на спасение. Там легче будет драться с врагом. Остров еще нужно взять! Его не потопишь!

Транспорт, совсем недавно беспомощно дрейфовавший к вражескому берегу, сейчас рассекал воду и держал курс на остров Вайндло.

На палубе еще продолжалась пляска, когда сигнальщик доложил:

— К нам идет с острова катер!

Все решили, что катер вышел встречать «Казахстан». Однако было заметно, что на катере чем-то обеспокоены: там на мостике стоял матрос и необыкновенно быстрыми, резкими движениями сигналил.

— Ваш курс ведет к опасности! Впереди минное по-

ле! — повторял сигнальщик «Казахстана», с трудом разбирая каждое слово, передаваемое с катера.

— Минное поле! — повторил Загорулько и тревожно переглянулся со своими помощниками.

Сигнал пришелся вовремя. «Казахстан» застопорил ход и ждал, пока катер, обогнув минное поле, не подошел к нему вплотную.

Командир катера поднялся на палубу «Казахстана» с картой в руке и стал пояснять:

— Здесь минное поле противника, здесь — наше. А вот протраленная полоса. Вам надо изменить курс и подходить к острову с северо-запада.

* * *

Если посмотреть карту Финского залива, то в восточной части его, недалеко от берегов Эстонии, можно увидеть едва заметный черный кружок. Это маленький скалистый островок Вайндло, протянувшийся в длину на 512 метров, а в ширину на 149 метров.

Разумеется, мореплаватели хорошо знали его еще и в мирное время. Всякий раз, когда судно возвращалось из дальнего плавания и приближалось к острову, штурман выходил на палубу и искал знакомый ориентир — белую головку маяка Стеншер, — который днем, по мере приближения судов, словно поднимался из подводного царства, а ночью и во время тумана ярким лучом прожектора указывал путь пароходам.

Теперь Вайндло — наша маленькая крепость, наш часовой в Финском заливе.

К нему медленно приближался «Казахстан».

Он шел своим ходом. И все, кто находился на палубе, испытывали счастливое чувство. Это они потушили пожар, отремонтировали машины, прошли сквозь огненные преграды, и теперь, казалось, им ничего не страшно.

Корабль на самом малом ходу врезался в песчаную отмель, окружавшую островок. На палубу выбежали все пассажиры «Казахстана». Они смотрели на берег, и всем хотелось переправиться туда и ощутить под ногами твердую землю. Но что поделаешь — маленький островок не мог вместить всех обитателей «Казахстана». К тому же там прежде всего надо было создать круговую оборону на случай морского десанта. Поэтому сначала стали пере-

правлять воинские подразделения, а всех остальных пассажиров решили оставить на «Казахстане» в качестве воинского резерва.

Перед тем как начать переправу, новый капитан «Казахстана» Загорулько, взволнованный тем, что удалось выдержать такие тяжкие испытания, обратился к полковнику Потемину и другим командирам своего «штаба» со словами благодарности.

— И вам спасибо, товарищ генерал, — сказал Загорулько.

Строгое, точно окаменевшее, лицо человека в кожаном пальто вдруг расплылось в улыбке.

— Да какой же я генерал! Я всего-навсего мичман. Мичман с потопленного тральщика, — сказал он и, как бы в подтверждение своих слов, быстро расстегнул пуговицы, сбросил с плеч реглан и остался в кителе с узкими золотыми нашивками на рукаве.

* * *

31 августа утром появился самолет, он шел прямо на Вайндло. Все насторожились, но скоро распознали красные звезды, ясно выделявшиеся на плоскостях, и тревога сменилась радостью. Самолет сделал над островом круг, снизился, и от него отделилась черная точка. Это был вымпел — известие с Большой земли о том, что на помощь морякам спешат наши корабли. И действительно, через несколько часов отряд тральщиков подошел к острову и эвакуировал всех раненых, а вслед за тральщиками пришел в Кронштадт и «Казахстан». Пришел своим ходом, без посторонней помощи...

ДВОЕ НА ПЛОТИКЕ

В Кронштадте точно так же, как и в Таллине, я сталкивался постоянно с людьми, прослеживал их судьбы и не раз задумывался над тем, каким огромным испытанием явилась для нас война. Отступило, ушло из жизни множество мелочей, которые в мирное время тяготели над нами, нередко заслоняли от нас самое главное — человека. Теперь люди пытливо заглянули в глаза другу другу и увидели, где под маской непогрешимости скрывается пустое и себялюбивое, а где — настоящее, большое душевное благородство.

Я думал о многих, с кем довелось встретиться в страдные таллинские дни, и прежде всего о Василии Шувалове, о странной судьбе «ежика», на которого в мирное время мало кто возлагал добрые надежды.

Как сложилась его судьба? Где он сейчас? Жив ли? Последние сведения о нем были очень тревожные. Немцы энергично наступали в районе Пириты, как раз на том самом участке, где дрался отряд Шувалова. Я не мог до него добраться и только позвонил по телефону комбату. В его голосе чувствовалась тревога:

— Ничего о Шувалове сообщить не могу. Мы от него отрезаны. Послал туда связного. Если вернется обратно — узнаем, что с ними приключилось. Одно могу сказать: двое суток они не выходили из боя. Если Шувалов уцелел, то это просто чудо...

Вот на это чудо и оставалось мне надеяться.

Вероятно, я никогда не встретил бы Шувалова, не узнал, жив он или погиб, если бы сама жизнь не свела меня с комиссаром таллинского госпиталя, который частенько заходил в Политуправление флота, ожидая нового назначения.

Мы сидели в служебном кабинете, и маленький худосочный человек, утонувший в кожаном кресле, не спеша рассказывал нам самые необычайные истории из жизни госпиталя во время его эвакуации. Это были законченные сюжеты для рассказов, каких никогда не придумаешь, сидя за письменным столом.

Когда последний рассказ о женщине-враче был окончен, в комнате стало тихо. Мы не заметили даже, что прошло много времени и сиреневые сумерки заглянули в окна. Рассказанное по-разному действовало на собравшихся здесь людей, вызывая в памяти еще какие-то свои, личные воспоминания.

Меня особенно взволновал этот рассказ, и я захотел встретиться с тем раненым моряком, которому женщина-врач спасла жизнь.

И вот я в кронштадтском госпитале. В залитой солнцем палате я не сразу нашел нужного мне моряка. Подойдя поближе, ощущая некоторую неловкость от своего столь непрошеного визита, я взглянул в лицо, темнеющее на белой подушке, и своим глазам не поверил: передо мной лежал Василий Шувалов, возмужавший, с первой сединой в волосах, с суровыми глазами и скупой улыбкой.

Я понял, что Василий уже больше не «ежик», из которого клещами нужно вытягивать каждое слово. Сразу узнав меня, он принялся рассказывать все, что произошло с ним после нашей фронтовой встречи.

Там, на укрепленном рубеже, моряки обжились и держались до самых последних дней обороны Таллина. Потом прикрывали отход. Василий командовал своим уже совсем поредевшим отрядом. В бою под Пиритой противник вел сильный минометный огонь. Тут Васю ранило в ногу, и он лишился сознания. Благо госпиталь находился поблизости, на улице Нарва манте, друзья быстро доставили туда Василия, его сразу положили на операционный стол. И не успела зажить нога, как был получен приказ об уходе из Таллина. Раненых спешно перевозили в Купеческую гавань, на самые различные суда — пароходы, лесовозы и даже на танкеры.

Шувалов оказался на одном из транспортов. Сколько тут было раненых — никто не знал. Они лежали в трюмах, каютах и просто на открытой палубе. Одни в лубках — большие, беспомощные дети, в их глазах запечатлелось страдание; другие были на костылях, забинтованные, но способные двигаться. Как могли, они старались помочь своим товарищам.

Врачи и медицинские сестры — их было очень мало — сняли обувь, в чулках и носках осторожно ступали по палубе, стараясь не потревожить раненых.

Молодая женщина-врач наклонилась к Шувалову и, ловким движением поправив бинты, спросила:

— Ну, как себя чувствуете? Лучше? Ничего, бодритесь. Во время операции вы вели себя молодцом. Обошлось без наркоза. Теперь самое страшное позади.

Пушистая русая коса, свесившись из-за ее плеча, приятно ласкала ухо, мешая собраться с мыслями, и пока Василий думал, что ответить, она выпрямилась и ушла.

Мысль, что такая молодая женщина оперировала его, была Василию не совсем приятна. Он попытался вспомнить ее во время операции, но не мог. Только белые марлевые маски, белые колпаки и халаты вставали в памяти.

Но оттого, что эта женщина, мягкая, нежная, нагнулась к нему, сказала несколько сердечных слов, Василию стало легче лежать в этом море боли, стонов, страданий.

Вместе с другими судами транспорт «524» вышел на рейд и занял свое место в колонне кораблей, уходящих из

Таллина. В море на транспорты начались налеты немецких пикирующих бомбардировщиков. В такие минуты было особенно страшно лежать на открытом месте, смотреть в небо, на бомбы, отрывающиеся от самолетов, и понимать, что ты совершенно беспомощный и никуда не можешь уйти от беды.

Гул моторов почти не смолкал. Самолеты летели непрерывно. Пользуясь слабой зенитной обороной, один пикировщик отвесно бросился вниз. Казалось, он врежется в транспорт. Бомба ухнула в носовую часть. Столб воды захлестнул раненых, и где-то поблизости начался пожар. Люди стали прыгать за борт.

Транспорт недолго держался на плаву. Вода быстро заполняла его трюмы, и он все глубже и глубже оседал в море.

Василий оказался в воде. Исчезло ощущение боли, невесть откуда появившиеся силы заставили работать онемевшие члены. Его охватило судорожное желание жить. Не умереть, не погибнуть в этой бурлящей пучине, а жить, жить, как угодно, хотя бы держась руками за это первое попавшееся бревно.

Вокруг кричали, вопили о помощи. Василий, стиснув онемевшие пальцы на мокром бревне, молча работал здоровой ногой. Счет времени был потерян. И только по тому, что холодела вода, небо ниже опустилось над морем и все чаще попадались Василию свободные доски и бревна, он понял, что время бесстрастно совершает свой ход. Но почему бесстрастно? Время работает на него, приближая час его спасения.

Ночь пугала Василия тем, что она несла с собой одиночество. Страшно было видеть вокруг тонущих, слышать их крики, но еще страшнее не слышать ничего, кроме глухо перекатывающихся волн, не видеть ничего, кроме потемневшего неба.

Василий заметил, как поблизости от него, над каким-то обломком дерева появилась голова.

— Давай сюда! Сюда давай! — прокричал он что было силы.

Ответа не последовало.

Их разделяли какие-нибудь десять — пятнадцать метров, но сейчас это было больше, чем километры самого трудного пути.

Усиленно работая руками и ногами, они медленно сближались. Василий заметил, что человек, плывущий к нему, держится за большую доску.

Когда оба оказались рядом, Василий увидел бледное, мокрое лицо уже знакомой ему женщины-врача. Теперь ночь не пугала его, и бороться со стихией вдвоем казалось гораздо легче, чем одному.

Внезапно налетевшие крупные волны снова отбросили их в разные стороны. Василий изо всех сил устремился к женщине, барахтавшейся поодаль в волнах. Как только они поравнялись, Василий окоченевшими пальцами с трудом размотал бинт, которым была перевязана раненая нога, и перехватил им бревно и доску крест-накрест. Теперь получилось нечто вроде плотика. Взобраться на него было невозможно, но держаться за эту крестовину, опираясь на нее руками, было очень удобно.

Двое людей находились друг против друга и уравновешивали свой плотик.

А тем временем совсем спустились сумерки, и море закрыл туман. Они уже не видели друг друга и вообще ничего не видели и не ощущали, кроме воды и холода, забиравшегося под кожу острыми иглами.

Василий чувствовал рядом живое существо, и ему стало намного легче.

— Я погибаю, — прозвучал в тумане слабый женский голос.

— Не погибнете, скоро будет остров.

— Какой остров?

Василий сам не знал, какой остров, но ему хотелось верить, что неведомый, желанный остров с твердой землей под ногами непременно встретится у них на пути. Эта мысль так будила надежду и согревала, что Василий продолжал думать об одном и том же: остров будет, будет остров.

Слова Шувалова действовали на женщину ободряюще. Действительно, верилось, что где-то совсем близко есть маленький клочок земли. И это заставляло из последних сил бороться за жизнь.

Но время от времени Татьяна Ивановна Разумова переставала владеть собой, ей казалось, что она проваливается куда-то в пропасть. Держаться на воде ей не стоило большого труда, это было как бы само собой, но сознание затмевалось, в воспаленном мозгу рисовались ужасные

сцены, виденные несколько часов назад, в момент гибели транспорта. И все как бы начиналось сначала. Перед глазами вставала картина взрыва, растерянное лицо капитана. Вот он подбежал почему-то к ней со словами:

— Девушка, родная, пока не поздно, прыгайте в воду!

— Нет, я не брошу раненых, — ответила Татьяна.

— Все равно вы ничего не сделаете, никому не поможете. Мы сейчас погибнем, а вы молодая, у вас вся жизнь впереди, — почти умолял капитан.

Когда положение было совершенно безнадежным и транспорт уже погружался в воду, Татьяна сбросила с себя халат, обмундирование, спустилась по штормтрапу вниз и поплыла.

Впереди себя она увидела тонущую девушку. Должно быть, та почти совсем не умела плавать, только беспомощно размахивала руками и кричала истерически: «Мама! Мамочка! Прости! Прощай!»

Татьяна поплыла к ней, не сводя глаз с ее кудрявой головы, то исчезавшей, то вновь появлявшейся над водой. Но, увы, помочь не успела, — девушка, захлебываясь, крикнула в последний раз «маа... маа»; голова ее исчезла и больше не показалась...

Скоро силы оставили Татьяну, она тоже стала захлебываться и тонуть, но тут чьи-то сильные руки схватили ее за волосы и подтянули к себе.

Она открыла глаза и сквозь помутневшее сознание поняла: это ее старший товарищ, врач таллинского госпиталя, обычно тихий и необщительный человек.

— Держитесь за эту доску, вас заметят и спасут, — твердо проговорил он и отплыл в сторону.

«Он отдал мне свою доску, а сам погиб», — решила Татьяна и не могла себе простить, почему она не удержала его.

Теперь, плывя вместе с Шуваловым, она вспоминала то девушку, кричавшую «мама», то лохматую голову врача.

В полубреду она бормотала:

— Сутырин погиб, и мы погибнем.

— Нет, он не погиб, — убежденно говорил Шувалов. — Он доплыл до острова и встретит нас.

«Неужели встретит?» — и Татьяна сильнее сжимала пальцами деревянный плотик.

Шувалов бодрился и поддерживал свою спутницу, но и ему силы постепенно изменяли, к тому же заныла рана, разъеденная соленой водой, по всему телу разлился озноб. Он чувствовал, что все кончено, и, еле шевеля губами, произнес:

— Доктор! Плохо! Прощайте!

Кто-то звал Татьяну на помощь, кому-то она была нужна, и это прояснило затухающее сознание врача, придало ей новые силы, пробудило волю к борьбе за жизнь человека, совсем мало известного ей, но сейчас такого близкого и родного.

Еле шевеля помертвелыми губами, она сказала:

— Держись, сейчас я тебе помогу.

Она перебралась на другую сторону плотика, прикоснулась к похолодевшим рукам раненого, одной рукой держась крепко за плотик, другой стала растирать его застывшее тело.

— Потерпи немного, — сказала Татьяна. — Вон там огни острова.

Конечно, никакого острова не было, это появились сигнальные огни приближающихся кораблей, но им обоим в этот момент казалось, что это их долгожданный остров, спасение, жизнь.

Василий совсем ослабел и держался на воде лишь потому, что никакие силы уже не были способны разжать его окоченевшие пальцы, впившиеся в плотик.

Когда луч прожектора зашарил по волнам и ярко осветил утопающих, Татьяна решила, что это бред и теперь уже наверняка смерть незримо подбирается к ней. Еще более утвердили ее в этой мысли живые человеческие голоса, усиленные мегафоном:

— Продержитесь несколько минут. Сейчас мы к вам подойдем! Сейчас мы к вам подойдем! Сейчас.

Последнее Татьяна уже не слышала. Она потеряла сознание.

Очнулась Татьяна в небольшом теплом кубрике. Открыла глаза, долгим невидящим взглядом посмотрела перед собой и снова сомкнула отяжелевшие веки.

Попробовала шевельнуться и почувствовала, как онемели тяжелые, словно налитые ртутью, руки и ноги. Постепенно кровь начинала пульсировать под тонкой кожей, и никогда еще Татьяне не было так сладостно это ощущение.

«Живая, живая...» — эта мысль озаряла сознание, и из самой глубины его опять всплывали картины виденного и пережитого. Эти картины прошли одна за другой, и страшный вопрос обжег мозг: «Где я? У своих или...» Неужели, испытав столько страданий, пережив собственную смерть и вот, наконец, возвратившись к жизни, впервые осознав, какое это счастье — жить, неужели теперь умереть снова и уже навсегда?!

Несколько минут полного смятения. Но вот открылась дверь, и послышалась русская речь. У Татьяны гулко застучало сердце. Горячие слезы заструились по щекам, согревая лицо и душу.

— Девушка, что вы плачете, милая?

Татьяна, приподнявшись, смотрела на вошедших моряков, на лежащего по соседству раненого бойца, смотрела сквозь застилающие глаза слезы. Все расплывалось перед ней в радужные огни, и огни эти сияли, двигаясь, и она чувствовала себя счастливой.

— Хорошо, хорошо, — шептала она.

— Что хорошо?

Татьяна не могла объяснить, как ей хорошо оттого, что нашелся этот остров и живут на нем такие замечательные, хотя и незнакомые ей, русские люди.

Через несколько часов, окончательно придя в себя, Татьяна спросила:

— Где я?

— На тральщике, — пояснил склонившийся над ней инженер-механик Любко. — Извините за любопытство, а вы откуда к нам пожаловали?

Разумова стала объяснять, что она врач таллинского госпиталя и что...

— Врач? — с восторгом перебил ее Любко. — Так вы же здесь самый нужный человек. Наш санинструктор Ткаченко совсем с ног сбился, а пользы от него, извините за выражение, как от козла молока.

Любко объяснил, что на тральщике есть еще полковник и капитан медицинской службы, снятые с горящего транспорта. Но они, к сожалению, не хирурги.

— А я хирург и попробую вам помочь, — сказала Татьяна. Превозмогая слабость, она встала, облачилась в матросскую форму. Надела халат, косынку на голову и при помощи моряков превратила кают-компанию в хирургический кабинет.

Одним из первых пациентов, которого принесли на носилках и положили на операционный стол, был Василий Шувалов. Сейчас трудно было узнать его лицо, искаженное болью.

Василий увидел свою спасительницу, приподнялся и с удивлением воскликнул:

— Доктор! Это вы здесь командуете парадом?!

— Да, я. Лежите спокойно, сейчас я вам сделаю перевязку.

И как тогда, в Таллине, она надела на лицо марлевую маску, разбинтовала, промыла и снова перевязала рану.

* * *

Василий подробно рассказывал мне обо всем, что произошло с ним и Татьяной Ивановной Разумовой.

— Если бы не она, мы с вами больше не встретились бы, — сказал Василий. — Прошу вас, напишите о нашем докторе, и как можно лучше.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ ДРУЖБЫ МНОГИХ НЕТ

Идет сентябрь, а в мыслях все еще тяжелые августовские дни. На своем собственном опыте мы познаем, что такое война. Мы увидели войну в ее настоящем выражении, как писал Лев Николаевич Толстой, не в правильном и красивом, блестящем строе, а в крови, страданиях, смерти. И вместе с тем в величии духа, которое было всегда свойственно русскому человеку.

Нелегко нам было вырваться из огненного кольца. Таллинский поход — это самое сильное, что пришлось многим из нас увидеть и пережить в свои молодые годы.

Все, что мы раньше знали по рассказам участников гражданской войны и читали в книгах, не идет, кажется, ни в какое сравнение с тем, что каждому из нас довелось испытать.

Мы встретились с сильным и беспощадным врагом и очень хорошо узнали себя, свои достоинства и недостатки.

Во время похода погибло много кораблей, военной техники и, главное, погибли люди. Корабли построят и оснастят новой техникой, а вот люди — они никогда не вернутся.

Где-то в эвакуации живут семьи наших похороненных в море боевых друзей. Живут вестями с фронта. Не чают и не ведают, какое страшное известие получат они в ближайшее время.

Не вернется профессор Цехновицер. Студенты университета не услышат своего любимого лектора. Кто-то другой будет писать воинственные статьи о Достоевском и вести бой с западными мракобесами.

Мы не увидим больше Иоганеса Лауристина и не прочитаем его новых книг. Он утонул вместе с командой эскадренного миноносца.

Нет славного паренька Дроздова — редактора многотиражки бригады морской пехоты. Он убит на фронте в тот самый день, когда мы с ним расстались на Пиритском шоссе.

Юра Инге! Высокий, худощавый человек, с серыми зоркими глазами, в хорошо подогнанной морской форме, которую он умел носить с каким-то особым достоинством. На улицах Таллина расклеивались плакаты с его стихами. Во флотской газете почти каждый день печатались его острые сатирические фельетоны.

О чем писал Юра, нам хорошо известно. И ясно также из его стихов, в чем он видел цель жизни и как понимал свое благородное призвание:

Года пролетят, мы состаримся с ними,
Но слава балтийцев, она — на века.
И счастлив я тем, что прочтут мое имя
Средь выцветших строк «Боевого листка».

И вот Юра тоже не вернулся из Таллина.

Уже здесь, под Ленинградом, сбил пятнадцатый немецкий самолет Петр Бринько и пал смертью героя.

Нет многих, с кем война свела нас так близко и породнила.

Пройдя вместе тяжкий путь отступления, мы никогда не забудем их, как не забудется то, что нам всем довелось увидеть и пережить.

* * *

Два месяца мы не были в Ленинграде. Совсем неузнаваемым стал наш родной город.

Мы привыкли к его улицам, площадям, к каждому

дому на Невском, к коням на Аничковом мосту, к Екатерининскому садику с массивным памятником посредине.

Все это представлялось нам неизменным. И потому глазам не веришь, видя Аничков мост без коней Клодта, а на месте памятника Екатерине — неуклюжую громаду из мешков с песком, обшитую досками. Рядом с клумбами, на которых краснели георгины, появились укрытия — «щели», куда прячутся люди, услышав протяжное завывание сирены. В сумерках, похожие на какие-то чудовища, плывут ввысь отливающие серебристой чешуей аэростаты заграждения. Всю ночь они маячат в вышине — часовые ленинградского неба.

Разве можно было подумать о том, что у Пяти углов, в стене булочной, когда-нибудь появятся амбразуры огневых пулеметных точек, а на окраинах города, посреди улиц, протянутся гранитные надолбы и баррикады, построенные в несколько рядов толстых бревен?!

Только во сне могло присниться, что фашистские армии подойдут к самому городу и мы будем в трамвае ездить на фронт.

На Ленинград были двинуты почти полумиллионная немецкая армия и 240 тысяч финнов. Наступление поддерживал воздушный флот, насчитывавший более тысячи самолетов.

Мы уже привыкли к тому, что каждый вечер, без пяти восемь, воют сирены. За несколько минут до этого пустеют улицы: все спешат домой, чтобы во время воздушных налетов быть со своими близкими.

Подвал нашего дома на Фонтанке, 64, во время войны превращенный в бомбоубежище, битком набит. Несколько сот людей теснятся под низкими сводами. Многие, особенно пожилые, приходят сюда с постелями и проводят здесь всю ночь.

Прислушиваюсь к разговорам соседей. Девушка в белом берете с портфелем в руках рассказывает:

— Сегодня днем они прилетели без тревоги. Наши «ястребки» были тут как тут, вступили в бой и один фашистский самолет сбили. Я сама видела, как он дымил. А вообще-то осточертели эти тревоги. У нас в университете одна лекция пять часов продолжалась. Три раза вместе с профессором бегали в убежище.

Заметив меня, девушка подходит и спрашивает:

— Вы, кажется, были в Таллине? — На глазах ее

слезы. — Там воевал мой дядя и не вернулся. Говорят, утонул. Он как на грех совсем не умел плавать. Я просто глазам не верю, когда вижу людей, уцелевших в этом водовороте. Повезло вам, повезло.

И она расспрашивает меня о таллинской операции, о переходе кораблей; глаза ее сделались большими, лицо кажется испуганным...

Вокруг нас собираются люди и принимают горячее участие в разговоре. Слышатся короткие реплики:

— Да, тяжело нашим пришлось. Молодцы, что так долго держались и помогли Ленинграду.

— Проклятые фашисты! Их бы всех связать и в море вниз головой!

Я смотрю на возбужденные лица людей, готовых без конца слушать рассказы о борьбе балтийских моряков, и понимаю, что Таллин близок не только нашему сердцу. Даже для людей, ни разу в жизни не побывавших там, в эти дни он стал родным.

Мы выходим к воротам. Бьют зенитки. В небо летят красные ракеты.

— Вот бандиты-предатели! — со злостью говорит девушка.

Действительно, неподалеку от нас, в районе Апраксина двора, поминутно взлетают в воздух красные ракеты. Не иначе как фашистский лазутчик забрался на чердак и сигнализирует самолетам.

— Товарищи, пойдем туда, изловим его, сволочь.

— Пойдем, пойдем.

Несколько человек уходят, но вскоре ни с чем возвращаются обратно:

— Там сплошная темнота. Ничего не разберешь. Лафа для подлецов.

Стоим у ворот. Небо расцвечено трассирующими пулями, вспышками зениток, острыми лучами прожекторов.

Темная ночь озарена серебристым светом осветительных ракет, которые немцы сбрасывают на парашютах. Эти «фонари» долго и неподвижно висят в воздухе, помогая ориентироваться немецким летчикам.

Вот повисла ракета и над нашим районом. Стало светло, как днем. Ясно видны силуэты домов, блестит узкая полоса Фонтанки.

Тысячи зажигалок падают на крыши, во двор, в соседний садик Холодильного института.

Мужчины, женщины и дети — бойцы команды ПВО бросаются с песком, ведрами воды и быстро справляются с огнем. Только одна зажигалка застряла в неудобном месте — на железном подоконнике дома и рассыпает искры; ребятишки заметили ее из окна, сбросили на тротуар.

Но это лишь пролог. Вскоре слышим воющие звуки фугасных бомб. Земля дрожит от близких разрывов. Одна за другой три бомбы падают вдоль набережной Фонтанки, перед фасадом нашего дома, четвертая — у Чернышева моста.

По небу шарят прожекторы. В перекрестье двух сильных лучей появляется маленькая точка, похожая на букашку. Все находившиеся в этот момент на улице чуть ли не в один голос кричат:

— Фашист, фашист! Попался наконец сукин сын!

В небе свирепствует ливень зенитного огня. Не считаясь с опасностью пострадать от бомб и осколков зенитных снарядов, тысячи людей, прорвав все кордоны, выбегают на улицу и смотрят, как немецкий самолет мечется в небе, точно зверь, попавший в капкан. Он виражит, пытаясь вырваться из лучей, но они неотступно его сопровождают.

На него устремлен огонь зениток, и вдруг все смолкло. Люди с досадой возмущаются:

— Какого черта его не бьют! Неужели зенитчики не видят?

Никто не догадывается, что зенитчики его отлично видят, но не стреляют потому, что в небо поднялись наши ночные истребители. Их никто не замечает до тех пор, пока один «ястребок» не подлетел вплотную к фашистскому бомбардировщику; мгновение — и за вражеским самолетом потянулся густой шлейф дыма. Самолет быстро снижается и исчезает за громадой домов.

Над Таврическим садом полыхает зарево пожара. Туда спешат пожарные автомобили. Пруд, на котором каждую зиму устраивался большой каток, сейчас охвачен огнем. Из глубины пруда вырываются гигантские столбы пламени, торчат обломки немецкого самолета «Юнкерс-88». Он рухнул в центр пруда. Огонь лижет его плоскости и баки.

...Весь Ленинград говорил в ту ночь о замечательном подвиге летчика Александра Севастьянова, который на глазах у сотен тысяч людей винтом своей машины срезал

хвост фашистскому бомбардировщику, а сам выбросился на парашюте и приземлился на крыше здания Невского машиностроительного завода имени Ленина.

СУТКИ В КРОНШТАДТЕ

В мирное время пройти морем из Ленинграда в Кронштадт было очень просто. Быстроходному катеру требовалось на это сорок — пятьдесят минут.

Теперь Кронштадт стал для нас далеким и труднодоступным. Мы в огневом полукольце. Сразу за Морским каналом кусок побережья в руках противника: в Лигове, Стрельне, Петергофе стоят вражеские пушки; они прямой наводкой бьют по кораблям, катерам и даже рыболовным баркасам.

Переход корабля из Ленинграда в Кронштадт или возвращение его в Ленинград — это самая настоящая боевая операция. Она заранее разрабатывается в штабе, нередко в ней принимают участие артиллерия, авиация, катера-дымзавесчики.

Вот и на этот раз моряки бронекатера готовятся к походу в Кронштадт так, будто им предстоит морское сражение: проверяют моторы на разных режимах, пробуют зенитные пулеметы. Командиры катеров смотрят на карту, где нанесен фарватер. А тем временем на Неве, у военной пристани, собираются пассажиры — тоже моряки, в полном походном снаряжении, с биноклями, противогазами; у некоторых через плечо автоматы.

Два бронекатера стоят в готовности. Матросы в кожаных куртках и толстых кожаных шлемах больше похожи на танкистов, чем на моряков.

Я получил редакционное задание — побывать на кораблях и вместе с моряками нетерпеливо ожидаю на набережной, когда пойдут катера в Кронштадт.

Наконец получено «добро» на выход. Заревели моторы, катера оторвались от стенки.

Мы шли обычным путем. На стапелях, как и в мирное время, вспыхивали белые огни электросварки. В порту, кроме нескольких десятков торговых судов, стояли миноносцы, которые вели в это время дуэль с немецкими береговыми батареями.

Катера набирали ход, и очень скоро Морской канал остался у нас за спиной.

— Обстреливают,— сказал кто-то из командиров.

И в ту же минуту послышались звонки электрического телеграфа. Катера рассредоточились и начали маневрировать, уклоняясь то в одну, то в другую сторону с таким расчетом, чтобы немецкие артиллеристы не могли точно прицелиться и взять их в «вилку».

Вдруг наш катер дрогнул от близкого разрыва снаряда, и на стекла моих очков легли брызги от взметнувшегося столба воды.

Теперь ясно различались водяные столбы и черные дымки, стлавшиеся над водой, ближе к берегу. Немцы, явно не рассчитав, стреляли с большим недолетом. Из многих десятков снарядов, выпущенных береговыми батареями врага, только два или три упали вблизи от нас.

Так на всем пути нас обстреливали сперва батареи Лигова, потом Стрельны и Петергофа. До самых кронштадтских стенок мы шли под непрерывным обстрелом.

Когда мы уже были в Кронштадте и швартовались у пирса, огонь немецких батарей обрушился на рейд и гавани. Противник пристрелял каждый домик. Пришлось укрыться за полуразрушенным сараем и выжидать, наблюдая, как то тут, то там вспыхивали пожары от прямого попадания зажигательных и фугасных снарядов. Только через час, когда кончился обстрел, мы смогли выйти в город.

А Кронштадт жил, как сразу показалось мне, своей обычной будничной жизнью. На улице Ленина почти лицом к лицу я встретился с маленьким пожилым человеком в пенсне на длинном черном шнурке. Он был в полотняных брюках, в неизменном синем пиджаке и соломенной шляпе. Это мой старый знакомый, учитель — кронштадтский старожил.

— Куда торопитесь?

— Известно куда, милый человек. В школу, в свою родную школу,— упорно повторил он.

— А снаряды?

Он махнул рукой:

— Привыкли уже. Вы, милый человек, в девятнадцатом году под стол пешком ходили, а я уже тогда приучался к снарядам...

Посмотрев на часы, он пожал мою руку:

— Ох, как бы не опоздать. А то еще, не дай бог, тревога начнется. Бегу, бегу.

Я посмотрел вслед старику.

Ему и впрямь нечего было страшиться. Он знал, что Кронштадт смолоду жил суровой осадной жизнью. Издавна, еще в XVIII веке, были расписаны по боевым постам все его жители, вплоть до учеников-подмастерьев. Эта традиция переходила от одного поколения к другому.

Я зашел к секретарю Кронштадтского райкома партии Евгению Ивановичу Басалаеву. Его знали здесь все от мала до велика, и понятно почему: он родился и вырос в Кронштадте. Многие из тех, кто теперь приходил к нему на прием, хорошо помнили, как недалеко от того дома, где находится райком партии, Басалаев в детстве играл с ребятами в бабки.

— Что делается в Ленинграде? — спросил Басалаев, старавшийся быть в курсе всех событий.

Я посмотрел на батарею телефонов возле письменного стола и сказал:

— По-моему, у вас есть связь со всем миром.

— Это верно. Только по телефону нас не очень охотно информируют.

Я рассказал о Ленинграде и в свою очередь спросил Басалаева, чем занят райком.

— Вы лучше спросите, чем мы не занимаемся! Ремонтируем корабли. Переселяем людей из разбитых зданий. Снимаем урожай овощей. Налаживаем рыбное хозяйство. Открываем новые детские ясли. Хороним погибших. Принимаем новорожденных.

— Неужели и новорожденные есть?

— А как же! Каждые сутки в Кронштадте рождается шесть-семь новых граждан. Только беда: кавалеров маловато, все больше барышни. Природа совсем не считается с тем, что Кронштадт — город флотский и нам в первую очередь нужен мужской персонал.

Затем Басалаев перешел к делам продовольственным:

— Хотим иметь неприкосновенный запас на случай полной блокады. Заготовляем овощи. Создали новые рыболовецкие артели и усиленно ловим рыбу. Мало ли что может быть.

Во время нашей беседы где-то поблизости завыла сирена, дублируя сигнал воздушной тревоги. Басалаев заторопился на командный пункт. Я вслед за ним вышел из райкома и посмотрел в сторону гавани. Небо усеяли про-

зрачные белые барашки. Очень высоко кружились наши истребители.

Со стороны форта «Краснофлотского» доносился гул зениток. Вскоре из-за барашкового полога вывалилась девятка «юнкерсов». Они срывались в пике и прицельно бомбили гавань, в которой стояли корабли. В небе появились черные клубки разрывов. Один вражеский самолет загорелся. Быстро теряя высоту, он шел в сторону Петергофа. Потом выяснилось, что он не дотянул до своих и упал в залив.

Пока я наблюдал за этим самолетом, остальные «юнкерсы» побросали бомбы и исчезли. Но в небе не прекращалась воздушная битва наших «ястребков» с немецкими «мессерами». Понять, кто кого бьет, было очень трудно. Только к вечеру стали известны результаты боя: сбиты три немецких бомбардировщика, мы потеряли два истребителя.

В те дни Балтфлот называли «огневым щитом Ленинграда». И действительно, кронштадтские форты вместе с боевыми кораблями помогли нашей армии остановить фашистов у стен Ленинграда.

Пленные показывали, что, не будь Кронштадта, Гитлер мог бы с ходу овладеть Ленинградом. Вот почему фашисты хотели сломить Кронштадт, потопить боевые корабли... Каждый день с рассвета волнами, одна за другой, летели на Кронштадт пикирующие бомбардировщики.

У нас было мало самолетов-истребителей, и они не могли отразить воздушные атаки противника.

Пикировщики старались обходить форты: там очень сильная зенитная оборона. Окружным путем они прорывались к гавани и нацеливали свои удары на боевые корабли, притом на самые крупные корабли нашего флота.

Два дня, 22 и 23 сентября, бомбы взрывались в гавани. Трудно было отбиваться от самолетов, наседавших со всех сторон. Стволы корабельных зениток раскалялись от непрерывной стрельбы.

Стойко сражались моряки линкоров «Марат», «Октябрьская революция», крейсеров «Киров», «Максим Горький», лидеров «Минск», «Ленинград», десятков миноносцев...

Опаленные дымом августовских боев за Таллин, моряки крейсера «Киров» заняли места у орудий, дальномеров, приборов управления стрельбой.

Комендоры в башнях, зенитчики на открытом мостике, машинисты, сигнальщики — все в боевом напряжении.

В разное время суток корректировщики вызывают по радио крейсер «Киров», и он откликается огнем своих дальнобойных орудий.

— Левый борт, центральная наводка,— ясно и отрывисто произносит каждое слово командир боевой части.— Снаряд фугасный, заряд усиленный. Орудия зарядить!

Корабль ведет огонь по северному берегу, где финны на небольшом участке фронта попытались перейти в наступление.

И в тот же час запрашивают помощь наши войска на южном берегу Финского залива.

Башня медленно и плавно поворачивается. Теперь корабельные снаряды обрушиваются на южный берег.

А с фронта в эфир идут донесения корректировщиков: «Перелет, вынос вправо».

Командир боевой части склонился над планшетом и снова командует:

— Прицел меньше два, целик лево три... На поражение! Ревун!

Одно нажатие кнопки — и новые залпы сотрясают воздух; из дула орудий после каждой вспышки огня плывут тонкие струйки черного дыма.

Радист довольно улыбается, протягивая командиру очередное донесение с суши, состоящее всего из двух слов, таких коротких и в то же время многозначительных: «Цель накрыта».

Не все ли равно — накрыли снаряды крейсера «Киров» фашистские танки или рассеяли пехоту, сосредоточившуюся для атаки. Важно, что они поразили цель, значит, в трудные минуты помогли нашим солдатам, которые под Ленинградом дерутся из последних сил, отбивая по двадцать — тридцать атак в сутки.

* * *

Выполнив редакционное задание, я пошел к Вишневскому. В маленькой комнатушке общежития Дома Военно-Морского Флота с одним окном, выходящим во двор, мы встретились с Всеволодом Витальевичем. Он сидел за письменным столом без кителя, в синей телогрейке. Глаза у него были усталые. С вечера он не ложился.

— Я даже не заметил, как ночь прошла. Зато моя история Кронштадта близится к концу,— говорит он и показывает десятки страниц, исписанных бисерным почерком.

Не каждому в такое тревожное время, когда решалась судьба Ленинграда, могла прийти в голову мысль ежедневно рыться в архивных документах, терпеливо собирать материал для книги. Всеволод Витальевич делал это с большой охотой. Он знал, как нужна политработникам книга о героическом прошлом города-крепости, о славных традициях балтийских моряков. И, продолжая заниматься текущей оперативной работой, Вишневский одновременно изучал материалы и писал такую книгу.

За день Всеволод Витальевич успевал сделать все свои дела и к тому же посмотреть и отредактировать наши материалы. Он был теперь нашим военным и литературным начальником. И вот как это произошло.

Сразу же после таллинского похода и гибели многих литераторов Вишневский предложил пополнить наши ряды свежими силами и создать писательскую группу. Он получил «добро» от Политуправления флота, и вскоре нам всем, находившимся в частях далеко друг от друга, вручили короткую телефонограмму: явиться на набережную Красного Флота, 38, в Военно-морское издательство.

В назначенный день и час мы собрались.

Вишневский был рад этой встрече не меньше нас. Вопреки своей обычной серьезной сосредоточенности, он улыбался, неторопливо говорил насчет будущей работы группы: через печать, радио освещать боевые действия балтийских моряков, помогать флотским газетам, писать брошюры, листовки и все время накапливать «капитал» для будущего, чтобы после войны писать романы, повести, книги очерков и воспоминаний.

Планы у Вишневского были широкие, увлекающие. Мы с интересом слушали его. Сидя на диване, курил заметно поседевший в дни войны писатель Александр Зонин — автор романа о Нахимове, зажал в руках томик стихов и щурил близорукие глаза поэт Всеволод Азаров, куда-то в пространство был устремлен взгляд Анатолия Тарасенкова. Строгими и настороженными были лица Александра Крона, Ильи Амурского, Григория Мирошниченко.

— Сегодня наше оружие — перо и живое слово,— го-

ворил Вишневский, делая ударение на том, что мы должны не только писать, но побольше общаться с бойцами, чаще выступать, читать им свои произведения. Он изложил свою программу и затем объявил, что оргсекретарем группы назначается Анатолий Тарасенков, у которого есть опыт творческой и организационной работы в редакции журнала «Знамя».

Тарасенков встал и хотел было дать себе отвод, но тут Вишневский не на шутку рассердился и резко оборвал своего друга:

— Здесь не профсоюзное собрание. Приказ не обсуждается, он выполняется.— И таким же строгим голосом добавил: — Запишите, что требуется для группы.

Тарасенков опешил от неожиданности, но делать было нечего, он потянулся к блокноту и карандашу.

Вишневский диктовал задания: каждому члену группы обеспечить личное оружие, противогаз, гранаты, русские сапоги, теплый жилет. Подготовить комнату для работы машинистки, помещение для связного, определить для писателей места по боевой тревоге, поговорить с начальником отдела боевой подготовки штаба флота насчет того, чтобы нас всех включили в систему военного обучения.

— Теперь давайте выясним, на каких соединениях вы будете работать. У кого есть пожелания? — спросил Вишневский.

Каждый из нас сказал свое слово, и мы тут же были расписаны по соединениям.

На этом наша первая встреча закончилась, но мы долго не расходились: было радостно сознавать, что в эти трудные дни мы работаем не в одиночку, а дружной семьей.

Затем начались трудовые будни.

Обычно мы отправлялись в части и соединения на неопределенный срок. Собирали материал и часто там же писали статьи, очерки, отсылали их в газеты, на радио и, выполнив свой план, на очень короткое время возвращались в наш боевой «штаб», отчитывались перед Вишневским, встречались со своими товарищами и снова отправлялись туда, где люди жили напряженной боевой жизнью.

Всеволод Азаров и Григорий Мирошниченко подружились с балтийскими морскими летчиками и большую часть времени проводили на аэродромах; мы узнавали об

их существовании лишь по корреспонденциям о героях авиации, публиковавшимся в газетах за двумя подписями. В эту пору Григорий Мирошниченко собирал материал и начинал писать документальную повесть «Гвардии полковник Преображенский» — о замечательном летчике, который в 1941 году наносил первые бомбовые удары по Берлину.

Неутомимый Владимир Рудный находился на легендарном полуострове Ханко, познакомился там с бригадным комиссаром Раскиным, капитаном Граниным, летчиками Антоненко и Бринько, излазил с десантниками самые далекие и малоизвестные островки, не раз лежал под пулями и снарядами. У него накопилась масса материала, который невозможно было вместить ни в очерки, ни в рассказы. Впоследствии родилась интересная книга «Гангутцы», получившая признание читателей.

На линкоре «Октябрьская революция» поселился Александр Зонин и писал документальную повесть «Железные дни».

На базе подплава одной жизнью с подводниками жил Александр Крон, он редактировал многотиражку и тесно общался с матросами, офицерами, изучал их характеры; ему не нужно было придумывать конфликты, они происходили на глазах у Крона. Вот почему так правдивы и выразительны его рассказы о подводниках, а также пьеса «Офицер флота», поставленная во многих крупных театрах нашей страны.

Боеспособность писательского пера проявлялась в самых неожиданных жанрах.

Однажды Вишневский вернулся от начальника Пубалта, собрал нас и объявил, что нужно написать популярную брошюру на тему «Береги оружие!». Срок — одна неделя. Кто может выполнить задание?

— Откуда мы знаем, как нужно хранить оружие?! — с удивлением воскликнул кто-то из писателей.

Вишневский недовольно нахмурил брови:

— Что значит не знаем?! — возмущенно проговорил он.— У писателя-фронтовика не может быть слова «не знаем». Боец, придя на фронт, тоже не знает врага, а пройдет недельки две, и он уже бьет немца. Если вы не знаете материал — поезжайте на фронт, посмотрите, как люди обращаются с оружием. Изучите эту тему всесторонне, воспользуйтесь консультацией специалистов, и я уве-

рен — напишете так, что матросы и солдаты будут читать вашу брошюру, как художественный очерк.

Веские и убедительные слова Вишневского победили скептицизм некоторых наших товарищей. Через неделю брошюра в 25 страниц лежала на столе начальника Политуправления, а еще через несколько дней она была отпечатана и рассылалась по частям.

* * *

...Сейчас Вишневский подвел меня к карте, висевшей на стене, и стал объяснять трудную и сложную обстановку на Балтике.

— Балтийский флот после Таллина снова активизируется... Наши подлодки угрохали ряд транспортов. На наших минах у Ганге подорвалась на днях немецкая лодка. Скоро будем прощупывать оборону немцев вот на этом участке.— Вишневский показал на район Стрельна — Петергоф.

Мы поговорили о делах и пошли на прогулку в наш любимый Петровский парк.

Над бухтой — серой, молчаливой — заходит солнце. Тени древних деревьев ложатся на аллеи. Мы останавливаемся у бронзовой фигуры Петра. На граните высечена надпись: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело».

Смотрим на противоположный — южный берег Финского залива. Там темно-синий массив Петергофского парка, охваченный пожарами. Зарево полыхает над парком, отблески огня на миг выхватывают из полумрака Петергофский дворец и купол собора.

— Пойдемте домой,— говорит Всеволод Витальевич.— Мне нужно еще раз прочитать мое радиовыступление. Завтра я непременно должен быть в Ленинграде.

Всеволод Витальевич собирался на следующий день вылететь в Ленинград на самолете «У-2», но погода испортилась, небо заволокло тучами, и самолеты в воздух не выпускали. Тогда мы вместе решили отправиться на катере.

Сложили вещи в рюкзаки, повесили их за плечи и вышли во двор. Прошли несколько шагов, вдруг издалека донесся грохот взрывов. «Везет как утопленникам,— подумал я.— Весь день было спокойно, а тут, как на грех, началось...»

Обстреливались соседние улицы. Комендантские патрули поддерживали порядок и всех прохожих направляли в подворотни. Глядя на широкую золотую нашивку бригадного комиссара на рукаве Всеволода Вишневского, патрулирующие нас не останавливали, пропускали вперед.

Мы ускорили шаг и вышли к будке дежурного по катерам. Дежурный мичман удивился нашему появлению:

— Обстреливают, товарищ бригадный комиссар. Начальник штаба флота по боевому делу собирался и то отставил, а вам подавно незачем рисковать.

— У нас тоже боевое дело,— оборвал Вишневский.— Где катер?

У пристани стоял маленький штабной катерок. Старшина бросился в моторный отсек. У него что-то долго не ладилось. Наконец зарокотал мотор, и катер, отвалив от стенки, проскочил сквозь узкие ворота и запрыгал на высокой волне.

Пока катер проходил вдоль стенки, противник перенес огонь на военную гавань. Должен признаться, что мне было страшновато в эти самые минуты. Казалось, что немцы нас видят, вот-вот пошлют нам свой фугасный «гостинец», и от нашего катера останутся одни щепки.

Я зашел в каюту и стал наблюдать через иллюминатор, а Вишневский остался на палубе, с невозмутимым видом поглядывая в сторону гавани и делая очередную запись в своем дневнике.

Катер огибал Кронштадт, чтобы выйти к Лисьему Носу, откуда поездом мы могли попасть в Ленинград.

Несколько снарядов попали в нефтяные цистерны, возвышавшиеся на берегу. К небу взметнулись столбы огня, и над водой поплыл густой дым. Наблюдатели противника не могли не заметить этого, и теперь весь огонь был обрушен в район пожара. Мы проходили на расстоянии не более двухсот метров от баков, охваченных пламенем. Снаряды свистели над головой и падали то в воду, то в самое пожарище. Огонь бушевал с новой силой.

Катер уже обогнул Кронштадт, и мы ушли сравнительно далеко, но еще долго виднелось пламя горящих цистерн.

В сумерках катер пришвартовался к причалу Лисьего Носа, мы вышли на берег и по лесной дороге направились к вокзалу.

У срубленной сосны мы сделали привал. Сели на большой круглый пенек, и в эту минуту неожиданно прокатился удар. В нескольких шагах от нас из земли поднялись дула орудий, устремленные в небо. Нас ослепили огненные вспышки. Зенитные орудия били учащенно: над нами высоко в небе со стороны Финляндии плыли фашистские самолеты.

Вишневский сказал:

— Идут на Ленинград. Схватить бы их за горло и задушить к чертовой матери!

С воинским эшелоном мы добрались до города, вышли на затемненный перрон Финляндского вокзала. И тут били зенитки, а в воздухе метались лучи прожекторов.

— Куда теперь? — спросил я Вишневского.

— Разумеется, в Радиокомитет.

— Но ведь тревога, трамваи не ходят!

— А ноги на что даны? — резко ответил он, подтянув портупею.

Мы пошли к Литейному мосту.

Вскоре из радиорупоров послышались звуки отбоя. Двинулись трамваи, и мы благополучно добрались до Радиокомитета.

Сообщили, что студия свободна. Едва мы поднялись на третий этаж, как снова раздался сигнал воздушной тревоги. Худенькая, маленькая девушка — сотрудница отдела политвещания — провела нас в студию. Заметив, что она волнуется, что руки ее дрожат, Всеволод Витальевич дружески погладил девушку по плечу:

— Ничего, милая, мужайтесь. Сейчас мы им ответим по-нашему, по-балтийски.

Девушка улыбнулась, надела наушники, нажала кнопку, и у нас перед глазами вспыхнуло красное табло: «Внимание, микрофон включен!»

Вишневский, как солдат по команде «Смирно», выпрямился, опустил руки по швам и с обычной страстностью начал говорить. Его выступление кончалось словами:

— И если будет нужно, мы погибнем в борьбе, но город наш не умрет и никогда не покорится врагу.

ТРУДНЫЕ ДНИ

Никто не припомнит такой ранней зимы.

Кольцо блокады замкнулось вокруг Ленинграда, и ко всем нашим невзгодам — артиллерийским обстрелам, бом-

бежкам, недоеданию — прибавились еще ужасающие морозы.

Наша писательская группа живет на Васильевском острове, в здании Военно-морской академии.

Редко выдается день, когда мы все налицо. Вечером, закончив свои дела, сидим возле печки-времянки, и в такие минуты как-то особенно остро ощущается товарищество, близость, единомыслие. Появляется желание поделиться с товарищами своими думами и наблюдениями, тем более, что любому из нас есть что рассказать о поездках на корабли, в части, о встречах с интересными людьми. Не обходится без воспоминаний о таллинской эпопее, без споров (уже в который раз!), правильно ли поступило командование, собрав весь флот вместе, или лучше было эвакуировать корабли поодиночке либо небольшими отрядами. И очень часто разговор завершается мечтами о будущем, о путях развития послевоенной литературы. Тут самые оригинальные суждения можно услышать от наших товарищей, и все сходятся на том, что надоели отжившие, осторожные литературные приемы, штампы и привычки. «Все это надо ломать и создавать литературу широкую и откровенную», — говорит Вишневский.

Мы приспосабливаемся к блокадному быту — к холоду, дальним пешим походам и многому другому. Только никак не привыкнешь к пайку, который сокращается день ото дня. Обед — вода с двумя ложками соевых бобов, на второе — горсточка каши. Вечером — сто граммов хлеба и кипяток.

Не все в нашей группе одинаково переносят недоедание. Самая разительная перемена произошла в последнее время с Анатолием Тарасенковым. Он похудел, осунулся, длинное лицо вытянулось еще больше, глаза все время блуждают, человек не переставая думает и говорит о еде. За час до обеда он бросает работу, нервно расхаживает по комнате, смотрит на часы, и на лице одна мысль: «Ох и долго же тянется время!» А когда наступает желанная пора и мы идем вниз, в столовую, Анатолий садится за стол, «залпом» съедает свою порцию и потом долго, с сожалением, голодными глазами смотрит на пустую тарелку.

...Мы переживаем трудные и очень страшные дни.

Я снимаю телефонную трубку и нажимаю кнопку.

— Алло, группа «А», группа «А»! — в исступлении

кричу я, но не слышу даже обычного треска. Нажимаю другую кнопку.

— Алло, группа «Б»!.. Группа «Б»!

Бесполезно, хоть разбей аппарат! В городе нет электричества, несколько дней молчит радио, сегодня выключен телефон — последнее средство связи с внешним миром. Мы не слышим сводок Совинформбюро, не знаем, какие события произошли на Ленинградском фронте, решительно ничего не знаем, что творится за пределами наших четырех стен.

— Нужно с кем-то наладить связь,— предлагает Всеволод Вишневский,— хотя бы с редакцией фронтовой газеты «На страже Родины», и по пути зайти на почтамт, порыться в письмах, нет ли там весточек для нас.

— Ладно, мы с Михайловским пойдем, нам заодно надо отправить корреспонденцию,— говорит Анатолий Тарасенков.

Каждый член нашей маленькой семьи спешит дать нам свое поручение.

— Зайдите в отделение «Известий», там в ящике стола осталась пачка моих папирос.

— Заодно узнайте судьбу моих стихов, — добавляет Азаров.

— Ставку делайте на письма и газеты, — решительным тоном говорит Вишневский.

Записываем все поручения. Тарасенков берет свой большой портфель с рукописями. По слухам, мороз доходит до сорока градусов. Мы навьючиваем на себя все теплые вещи: свитера, меховые жилеты — и отправляемся в поход.

Идем безмолвно, каждый думает о своем. Приближаемся к Неве. На льду длинная цепочка людей с ведрами, чайниками, бадейками вытянулась в очередь к проруби. Вдалеке гремит орудийная канонада, небо затянуто тучами.

Люди, которых мы встречаем, тащат дрова, воду, какой-то жалкий домашний скарб, детей, укутанных в шерстяные платки и одеяла. Люди везут своих ближних на кладбище. И никто не плачет, ибо смерть стала у нас обычным явлением, к ней привыкли...

Добираемся до Главного штаба и скрываемся в темном подъезде редакции газеты Ленинградского фронта «На страже Родины». Идем по неосвещенному коридору.

В конце коридора, в самой крохотной комнатке редакции, горит свечка. Машинистка Саша, круглолицая, но не краснощекая, как в мирное время, под диктовку печатает статью, а сотрудники разместились вокруг стола со свечкой и творят что-то для очередного номера.

Редактор, бригадный комиссар Фомиченко, сидит у себя в кабинете в кожаном пальто, подняв меховой воротник, и поминутно растирает окоченевшие руки. Он рад нашему приходу.

— Сейчас редко кто к нам заглядывает. Все ищут тепла, а у нас... — Фомиченко складывает рупором ладони, и струя пара из его рта врывается в ледяную атмосферу.

— Ну, что на Балтике?

Мы рассказываем все, что нам известно.

— Можно получить сегодняшний номер «На страже Родины»?

— Еще не вышел. Набран, сверстан, только отпечатать никак не можем — нет электроэнергии. А вручную сил не хватает, сами знаете, люди отощали, еле живы. Могу дать первые оттиски полос, вы там развесьте в штабе флота — пусть читают.

— Ну что же, и это хорошо.

Тарасенков прячет оттиски в портфель и вынимает нашу коллективную статью о Балтике, написанную для бойцов Ленинградского фронта. Редактор доволен.

— Хорошо, дадим в ближайший номер.

— Как дела на фронте?

— Тихо. Противник окопался. Больше не наступает. Теперь ставку делает на голод и артиллерийские обстрелы. Бросает листовки, грозится задушить блокадой. В Колпине перебежал к нам один австриец, говорит: думали захватить Ленинград до наступления зимы, а теперь все надежды у них на весну.

Анатолий Тарасенков вынул блокнот и записывает дословно весь наш разговор с редактором.

— Вы центральных газет не имеете?

— Ну что вы, — махнул рукой Фомиченко. — Какие тут газеты, целый день добиваемся от ТАСС сводки Информбюро. И никак не можем получить. Хотел послать машину на аэродром, узнать что-нибудь от летчиков, прилетевших с Большой земли, да, как на грех, ни капли горючего.

Мы уславливаемся, что, пока не включат телефон, бу-

дем ежедневно приходить в редакцию за материалами, и отправляемся дальше.

На Главном почтамте нас встречает сторож.

— Что нужно? — сердито спрашивает он.

— Да вот письма посмотреть.

Он смотрит на нас уже не со злобой, а удивленно, точно мы с неба свалились:

— Какие вам письма?

— Самые обыкновенные письма с Большой земли, — поясняет Тарасенков.

— Пройдите один. Там узнаете.

Анатолий проходит в большой зал и скоро возвращается с растерянным выражением лица.

— Понимаешь, там сотни мешков, миллионы писем, надо прийти специально и засесть на полдня. А я еле на ногах держусь. Так что давай оставим это дело до лучших дней.

— Вишневский будет ругаться. Мы и центральных газет не достали и без писем явимся.

— Пусть ругается. Я больше не могу.

Мы идем обратно.

Тарасенков очень быстро устает и, совершенно обессиленный, садится на снег. Я вижу, как его щеки белеют, снимаю рукавицу и оттираю их, но моя рука тоже коченеет. Помогаю ему подняться, и мы, еле передвигая ноги, добираемся до дому.

Нас обступают со всех сторон и требуют новостей, но Тарасенков едва смог снять шинель и доползти до кровати. Он не в силах говорить. Мы приносим ему тарелку с несколькими ложечками ячневой каши и стакан горячего чая.

Толя делает отчаянное усилие, чтобы подняться. Он проглатывает кашу, в несколько глотков выпивает чай и опять падает на подушку.

Вишневский вызвал врача. Тот бегло осмотрел нашего друга и сразу сделал заключение:

— Дистрофия. Нужно госпитализировать.

Утром пришла скорая помощь.

Толя смотрел мутными, скорбными глазами, будто потерял всякую надежду выжить. На него не действовали ни ободряющие слова Вишневского, ни наши дружеские пожелания. Он был безразличен ко всему, и, когда карета скорой помощи отошла от подъезда Академии и по-

мчалась, поднимая снежную пыль, нам всем тоже взгрустнулось, и долго мы стояли молча, охваченные тревогой за жизнь нашего товарища.

Примерно через неделю мы пошли навестить Тарасенкова.

Путь с Васильевского острова на Петроградскую сторону показался нам очень далеким. Ноги увязали в глубоком снегу. Узенькими тропками, по которым тянулся бесконечный людской поток, подошли к большому зданию на улице Льва Толстого, где помещался военно-морской госпиталь.

Получив разрешение проведать Тарасенкова, мы поднялись на третий этаж и в маленькой проходной палате нашли своего друга.

Лежа на кровати под двумя теплыми одеялами, он что-то писал.

Увидев нас, то ли от неожиданности, то ли от радости он выронил карандаш и сказал удивленно:

— Не верю, это сон или наяву? Ребята! Как вы добрались сюда?

Тарасенков был все такой же бледный, но в нем уже чувствовался первый прилив бодрости.

— Посмотрите туда, — он показал на крайнюю койку. — Там лежит молодой парень. На почве дистрофии он слегка тронулся. По ночам встает с постели, с щипчиками в руках шарит по нашим тумбочкам и от каждого куска сахару аккуратно откалывает маленькую дольку. Мы все слышим, но делаем вид, что спим.

Во время нашего разговора в палату вошел врач, сел у койки, которая стояла рядом с койкой Анатолия, и обратился к лежавшему там забинтованному человеку:

— Ну, как дела?

— Плохо, доктор, очень плохо, — хриплым голосом ответил раненый. — Может, меня к тому таллинскому доктору отправить. Она хоть и молодушка, а все равно что родная мать. Мы как в тот раз вылечились, пришли на фронт, так первый снаряд немцам за нее послали.

— Кто же такая? — не мог понять врач.

— Молодая, красивая; говорят, в таллинскую полундру сама плавала и раненого спасала, — прохрипел раненый.

— А-а, теперь ясно, о ком вы говорите, — догадался врач. — Татьяна Ивановна Разумова, да?

— Она, она, — обрадовался раненый. — Она все может, любую операцию. С того света нашего брата возвращала. Вот я и хочу к ней.

— Мы не можем, голубчик, этого сделать, она служит не в нашем госпитале, — ласково сказал врач.

— Знаю, что не в вашем, — не унимался раненый. — Где она лечит, туда и отправьте.

Я очень внимательно прислушивался к этому разговору, потому что уже достаточно хорошо знал, кто такая Татьяна Ивановна Разумова, и по рассказам Шувалова, и по статьям, что в ту пору появлялись в газетах.

— Удивительное дело. Об этой женщине ходят настоящие легенды, — заметил Тарасенков. — Хотя бы одним глазом посмотреть, как она выглядит.

Мы знали, чем можно больше всего обрадовать Тарасенкова: вручили ему толстое письмо от жены. Оно было доставлено по воздуху из Ташкента в Москву, а затем с попутным самолетом в Ленинград.

Анатолий выхватил письмо из моих рук и, ничего не замечая, углубился в чтение. Он пробегал глазами строки, и на его исхудавшем лице появилась счастливая улыбка.

— Все в порядке! — воскликнул он. — Митька здоров! Это самое главное.

Он читал дальше, и лицо его начинало хмуриться.

— А живется ей там с сыном не сладко, — с разочарованием сказал Тарасенков.

Мы стали собираться в обратный путь. Анатолий вручил нам несколько своих статей, написанных на госпитальной койке для разных газет, и на прощание дружески наказывал:

— Вы уж, ребята, не тратьте зря силы, не ходите ко мне. Думаю, что через недельку я выпишусь и сам приду.

Действительно, он скоро поправился и вернулся к нам в группу.

В ДОМЕ НА КОЛОКОЛЬНОЙ

С продовольствием в Ленинграде день ото дня все хуже и хуже. Уже несколько раз сокращалась хлебная норма. Наш военно-морской суточный рацион предельно скромен. Даже горячая вода у нас нормируется. Утром стакан кипятку — и ни капли больше! Оставшаяся от чая пара тоненьких ломтиков хлеба общим весом в

50 граммов и малюсенький, почти невесомый кусочек масла переносятся на обед.

После обеда я отправился в город. На улице меня кто-то окликнул. Я оглянулся. Передо мной стоял совершенно истощенный человек в полупальто и черной барашковой шапке. Куда-то в пространство смотрели безжизненные, стеклянные глаза.

— Вы, конечно, меня не узнаете, — медленно сказал человек. — Не удивительно. Мы с вами не виделись целую вечность. Может быть, вспомните техника Рохлина...

Конечно, я вспомнил его. Человек на редкость скромный и трудолюбивый, он работал техником на одном крупном заводе, который вооружал наши корабли и береговые батареи новейшей артиллерией.

— Пушки-то наши дают немцам жару, — сказал он и слабо улыбнулся.

— Неужели и сейчас вы работаете?

— Раз флот живет, то и мы обязаны жить.

— Как же вы добираетесь в такую даль?

— Пешком. Туда и обратно двадцать четыре километра. Все время ходил, бодрился, а вот вчера на улице упал два раза. Ноги тяжеловаты стали. Завтра, пожалуй, останусь ночевать в цехе. Многие так и живут на заводе, а мне нужно ходить, семью поддерживать.

— А как жена, дочка?

— Живы пока. Приходите к нам. Увидите сами.

Я взял его под руку, и мы пошли сперва по Владимирскому проспекту, потом повернули на Колокольную.

Пока мы поднимались на пятый этаж, Георгий Михайлович несколько раз садился на подоконник и отдыхал.

Вошли в темную, словно вымершую, коммунальную квартиру; я ощупью пробирался по коридору за Рохлиным. Он открыл дверь, мы вошли в комнату, наполненную запахом гари.

Возле печки, на корточках, в пальто и шерстяном платке хлопотала женщина с лицом, измазанным сажей. Это была жена Рохлина — Валентина Ефимовна. На широкой тахте лежала девочка лет шести с большими грустными глазенками.

— Узнаешь? — спросил жену Рохлин.

— Как же, как же. Очень рада. Входите, пожалуйста.

— Что у тебя нового? Как ноги? — продолжал муж.

— Пухнут. Насилу встала, — безразличным тоном от-

ветила Валентина Ефимовна. И, обернувшись ко мне, сказала: — Вот так и живем. Ходила на рынок, обменяла ботинки мужа на две плитки столярного клея. Готовлю обед. Сегодня у нас холодец, испробуете?

Женщина в двадцать шесть лет походила на глубокую старуху. Тонкими, высохшими руками она ломала этажерку и медленно подбрасывала щепки в печурку, чтобы чуть-чуть поддерживать огонек.

Девочка лежала все такая же печальная и безучастная ко всему. Отец подсел к ней и вынул из кармана пакетик. В бумаге оказался носовой платок, а в него были завернуты два тоненьких ломтика хлеба. Он протянул хлеб дочери. Светлана поднялась и стала жадно есть.

Мы сели за стол. В тарелках плавала слизь, сдобренная перцем и солью. Валентина Ефимовна предложила лепешки из отрубей.

— До войны я купила в аптеке два пакетика отрубей. Валялись они в сундуке, вчера только нашла. Вот счастье-то. На пять лепешек хватило.

Лепешки, так же как и студень, еще не успевший застыть, горчили, но все ели их с аппетитом, как самое лакомое блюдо.

Наступили сумерки, и хозяйка зажгла коптилку. В печи уже не теплился огонек, и почувствовалась прохлада. Я поблагодарил хозяев и ушел.

Ленинград был почти безлюден в эту морозную ночь. В воздухе веяло ледяным дыханием.

По Владимирскому проспекту медленно брели одинокие путники. Посреди улицы, как снежные крепости, возвышались темные громады трамваев и троллейбусов. Больше месяца они стояли как вкопанные, запорошенные снегом, обросшие льдом.

На Невском было так же темно, и лишь изредка проносились машины, мигая синими огнями. Много дней на улицах снег не убирался, к тому же утром разразилась метель. Люди шли, как в открытом поле, по колена проваливаясь в снег.

В этот час противник обстреливал набережную Невы, и несколько снарядов попало в здание на бульваре Профсоюзов. Проход и проезд были закрыты. На мосту Лейтенанта Шмидта мерцал красный огонек, и толпа людей рассматривала зияющую пробоину, которую образовал снаряд крупного калибра.

Только ночью я возвратился в наше общежитие. Война изменила облик этого красивого здания. В комнатах появились железные печки, и почти из всех окон тянулись тонкие струйки дыма. Мои товарищи еще бодрствовали, сидели вокруг времянки и читали вслух «Севастопольские рассказы».

Трудно мне было заснуть в эту ночь. Я долго думал о семье Рохлина и о тысячах таких же ленинградских семей — физически слабых, истощенных голодом, но не павших духом, готовых продолжать борьбу.

Прошло несколько дней. Меня вызвали к телефону. Я удивился и обрадовался, что много дней молчавший телефон вдруг заработал. В трубке я услышал женский плач. Несколько минут я не мог понять ни слова, но наконец узнал по голосу Валентину Ефимовну.

— Помогите, он умирает, — сказала она.

Придя на Колокольную, я увидел Георгия Михайловича лежащим на тахте. Пустым, стеклянным взглядом смотрел он в потолок и произносил какие-то странные слова. Я взял его за руку, прикоснулся к окоченевшим пальцам и понял, что ему осталось жить считанные часы, может быть, даже минуты. В полузабытьи он говорил:

— Как часто стали умирать... Нет, я не умру. У меня семья, завод... Я не имею права...

Я бросился к ближайшему телефону. Валентина Ефимовна не отставала от меня.

— Хождение его подорвало, — говорила она. — По двадцать пять километров в день ходил. Разве это мыслимо при таком питании! Директор разрешил ему два раза в неделю отдыхать, а он ни за что. Сами знаете его характер. Твердил свое: «Мы выполняем задание флота. Я коммунист и должен все силы отдать работе». Ну вот и отдал. Вчера упал на улице. Хорошо, что бойцы подоспели и на руках принесли домой.

«Как же быть с Рохлиным?» Я решил посоветоваться с Всеволодом Вишневским. Позвонил ему, рассказал обо всем и спросил, что делать.

Вишневский посоветовал:

— Звоните командующему флотом от моего имени.

— Товарищ вице-адмирал, — сказал я. — Звоню по поручению Вишневского. Умирает от голода техник Рохлин. Он пушки отливал для боевых кораблей, а сейчас безнадежно плох.

— Что предлагаете? — спросил Владимир Филиппович Трибуц.

— Разрешите поместить его в морской госпиталь.

— Добро! Сейчас дам указание.

Вскоре на квартиру Рохлиных прибыла скорая помощь, и Георгий Михайлович, без сознания, со слабыми признаками жизни, был отправлен в госпиталь. Ему впрыскивали камфару, всю ночь согревали коньяком и какао. Он провел в госпитале немногим больше месяца. За это время мы виделись с ним всего два раза.

Когда Рохлина выписали из госпиталя, он на следующий же день отправился на завод.

— Мы решили эвакуировать тебя с семьей, — сказал ему секретарь партийного комитета.

— Нет, не выйдет! — решительно заявил он.

— Это почему же, сил не хватит собраться? Так мы тебе поможем.

— Не в этом дело. Пока завод здесь, я никуда не уеду.

И он настоял на своем...

ГОЛОС «ПРАВДЫ»

Мрачные дни. Кажется, иссякают последние силы, дистрофия валит нас с ног. Между тем Вишневский попрежнему бодрится и внушает нам:

— Боритесь с усталостью. Побольше двигайтесь. Лежать сейчас крайне опасно. Двигаться — это значит поддерживать тонус жизни.

Он сам непрерывно болеет, но старается ходить, работать и нам дает различные поручения, связанные с походами в город.

Чаще всего наш маршрут ведет к Московскому вокзалу и дальше на Херсонскую улицу, 12, где высится серое здание, облицованное гранитом, с широкими окнами, напоминающими витрины универсального магазина. Это типография «Правды» и ленинградское отделение редакции.

Если, приближаясь к этому дому, слышишь гул ротационной машины, на душе сразу делается радостно и легко. Тогда ускоряешь шаг и почти бежишь, зная, что через несколько минут директор типографии Николай Александрович Куликов покажет тебе свежий номер

«Правды» и ты еще раз почувствуешь, что мы не одиноки, что за нами большая страна, превратившаяся в вооруженный лагерь, а мы находимся на ее переднем крае. Живет надежда, что вместе с матрицами прилетели письма от родных, живые весточки с Большой земли, которая кажется нам теперь такой далекой, почти недосягаемой.

Но, увы, матрицы проделывают длинный путь. У них несколько пересадок. Множество непредвиденных обстоятельств мешает им вовремя добраться до Ленинграда: то сообщают, что «плохая погода», то летчики получили по радио приказание изменить маршрут. А бывает еще хуже: у Куликова на столе лежит телеграмма о том, что самолет с матрицами под вечер вылетел из Москвы, уже ночь, а его нет и нет... Пропал самолет, как иголка в стоге сена. Только на другой день сообщают: попал он в «заваруху» над Ладожским озером и сбит немецкими истребителями.

В такой день на Херсонской улице тягостная тишина.

В проходной «Правды» неподвижно восседает на стуле фигура в тулупе. Трудно понять — мужчина это или женщина. Лицо закутано платком, и осталась узенькая щелочка, через которую смотрят бесцветные глаза, устремленные в пространство.

По всему зданию холодно и пусто. Не видно людей, можно подумать, что весь дом вымер. Но это далеко не так.

Есть матрицы или нет их, а люди все равно приходят на работу. Они не могут не прийти. Разве только смерть помешает им явиться в полуденный час, когда открывается столовая и выдается дополнительное питание, без выреза талонов: тарелка щей и две дурандовые лепешки, черные, как земля, и твердые, как камень. Но люди их грызут или сосут с упоением. Роскошная еда по нынешним временам.

Часами люди просиживают за круглыми столиками, покрытыми клеенкой, наслаждаясь теплом и запахом кухни. И среди них особенно заметна высокая костлявая фигура заведующего печатным цехом Михаила Гавриловича Костина. У всех нынче грустные, печальные лица, улыбка стала редкостью в наши дни, но лицо Михаила Гавриловича особенное, оно совсем неподвижно, на нем запечатлелась большая личная трагедия,

Мы с Костиным старые знакомые. Когда-то вместе работали в «Красной газете». Помню, я начинал свою трудовую жизнь, а он был уже солидным мастером, «командовал» первой газетной ротацией.

Добрый семьянин, Михаил Гаврилович всегда гордился своей большой семьей, говорил, что это целая династия и что после него будет жить и продолжаться род Костиных. Он не раз приносил и показывал нам фотографии своих взрослых сыновей и невесток. Теперь он в большом горе. Потерял самого любимого сына. Он служил механиком на теплоходе «Сибирь». Немцы жестоко расправились с этим госпитальным судном, отмеченным большими красными крестами, которые были видны с воздуха. Они потопили корабль, а затем расстреливали раненых, пытавшихся спастись в шлюпках и на плотах. Погибли многие: и раненые, и врачи, погиб и сын нашего Михаила Гавриловича.

Рассказывая об этом, он сидит, сгорбившийся и жалкий, потерявший свою былую осанку. Узенькие ладони с длинными сухими пальцами лежат на коленях, а глаза все время опущены вниз. Мне трудно с ним говорить, потому что не найти слов, которые могут его утешить. Впрочем, он в этом и не нуждается. Он слишком хорошо понимает, во имя чего наш народ вынужден нести жертвы и кто виновен в гибели его сына.

— Ничего, переживу. Мое горе навсегда при мне останется, — говорит он и, сделав усилие, поднимается, медленной, старческой походкой подходит к окну, через которое видна заснеженная улица, и добавляет: — Теперь одна забота — город наш спасти.

Спасти родной город — в этом видит смысл жизни не один Михаил Гаврилович Костин. Все ленинградцы живут этой мыслью. Только каждый выражает ее по-своему. Но во имя этой святой цели люди голодают и мерзнут, отказываясь эвакуироваться. Они не страшатся умереть, лишь бы здесь, в родном городе, лишь бы сознавать, что ему отдана жизнь. Это и есть наша непреоборимая сила, которая неизмеримо сильнее голода, вражеских снарядов и бомб, — сила народа, состоящего вот из таких тружеников, как Михаил Гаврилович Костин. Ему тяжело, он сгорбился под тяжестью своего горя, ходит по этажам и не может найти покоя. Единственное, что выводит его из состояния апатии, — это работа.

Едва послышится гудок машины и загремят железные засовы ворот, Михаил Гаврилович спешит по ступенькам вниз, в проходную. Невесть откуда у этого предельно истощенного человека появляются новые, нерастраченные силы. Он обретает завидную подвижность, бежит к машине, принимает из рук шофера круглый картонный футляр, быстро вскрывает его и извлекает оттуда листы твердого серого картона — матрицы очередного номера «Правды».

Он спешит с этой драгоценной ношей в стереотипный цех и, застыв на пороге, кричит рабочим уже совсем другим, повеселевшим голосом:

— Давайте, ребятки, быстрее, а я пойду готовить машину.

— Сейчас, одним мигом, — отвечают ему.

И он уже у себя в ротации, что-то проверяет, примеряет, налаживает.

Дверь открывается, несут стереотипные полосы. Крепят на барабаны. Сухая рука Костина включает рубильник.

Зашумела машина. Закрутились барабаны — и потекли сотни и тысячи свежих номеров «Правды».

Сейчас Костин выглядит совсем по-иному. Он больше не вызывает жалость. В нем ощущается бодрость, энергия, быть может потому, что он создает оружие, которое имеет не меньшую силу, чем мины, бомбы, снаряды. Недаром радиокомментаторы из Берлина полемизируют с «Правдой» о судьбах Ленинграда. Их приводит в ярость голос «Правды» о том, что Ленинград всегда был городом русским, советским и немцы смогут пройти по его улицам не иначе как только пленными.

* * *

Пока печатается тираж «Правды», к зданию на Херсонской улице подходят почтовые машины, фронтовые «газики», «виллисы», зеленые армейские мотоциклы. Сюда бредут по снегу и одинокие путники — мужчины, женщины, подростки.

— Вам что нужно? — спрашивает сторож человека в пенсне, с ног до головы почти запеленутого в большущий женский шерстяной платок.

— Я, дружок, с Тверской улицы. Мне бы газетку.

У нас все жильцы отощали, нет силы подняться. Один я в строю. Вот меня и прислали. Не откажите в любезности. Сами знаете, газета сейчас цену хлеба имеет.

Сторож извлекает из кармана тулупа свою газету и молча подает мужчине.

— Спасибо, спасибо, дружок, — лепечет человек в пенсне. — Не обессудьте, если я еще вас побеспокою.

Он торопливо засовывает газету под пальто и выходит из проходной, продолжая отвешивать поклоны сердобольному сторожу.

ДРУЖБА С УЧЕНЫМ

На Неве, против Зимнего дворца, как будто вросла в ледяное поле плавбаза «Полярная звезда». К ее бортам прижались узенькие длинные корпуса подводных лодок.

Лодки недавно пришли из походов. Одна из них к Октябрьским праздникам возвратилась от берегов Германии, куда ходила в разведку. Другие лодки потопили по нескольку вражеских кораблей и на обратном пути пробивались сквозь льды, нынче раньше обычного появившиеся в Финском заливе.

А сейчас все силы брошены на защиту Ленинграда, и подводники заняты не совсем обычным делом.

В метели и в тихие морозные дни на набережных и площадях они изучают приемы штыкового и гранатного боя, постигают тактику уличных боев.

Всякое может случиться. Вдруг фашисты прорвут фронт и бои начнутся на улицах Ленинграда. Тогда вступит в дело целый полк, состоящий из моряков-подводников. Сконструированы и построены десятки специальных саней, на которых легко можно установить пушки с подводных лодок.

Командиры, получившие в училищах специальность штурмана, минера, инженер-механика, сошли с кораблей на землю, командуют стрелковыми взводами и ротами, составленными из трюмных, торпедистов, акустиков.

После занятий подводники возвращаются на корабль, обедают и вторую половину дня заняты ремонтом механизмов.

«Полярная звезда» — один из тех немногих уголков города, где по магистрали идет пар, горит свет, работает

баня, но зато на каждый квадратный метр приходится не меньше трех — четырех жителей.

Командир базы Александр Климов — высокий, полный моряк, с большой окладистой бородой — встречает гостей радушно и приветливо.

Он хороший службист и страстно любит рапортовать начальству. Иногда я у него ночую.

Как-то раз рано утром нас разбудили. Дежурный сообщил, что к кораблю идет машина командира бригады подводных лодок Героя Советского Союза Трипольского, того самого Трипольского, который волновался в Таллине по поводу исчезнувшей лодки, а затем так искренне радовался, когда она вернулась.

Климов вмиг сорвался с койки, еле успел надеть шинель, выйти к трапу и, немного сконфуженный, встретил комбрига у дверей своей каюты.

Александр Владимирович Трипольский, обычно вежливый и добродушный, на сей раз разгневался.

— Долго спите, товарищ начальник, — сказал он с укоризной. — Можно подумать, что у вас нет никаких обязанностей.

— Виноват!.. Виноват, товарищ капитан первого ранга, мы тут поздно засиделись и потому малость проспали, — пытался оправдаться Климов, но Трипольский махнул рукой, дав понять, что разговор на эту тему закончен.

— Чем у вас заняты люди? — спросил Трипольский.

— Ремонтом, боевой подготовкой, товарищ комбриг.

— А еще?

— Осмелюсь доложить, что и этого хватает, — отчеканил Климов.

— Ну так вот, будут у вас еще дополнительные дела. Садитесь и давайте все обсудим.

Испуганный Климов осторожно присел на край стула.

Трипольский продолжал:

— Нам поручили своими силами взяться за восстановление главной водонапорной станции. Надо дать воду хотя бы в центральный район. Работы уйма, придется отмораживать трубы, ремонтировать дизеля. Трюмных надо послать лучших, самых опытных. Давайте списки, посмотрим, с каких лодок можно снять людей.

Трипольский взял списки:

— Вот начнем с триста третьей.

— Нельзя, — решительно заявил Климов. — С этой лодки все трюмные посланы на восстановление табачной фабрики.

Трипольский отложил листок и взял новый:

— На триста одиннадцатой тоже хорошие специалисты.

— Уехали на заготовку дров.

Трипольский терпеливо перекладывал листки с одного края стола на другой, пока не нашел тех, кому можно поручить это задание. Когда все было решено, Трипольский направился в мастерскую для ремонта механизмов лодок, оборудованную здесь же на корабле. Мастерская помещалась в трюме. Матросы работали, чуть не задевая локтями друг друга.

Матрос Кучеренко копался в сложном сплетении проводов гидроакустического прибора, его сосед разбирал мотор.

Они вскочили, увидев Трипольского, но комбриг сделал знак — продолжать работу. Он подошел к электрикам и сказал:

— Вам есть поручение.

Матросы встали и насторожились.

— Эрмитаж знаете?

— Еще бы, напротив нас будет.

— Мы там летом картины и гробницу Александра Невского упаковывали.

— Правильно, — сказал Трипольский. — Стало быть, вы должны знать и директора Эрмитажа академика Орбели.

— Знаем, ученый человек, — почтительно отозвались матросы.

Трипольский продолжал:

— Сейчас он пишет научный труд, а в кабинете у него адская тьма. Ходит с фонариком «жиу-жиу». Мозоли на руке натер. Мы случайно узнали об этом и обещали помочь. Надо побывать у него сегодня же и провести с корабля электричество прямо к нему в кабинет.

— Это мы вмиг сделаем, товарищ комбриг, — сказал старшина электриков и тут же вспомнил и рассказал, как в первые дни войны эвакуировался Эрмитаж, вывозилось более миллиона экспонатов. Упаковкой картин,

скульптур, различных антикварных вещей занимались сотни людей. И к ним примкнули курсанты Военно-морского училища имени Фрунзе.

Они явились тогда в кабинет академика И. А. Орбели и доложили:

— Прибыли в ваше распоряжение! Что прикажете делать?

Иосиф Абгарович сидел у телефона — ему должны были звонить из Москвы.

— Я сейчас не могу отсюда уйти, — пояснил он курсантам, — а вы сами, пожалуй, не найдете зал с картинами Ван-Дейка. Там научные сотрудники заняты упаковкой. Им нужно помочь.

— Почему же не найдем? Найдем! Не раз у вас в музее бывали.

— Да нет. Это дальний зал.

— Мы знаем. Разрешите идти?

Академик Орбели только развел руками:

— Ну что ж, попробуйте.

Поговорил по телефону и поспешил за курсантами, убежденный, что они не найдут зала с картинами Ван-Дейка. Каково же было его удивление, когда, придя в зал, он застал там курсантов, приступивших к упаковке картин.

— Сами нашли? Молодцы! — сказал Орбели.

— Что мы, Ван-Дейка не знаем! — обиженным тоном заметил кто-то из курсантов. — Сколько раз ходили к вам на экскурсии.

Этот случай остался в памяти старшины, и, быть может, потому он с таким жаром принял теперь поручение Трипольского.

В тот же вечер моряки-подводники протянули провод в кабинет ученого. Возвратившись, старшина рассказывал:

— Пришли мы, а там тьма хоть глаз выколи. Подвели проволоку к настольной лампе, дали свет. Академик обрадовался, даже в ладоши захлопал. Потом сели, закурили. Он на больные ноги жалуется; глянули мы под стол, а там электропечка бездействующая. Ну, мы мигом подвели контакты к печке, и спираль стала накаляться. Академик не знал, как нас благодарить. Вспомнил, что во время эвакуации моряки упаковывали картины Ван-Дейка, а мы говорим: «Так это мы и рабо-

тали». Он еще больше обрадовался. «Ну, — говорит, — в долгу я перед флотом, после войны рассчитаемся». Потом мы ему неожиданно вопросик подбросили: «У вас баня есть?» Он очень удивился: «Какая же в Эрмитаже может быть баня?» А мы ему говорим: «В таком случае, просим к нам на «Полярную звезду». У нас по субботам можно вымыться».

Академик Орбели принял предложение подводников и стал частым гостем на «Полярной звезде». Но еще чаще видели его на линкоре «Октябрьская революция», на крейсере «Киров», на миноносцах, тральщиках, «морских охотниках». За время блокады он выступил более двухсот раз с докладами о военном прошлом великого русского народа и на другие темы. Он считался своим человеком среди балтийских моряков. Он был их другом.

НА КОРАБЛЯХ ЗАЛЕЧИВАЮТ РАНЫ

В эти тяжелые дни наш флот живет, борется с врагом и готовится к летним плаваниям. На страницах газеты «Красный Балтийский флот» рядом со статьями и очерками о боевых схватках можно прочитать не менее примечательные материалы о том, как люди, у которых ноги подкашиваются от голода и усталости, ремонтируют корабли, сражавшиеся при обороне Таллина, Ханко, Ленинграда.

Я побывал на судостроительном заводе и понял: то, что делают рабочие и моряки на ремонте кораблей, не укладывается в обычное понятие трудового подвига. Нет, это нечто более высокое и неповторимое.

* * *

Инженер Илья Семенович Кушнарев был один, когда я вошел к нему в большой холодный кабинет. Он сидел за письменным столом в ватнике и старенькой барашковой шапке-ушанке, растирая коченеющие руки, и читал какое-то письмо.

Мы поздоровались, и он первым делом протянул мне бумагу со штампом «Военный совет Краснознаменного Балтийского флота». В этом письме содержалась просьба моряков к судостроителям ускорить ремонт миноносца, ввести его в строй к открытию навигации.

— Люди у меня в дистрофии. Умирают каждый день. И откровенно говоря, не знаю, как справиться с таким делом, — проговорил Илья Семенович.

Кто был этот пожилой человек?

Мне рассказывали, что прослужил он на заводе около двадцати лет начальником технического контроля. В начале войны отправил семью на Урал, а сам остался. Теперь он выполнял обязанности директора, главного инженера и всех остальных начальников.

— Смотрите, что делается, — сказал он, подойдя к окну и показывая через заиндевевшее стекло на подъемные краны и паровозы, которые остановились еще в ноябре, когда прекратилась подача энергии, и стояли теперь, покрытые снегом, разрисованные инеем.

— Наши старожилы не припомнят такого даже в двадцатом году. Тогда хоть вороны жили в цехах, а нынче и они подохли. Впрочем, что поделаешь, — тяжело вздохнул он. — Мы люди, нам жить надо и флоту помогать.

Затем он свернул бумажку, положил в карман, и через несколько минут мы шагали по узенькой тропинке, проложенной среди искореженных стропил, нагромождений кирпича и сугробов снега.

— Есть у нас бригадир. Парень что надо, — продолжал он. — Есть и другие хорошие люди, коммунисты, все силы флоту отдают. Но ведь проклятый голод ни с чем не считается; нужный ты работник или нет — все равно косит. Морозы начались. А попробуйте на открытом воздухе ремонтировать этакую махину.

Илья Семенович поднял руку, потер нос, щеки, пофыркал в застывшие ледяные усы и зашагал быстрее.

— Конечно, не зря пишут нам моряки. Народ у нас золотой. С такими бы горы ворочать! Взять хотя бы Васю Копейченко. Вы его не знаете? — Кушнарев вопросительно посмотрел на меня, я отрицательно покачал головой, и тогда он сказал: — Тоже прекрасный мастер. С разумом. А уж до работы жаден, поискать надо; к тому же весельчак, всегда с шуткой, прибауткой.

И вспомнил Илья Семенович, как вчера подошел он к Васе и взглянул на него. Сухое, обтянутое кожей лицо, и только в черных запавших глазницах на миг вспыхнул огонек. Вася попытался улыбнуться, но не получи-

лось: губы потрескались, блеснули влажные, розоватые от крови зубы. Голод, цинга, десны кровоточат.

Илья Семенович продолжал размышлять вслух:

— Сурин такой крепкий мужик, и того голод ломает. Вчера ходил, а что сегодня будет — не знаю. Энергии в нем было сколько, и сейчас еще глазами бы всю работу переделал, говорит мне: «Не могу, Илья Семенович, видеть, как корабль в лед вмерзает. Давайте в месяца два попробуем его поднять...» Зайдем-ка к Сурину, — сказал он и зашагал быстрее.

Не задерживаясь по пути и никуда не заходя, мы пришли в общежитие. Кушнарев сам организовал его при заводе, чтобы люди не тратили силы на ходьбу домой: многие жили далеко от верфи. Здесь, в общежитии, ночевало большинство рабочих, у кого в городе не было семьи.

Мы прошли по длинному темному коридору. Илья Семенович открыл дверь. В углу на железной кровати, покрытый одеялами, пальто, закутанный в платок, лежал Сурин. На широком, отечном лице было спокойное, отрешенное выражение. Илья Семенович подошел, наклонился к нему. Сурин открыл глаза и медленно, с усилием проговорил:

— Да-а... Вот так... Не встал сегодня.

Мы оба знали, что значит это «не встал». Случалось не раз: ослаб человек, не хватило сил подняться, стал малоразговорчив, потом умолкал навеки. Илья Семенович сперва нахохлился, помрачнел, потом окрепшим голосом сказал, обращаясь к Сурину:

— Сейчас, дорогой мой, мы что-нибудь придумаем.

И мы направились дальше. По дороге услышали стук молотков и зашли в единственный действовавший цех, где у станков стояли десятка три людей в ватниках и шапках с опущенными ушами. Это были рабочие и моряки из команды миноносца, который пострадал во время осенних налетов немецкой авиации на Кронштадт. Только и здесь, на новом месте, ему явно не повезло. В корпус попало несколько снарядов, и он стоит у ближайшего причала с развевающимся на корме бело-голубым флагом, как воин, весь израненный, но не склонивший голову перед врагом.

С командой корабля было тоже немало злоключений. Поначалу она поселилась на берегу, в старинном кир-

пичном здании заводоуправления. Во время одного из обстрелов в кубрик через окно угодил снаряд: дневальному раздробило ногу. Моряки снесли товарища в лазарет, а сами стали перебираться в ремесленное училище. Скоро обжили свою новую квартиру: устроили кубрик, в подвале сложили кирпичную печь, вмазали в нее котел на тридцать ведер, и получилась баня что надо.

Теперь жизнь как будто наладилась: по утрам часть команды отправляется в цех и на ремонт корпуса корабля. Остальные — в наряд на камбуз, носить воду, добывать топливо. Это, пожалуй, самая трудная обязанность: из-под снега глубиной в несколько метров выкапывать бревна и доски. Но что поделаешь? Теперь не мирное время, бесполезно ходить в порт. Топливо не получишь по интендантским нарядам, оно добывается своими силами, по способности, кто как умеет.

— А где командир корабля? — поинтересовался я.

— Дойдем и до командира, — ответил Кушнарев. — Без него ни одно дело не делается.

Действительно, вскоре мы пришли в командирскую каюту, если можно назвать каютой большущую четырехугольную комнату, посреди которой стояла печка, а над ней протянулся железный рукав. Возле печки сидели трое незнакомых мне людей: моряк с широким добродушным лицом, непрерывно попыхивающий своей капитанской трубкой, и два гражданских товарища средних лет с худыми, землистыми лицами. Длинными высохшими пальцами они держали алюминиевые кружки, не торопясь подносили их к губам и совсем медленно пропускали глоток за глотком.

— Прошу с нами чайком согреться, — сказал командир корабля и подал нам кружки, из которых заманчиво струился пар. — Наверно, вы такого чая еще никогда в жизни не пробовали. Блокадный, высшего сорта.

Я попробовал. Действительно, по тем временам это был вкусный, ароматный чай.

— Кто же его изобрел? — спрашиваю командира.

— Наш вездесущий интендант Мишин, — поясняет он улыбаясь.

Я хотел было узнать подробности, но тут в разговор вмешался Илья Семенович. Он протянул командиру письмо Военного совета, стал рассказывать о том, что люди умирают и он не знает, как быть дальше.

Командир задумался. Поразмыслив, предложил:

— Давайте соберем коммунистов и посоветуемся с ними, что делать, как выходить из положения.

— Ваших коммунистов? — спросил Илья Семенович.

— Не только наших, но и ваших. Все вместе соберемся по принципу: один ум хорошо, а два лучше.

Илья Семенович согласился. И после рабочего дня мне довелось быть свидетелем собрания двух разных партийных организаций, объединенных сейчас одной общей задачей. Моряки и рабочие сидели на скамейках, стояли усталые, изможденные и слушали Илью Семеновича Кушнарева.

Понятно, ничего утешительного он им сообщить не мог: с каждым днем тают силы рабочих, некому ремонтировать корабль, а война продолжается, страна не может остаться без флота. Все дело упирается в людей. А существование людей зависит от питания. Самые ценные специалисты выбыли из строя: инженер по прямоточным котлам где-то в госпитале, инженер-электрик — дома, умирает голодной смертью. А без них что без рук... Они строили эти корабли и знают без схем и чертежей каждую мелочь.

Илья Семенович говорил об этом своим товарищам глухим, суровым голосом, говорил о самом главном — о спасении человеческих жизней, о спасении жизни и для людей, и для дела, великого дела! Он кончил. Все молчали, глядя на него потускневшими глазами.

— Давайте посоветуемся, как выйти из этого трудного положения, — сказал командир корабля и обвел взглядом людей, сидевших перед ним и стоявших сзади, за скамьями.

Никто не решался взять слово. И вдруг люди зашевелились, раздвинулись и дали дорогу щупленькому, невзрачному на вид начальнику интендантской службы корабля Мишину. Он полез в карман, вынул три картофелины и положил на стол.

— Товарищ командир, — сказал он вытянувшись, точно была подана команда «Смирно». — Вот эта картошка из-под Колпино. Там совхозные огороды есть. В осень не успели снять овощи. Рискнуть добраться туда — и все будет в порядке.

Командир посмотрел на него с удивлением:

— А вам откуда это известно?

— Как откуда?! — с обидой произнес Мишин. — Я же до войны в Ленплодовощторге работал. Все совхозы как свои пять пальцев знаю.

— Что нам с того, что под Колпином есть? Там ведь немцы стоят, — возразил командир корабля.

На это Мишин авторитетно заявил:

— Немцы не в самом Колпино. Все, что засеяно, — это наша земля.

Мысль раздобыть овощи под самым носом у немцев сначала всех присутствующих коммунистов обескуражила, но лежавшие на столе картофелины действовали гипнотизирующе, они заставили всех серьезно отнестись к словам начальника интендантской службы. Несколько человек выступили и поддержали Мишина.

Тут же нашлись добровольцы, которые согласились поехать под Колпино. Одним словом, все были за предложение Мишина.

— В таком случае мы с Ильей Семеновичем все как следует обмозгуем и, по всей вероятности, снарядим экспедицию, — объявил командир корабля.

На этом собрание закончилось, все разошлись, мы вернулись в каюту командира. Он сразу взялся за телефонную трубку, позвонил кому-то из начальства и, рассказав все до мельчайших подробностей, попросил «добро» послать грузовик под Колпино на огороды, а положив трубку, сообщил нам:

— Возражений нет, надо готовиться.

Разумеется, Мишин был тут как тут. Он даже порозовел от удовольствия: в его дерзком взгляде было желание никому не уступить пальму первенства.

— Вам поручается возглавить операцию, — коротко сказал командир. Мишин загорелся еще больше:

— Я иначе и не думал. Можете быть спокойны, товарищ командир, я постараюсь, а ребята мне помогут.

Илья Семенович молча сидел за столом, глаз не сводил с Мишина и нервно постукивал пальцем. Потом он встал, подошел к Мишину совсем близко, дружески положил ему руку на плечо и сказал:

— Товарищ Мишин! Вы, должно быть, хороший моряк и коммунист. Не мне судить об этом. Но раз командир корабля поручает вам такое дело, значит, вы заслуживаете. Только вы еще молоды, горячности много, а тут требуется осторожность, надо все хорошенько об-

думать. Картофель спасет жизнь нашему коллективу, но помните, что каждый человек у нас на вес золота. Если вы привезете картофель ценой жизни здоровых, трудоспособных работников, тогда игра свеч не стоит. Помните: картошка нужна для людей, а люди для победы! Вы меня поняли?!

— Так точно, все понял, Илья Семенович! — отчеканил интендант и тут же обратился к командиру корабля: — Разрешите выполнять задание!

Тот одобрительно кивнул головой, и обрадованный Мишин тотчас скрылся за дверью.

Я оставался на верфи и наблюдал подготовку к этой необыкновенной операции. На другой день Мишин ходил с загадочным видом по кубрикам, встречая знакомых матросов, отзывал их в сторону, о чем-то с каждым говорил и строго-настрого наказывал, чтобы «дальше не пошло». Военная тайна!

Когда люди были отобраны, Мишин в ватнике, меховых рукавицах и шапке-ушанке забежал на минутку на склад, подмигнул мичману, которого все называли «оружейный бог» и, показав на свой пистолет в кобуре, висевший на ремне, попросил:

— Дай-ка, дружок, еще комплект патрончиков для моего «тэ-тэ». Если по-честному сказать, до сегодняшнего дня я носил его так, больше для фасона. А нынче на боевое дело идем, шутить не приходится.

Наконец полуторка, заправленная горючим, подкатила к казарме, все матросы, свободные от работ, высыпали во двор проводить товарищей и не расходились до тех пор, пока машина не скрылась за заводскими воротами.

Все, что было потом, я узнал со слов участников «экспедиции».

Промелькнули знакомые улицы и проспекты. Город остался позади. Машина набирала скорость, чтобы быстрее миновать открытое место, где нередко из-за предательских облаков появлялись «мессершмитты», пикировали и обстреливали машины пулеметным огнем.

Вот и Колпино. Развороченные дома. На перекрестках черные глазницы дотов, из которых выглядывают дула пулеметов.

Машина останавливается у закрытого шлагбаума. Застава охраняется ополченцами Ижорского батальона.

Пожилой человек в очках и кепке, нахлобученной на самый лоб, должно быть в прошлом мастер или бригадир, сжимая в руках винтовку, предупреждает моряков:

— Дальше ехать не рекомендую. Вас там запросто могут тяпнуть немецкие снайперы.

Мишин высовывается из кузова и поясняет:

— Нам на огороды надо. За овощами приехали. Голод, сам знаешь...

— А-а-а... На огороды? Ну, валяйте. Там наши колпинские бабы уже который день роются.

Он поднимает шлагбаум и пропускает машину.

Еще один поворот. Последний квартал. Полуторка заезжает в первый попавшийся двор. Мишин соскакивает на землю и слышит знакомые голоса:

— Слезай, приехали...

Где-то совсем близко грохнул снаряд. Матросы настороженно посмотрели туда, откуда донесся взрыв, и продолжали:

— Это нас фрицы приветствовали!

— Чуть-чуть в машину не угодили!

— Отставить разговорчики! — сердито прикрикнул Мишин и приказал всем надеть белые маскировочные халаты, забирать мешки, лопатки и прочие «орудия производства». Со всем этим люди двинулись дальше.

Вышли на окраину, и как-то разом прекратились смех, шутки, и стало слышно, как ветер посвистывает в голом кустарнике, как сечет воздух мелкий колючий снег. Они вглядывались в даль, куда им предстояло идти, и настороженная серьезность овладевала ими.

Издали послышался незнакомый сердитый голос: «Что там еще за шум?!» Быстрой походкой к морякам подошел военный в полушубке, перетянутом ремнями, с пистолетом и небольшой сумкой. Он заявил, что здесь стоит его рота и он, командир роты, не позволит, чтобы нарушалась маскировка. Мишин объяснил цель приезда моряков. Военный несколько минут стоял в раздумье, глядя на худые посеревшие лица, и наконец сказал: «Ну, ладно, действуйте. Только осторожнее. Чтобы фрицы не засекли».

Все стояли неподвижно. Мишин тоже молчал. Не мигая, смотрел он выпученными влажными глазами. Потом выдвинулся вперед, бросил коротко: «Пошли» — и за-

шагал впереди всех, неловко уцепившись пальцами за мешок и лопатку.

Люди шли по тропе, которую заносило снегом. Над ними стояли звезды, холодные, сияющие.

Никто не знал, где начиналось то самое место, с которого они были уже заметны немцам. Но Мишин чувствовал, что оно где-то совсем близко, и скомандовал: «Ложись!» Люди поползли. Земля была неровной, обледенелой, ползти было трудно. То скатываясь в воронку, то выползая из нее, люди преодолевали метр за метром.

Мишин полз впереди. Он вытягивал голову, выбрасывал руки и, упираясь острыми локтями в землю, подтягивал легкое, тщедушное тело. Валенок натирал ногу, мешал мешок с лопаткой. Скрывшись за холмик, Мишин скомандовал: «Передых!» Потом поползли дальше.

Мишин протянул вперед руку и ощутил ровную поверхность. Начались занесенные снегом огороды.

Немцы выпускали в воздух осветительные ракеты. Осторожно, чтобы остаться незамеченными, пригнувшись к земле, матросы, нащупав бугорок, энергично ударяли лопатками о землю. Она сначала не поддавалась, потом начинала отваливаться твердыми кусками и осыпаться песком, сквозь который легко угадывались клубни картофеля.

Мишин держал в руках затвердевшую, как камень, шершавую холодную картофелину. Это было первое, что он нашел. Решив убедиться, что это не камень, он попробовал зубами. Остался привкус крахмала. Копая дальше, вспоминал, как много времени тому назад, еще в то далекое довоенное время, любил он желтовато-белую разваренную сахаристую картошку, и от воспоминаний перехватило дыхание. От голода начинала кружиться голова и что-то тяжелое подкатывалось к горлу. Изо всех сил сжав черенок лопаты, Мишин преодолевал тяжелое, тошнотворное состояние. Ну, вот и прошло! Снова заскребла лопата, заработали руки, наполняя мешок картошкой.

Вдруг резкий свистящий звук разорвал воздух. Все пригнули головы.

«Неужели заметили? Тогда — конец!» — думал каждый, прислушиваясь. Мишин приподнялся, повернул го-

лову, насторожился. Тихо. Как видно, немцы острастки ради стреляли «в божий свет, как в копеечку».

Снова принялись за работу. Мешок наполнялся за мешком. Наконец работа была закончена.

Люди мало говорили. Решили цепочкой ползти обратно. Последним, замыкающим, двигался Мишин.

Тяжело волоча мешки, люди при каждой вспышке ракеты прижимались к земле. Мишин, немного поотстав, карабкался из последних сил. Земля холодила тело, снег забивался в валенки, но сердце теплело с каждым движением: все дальше уходили от врага.

Когда приближались к безопасной границе, с которой, выпрямившись, можно было ступать по земле, снова засвистели пули.

«Шальные!» — шепнул кто-то. Минутная тишина разорвалась грохотом. Застрочил пулемет. Мишин подтянул поближе мешок и пополз быстрее. До ушей доносились свистящие звуки: пули падали справа, слева, позади. Мишин, как и его товарищи, выбрасывал руку, взметнув головой, подтягивался и тащил за собой тяжелую, но бесконечно дорогую ношу.

А мы ждали Мишина и его товарищей. Всю ночь не потухал свет. Командир корабля крупными шагами мерил каюту, подходил к окну, дышал на промерзшее стекло, вглядывался в темноту, прислушивался и снова шагал, отгоняя сон.

Мы с Ильей Семеновичем сидели на стульях и дремали.

Под утро, когда засветлело, командир нас разбудил. Мы вместе с ним поспешили за ворота. По булыжной мостовой устало переваливался грузовик. Он был нагружен картофелем. У ворот он остановился. Первым высунулся из кузова Мишин. Он перелез через борт, покрутил одной ногой в воздухе, ища подножку, и затем легко спрыгнул на землю. С серьезным видом подошел он к командиру корабля и чеканным голосом доложил:

— Ваше приказание выполнено!

И когда командир, широко улыбнувшись, протянул ему руку, Мишин воскликнул:

— Теперь, товарищ командир, мы картофелем обеспечены.

В эту минуту я посмотрел на Илью Семеновича и увидел в его глазах бесконечную радость, которую он

не знал, как выразить, и только хлопал Мишина по плечу и все время повторял одно и то же слово: «Молодец! Молодец! Молодец!»

Я тоже поздравил Мишина с боевым и хозяйственным успехом, распрощался с товарищами и уехал. Вернувшись в наше писательское общежитие, я рассказал друзьям о сметке и находчивости интенданта. Все удивлялись.

— Чего не бывает в наше время, — сказал Вишневский и посоветовал мне дня через три-четыре еще раз наведаться на верфь.

Но это было слишком далекое путешествие, и я сумел лишь позвонить командиру корабля. Он сообщил, что после успешной операции под Колпино были посланы матросы в город разыскивать инженеров — строителей корабля. Специалиста по прямоточным котлам принесли на носилках и положили в кубрике. Командир корабля строго-настрого наказал врачу: «Если не спасете мне инженера, нет больше доверия медицине...»

Инженера поддерживали коньяком, камфарой, витаминами и картошкой, вырытой под огнем врага. Вскоре он смог взяться за чертежи.

Второй инженер, переведенный из госпиталя, тоже поправлялся на заводе.

Картофель, добытый таким тяжелым и опасным способом, помог спасти Васю Копейченко, Сурина и других людей, находившихся на краю голодной смерти.

— Вот так мы вышли из пикового положения, — сообщил командир. — А теперь крепко взялись за ремонт. К весне будем готовы плавать, обратно в Таллин собираемся...

Я спросил:

— Как поживает Мишин?

— Живет не тужит. У него новая идея. Прочитал в «Ленинградской правде», как своими силами хвойный экстракт приготовить, и заболел этим делом. Погнал полуторку в Ольгино за хвоей. Достал пустых бочек. Наготовил витамина и потчует команду корабля и рабочий класс. Сам дегустирует каждую бочку. Говорит, полкружки зараз выпьешь и никакая дистрофия не берет... В общем, молодец парень!

ДРУЗЬЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ

Приехав в бригаду морской пехоты после целого дня непрерывных хождений на морозе, я отдыхал в теплой, обжитой землянке: лежал на нарах, наблюдал за бойцами и думал, как люди, привычные к довольно комфортабельному корабельному быту, не терялись и как будто не замечали трудностей фронтовой жизни. Это все были моряки-добровольцы с линкора «Марат», крейсера «Киров», с миноносцев и катеров. Я встретил даже нескольких подводников, еще месяц назад находившихся в плавании в Ботническом заливе или у берегов Германии.

В армейской форме — зеленых гимнастерках, шароварах, валенках или кирзовых сапогах — они оставались все теми же жизнерадостными, никогда не унывающими людьми и говорили на своем родном, только им понятном языке: землянку называли кубриком, порог — комингсом, пол — палубой, скамейку — банкой...

Было тихо. В железной печурке весело потрескивали сучья. Сменившиеся, усталые после наряда люди спали на нарах, оглашая землянку храпом. Всего трое или четверо бойцов бодрствовали, ужинали, пили чай и вели неторопливую беседу.

Вдруг распахнулась дверь, и, окутанный клубами морозного воздуха, вошел высокий, румяный боец в полушубке, с автоматом на груди. Он протер ресницы, тронутые инеем, и весело спросил:

— С крейсера «Киров» есть кто?

— Есть! — ответили бойцы, старательно выскребавшие из котелков остатки ужина.

— Тогда принимайте гостя!

— Гостям-то рады, да угощать нечем, — проворчал курчавый парень, возившийся у печки.

— Как нечем? Теплом угощай, братишка!

— Теплом можно. Сучья еще остались.

Гость не спеша положил на лавку автомат и, расстегивая полушубок, все время не сводил пристальных глаз с курчавого юноши. Вдруг рванулся к нему и воскликнул:

— Лешка! Никак не ожидал. Я, честно говоря, услышал, что кировцы близко живут. Дай, думаю, зайду, авось кто Петрова видел. А тут сам налицо!

Друзья уселись на скамейку, затянулись махоркой, и пошел негромкий разговор. Вспомнили сентябрьский де-

нек, когда моряки-добровольцы «Кирова» стояли на палубе и слушали напутственные слова своего комиссара. Жаль им было расставаться с кораблем. Да что поделаешь!..

Алексей Петров и Семен Ворожейкин уходили на защиту родного города, туда, где день и ночь не затихали бои.

— Как только мы расстались, я к разведчикам попал, — рассказывал Ворожейкин. — Что ни ночь — задание. То ползаешь, передний край врага прощупываешь, то в тыл к немцам забросят...

— Да, разведка дело серьезное, — согласился Петров, как бы стараясь возвысить своего друга в глазах однополчан, внимательно прислушивающихся к разговору. — Хорошо бы нам с тобой соединиться. Поговори с командиром, может, отпустит к нам. Ведь одна же часть.

Высокому, чуть не упиравшемуся головой в потолок землянки Ворожейкину понравилась эта мысль.

— Верно! —обрадовался он и весь как бы даже засветился. — Вместе на корабле служили, вместе и дальше воевать будем.

Завязалась дискуссия насчет того, как без особых осложнений устроить перевод Ворожейкина. В это время явился вестовой и сообщил, что начальник политотдела может меня принять. Пришлось, не дожидаясь конца разговора, отправиться по своим делам.

В бригаде я пробыл несколько дней и все время прожил в этой самой землянке. Однажды утром, когда за окном было еще темно, я сидел и при скудном свете коптилки писал дневник.

Открылась дверь, и опять появился Ворожейкин с вещевым мешком за плечами, с котелком в руке. Все сразу проснулись и встретили его, как своего старого знакомого.

— На постоянное жительство, хлопцы! Вот и аттестатик на котловое довольствие, — сообщил он.

— Разведчику почет и уважение! — протянул ему руку старшина и не поскупился, уступил свое самое лучшее место на нарах, возле печки.

Это было в ту напряженную пору, когда не завязывались крупные бои, но с обеих сторон энергично действовала разведка, «прощупывая» силы противника. Наши бойцы часто отправлялись на передний край и в тыл немцев.

И в тот же день, к вечеру, Ворожейкина вместе с Петровым вызвал к себе командир роты.

— Задание есть, — объявил он. — И прямо скажу, не легкое: сегодня ночью надо открыть проходы в проволочных заграждениях.

Он подвел моряков к карте и объяснил, где именно должны быть проходы и для чего они нужны.

Два друга вернулись в землянку озадаченные и стали поспешно собираться. А как только стемнело, мы вышли проводить их на опасное дело.

Погода была морозная, темное небо прорезали звезды. Наши ребята выбрались из траншеи и поползли по снежному полю с автоматами и саперными ножницами. Мы долго смотрели им вслед...

Немцы боялись темноты, в небо то и дело взлетали ракеты. В такие мгновения поле озарялось каким-то тревожным светом — Петров и Ворожейкин падали на снег и замирали недвижимо. Но едва ракета угасала, они ползли вперед.

В небо взвилась очередная ракета и осветила бесконечные ряды столбиков с проволокой, обросшей пушистым инеем. Мы в последний раз заметили вдалеке две тени на снегу, а затем они ушли в темноту и словно растворились в ней.

Мы вернулись в землянку и с обычной тревогой и нетерпением коротали час за часом, ожидая, когда вернутся два друга, теперь казавшиеся нам всем такими близкими, словно мы вместе бок о бок с ними прожили большую жизнь.

Ночь была на исходе, а друзья все не возвращались. У каждого из нас роем носились всякие мысли.

Мы уже вдоволь наговорились и сидели молча, размышляя, где наши друзья и что с ними. Вдруг тихо отворилась дверь, и, словно согнувшийся под тяжестью своего тела, вошел Ворожейкин. Он был совершенно неузнаваем: здоровяк, кровь с молоком, сейчас был похож на больного старика. Еле передвигая ноги, он подошел к скамейке и долго не мог ни слова вымолвить.

Мы помогли ему раздеться, но и после этого он продолжал молчать, бледный, расслабленный, только поминутно широкой ладонью стирал со лба пот.

— А где Лешка? — не выдержав, спросили бойцы.

— Ранен. Я донес его. Где сейчас — не знаю,

Мы больше его не тревожили. У кого-то из бойцов сохранилось в баклажке немного спирту. Он слил спирт в стакан и дал выпить Ворожейкину, потом мы заботливо уложили его на нары, и он в ту же минуту заснул.

Только утром мы узнали, что́ произошло с Петровым и Ворожейкиным после того, как в последний раз при свете ракеты мелькнули на снегу и скрылись их тени.

Они поползли к проволочным заграждениям, держа наготове ножницы. Острые металлические зубы со скрежетом перекусывали проволоку. Петрову казалось, что он недостаточно осторожен, что враг слышит этот скрежет, и его дыхание, и даже стук его сердца. Как бы в подтверждение впереди затрещал пулемет. Петров уткнулся головой в снег, а когда все стихло, снова взялся за ножницы. Так он закончил первый проход и пополз левее, к Ворожейкину. Тот за это время успел сделать два прохода и дал знак рукой: дескать, ползи дальше и режь проволоку.

Теперь Петров продолжал действовать метрах в десяти от Ворожейкина. Дело спорилось. Казалось, что даже ножницы стали беззвучны. Второй и третий проходы были сделаны куда быстрее.

Увлеченный работой, он даже не заметил, как Ворожейкин подполз к нему и спросил: «Ну как?» Петров показал два пальца. «Сделай еще проход, а я роту вызову», — прошептал Ворожейкин.

Петров понимающе кивнул головой, и Ворожейкин осторожно пополз обратно. Трудно сказать, сколько времени Петров лежал на снегу. За его спиной простиралась бесконечная снежная пустыня. Только когда взлетела ракета, он увидел силуэты бойцов, подбиравшихся к проходам в проволочных заграждениях. Они тяжело дыша проползли мимо него и вскоре исчезли из поля зрения. Должно быть, только у самых окопов их обнаружили немцы. В небо взвились ракеты. И тут послышались крики «ура!» моряков, поднявшихся в атаку. Запоздалый огонь немецких автоматчиков не мог их остановить. Бойцы врывались в траншеи и дрались врукопашную, заставив немцев отступить на вторую линию обороны.

Моряки стали полными хозяевами немецких траншей, хотя со стороны врага и не прекращались автоматные и пулеметные очереди. Тут Ворожейкин и вспомнил о Пет-

рове: «Не уложила ли его немецкая пуля?» — и попросил разрешения у командира вернуться.

— Куда ты под огнем пойдешь?

— А если он ранен и лежит в снегу без помощи?

Командир подумал и согласился:

— Ну, давай, только осторожнее.

Ворожейкин выбрался из траншеи и стал пробираться обратно. Морозный ветер больно хлестал в лицо. Боец проваливался в снег по пояс. Вдруг впереди послышался слабый стон. Через несколько минут Ворожейкин задел за что-то твердое и неподвижное. Прикоснулся и понял: человек. В откинутой его руке были зажаты ножницы.

— Лешка, ты?

— Я, — еле слышно отозвался Петров и опять смолк.

Ворожейкин взвалил себе на спину его тяжелое и неподвижное тело.

— Держись крепче за плечи.

— Не могу, руки отказали, — простонал Петров.

— Держись, говорю тебе! — сердито прикрикнул Ворожейкин.

Он с трудом передвигался, то одной, то другой ногой проваливался в снег и все время ощущал тяжесть безжизненного тела, словно приросшего к спине. Временами ему казалось, что он несет уже мертвеца, и тогда он кричал что было силы: «Лешка! Ну как?!» В ответ слышался глухой стон и невнятное бормотание. «Жив! Пошли дальше...»

Несколько раз его сваливала усталость, тогда он садился на снег вместе со своей ношей. В эти короткие минуты отдыха отекали ноги и потом еще труднее было подняться. Напрягая последние силы, он вставал и шел вперед. Так он добрался до своих и ввалился в санитарную землянку. Навстречу ему вышел высокий, крепкий человек в халате и в белой шапочке — известный на флоте хирург, участник обороны Ханко Аркадий Сергеевич Коровин. Он помог Ворожейкину положить Петрова на носилки, снять с него полушубок, ушанку и приказал дать раненому сто пятьдесят граммов спирту.

С трудом разжали Петрову зубы. На его посиневшем лице начали появляться розовые пятна.

Через полчаса Петров открыл глаза. Его руки были багрово-красные с большими водянистыми пузырями. Врач посмотрел и сказал:

— Обморожение второй степени. Обработайте раны, сестра, и положите стерильную повязку. А потом на санитарную машину — и в госпиталь!

* * *

...Военно-морской госпиталь помещался в Ленинграде на Петроградской стороне, в большом семиэтажном доме. В те дни, когда на «Кирове» развернулся ремонт, котельный машинист Алексей Петров уже поправлялся. Глядя на свои руки, покрытые рубцами, он тяжело вздыхал:

— Теперь уж, должно быть, я не строевик. На корабль не пошлют, а в обозе таскаться душа не позволит.

В палату вошла сестра и протянула Петрову письмо. Он жадно пробежал строчки, написанные знакомым почерком.

Сосед по койке, с которым Петров только что разговаривал, сгорал от любопытства и, не утерпев, спросил:

— Откуда?

— С корабля! — Петров сразу повеселел: — Командир группы требует меня обратно на «Киров».

В хмурый декабрьский день, в канун нового года, Петров шел по пустынным ленинградским улицам и с трудом узнавал их: как все изменилось!

Крейсер тоже трудно было узнать. Сверху и вдоль бортов его укрывали маскировочные сетки, а борта были расчерчены на равные прямоугольники: не отличишь издали от здания кирпичной кладки.

И Петров уже не шел, а бежал к трапу.

Корабль не спал. На сигнальных мостиках и у зенитных пушек бодрствовали матросы в дубленых полушубках, валенках и черных ушанках.

Часовой сочувственно посмотрел на взволнованное лицо Петрова, на его прожженный у костров армейский полушубок:

— С фронта, что ли?

— Так точно. Из морской бригады.

— А фрицы как?

— Зарылись в землю. Помалкивают!

Где-то поблизости разорвался снаряд. Часовой сердито проговорил:

— Эх, нащупать бы гада, и снарядами третьей башни накрыть! Ну, давай на корабль. Небось соскучился.

Петров поднялся по трапу и, как только ощутил под ногами железную палубу, счастливый, не помня себя, побежал к кормовому люку.

— Петров! Жив? — бросился к нему один из знакомых матросов.

Весть о возвращении Петрова быстро долетела в машинное отделение. И к большому удивлению его, первым прибежал оттуда Ворожейкин. Он протянул Петрову огромную, измазанную маслом руку:

— Молодец, флотский порядочек знаешь. К Новому году домой подгреб. Быстро же тебя отремонтировали.

— А ты давно на корабле? — спросил обрадованный Петров.

— Как приказано было морякам вернуться на флот, я сразу же шапку в охапку — и сюда. Ну, давай снимай пехотное, надевай морское!

И Ворожейкин стал стаскивать с плеч Петрова полушубок, пахнущий овчинами и гарью.

С непривычки яркий свет резал глаза. От паровых грелок струилось живительное тепло. Петров обводил кубрик взглядом, и все, на чем останавливался глаз, казалось таким близким и дорогим.

— А ну, руки покажи.

Ворожейкин, насупившись, посмотрел на багровые твердые рубцы.

— Да, здорово они у тебя загорели! Только ты не тушуйся: часы такими руками не отремонтируешь, а турбины — сколько угодно. У нас, брат, сейчас работки — во... по самое горло. Пойдем-ка в машину!

Ворожейкин обнял за плечи своего друга, и они шагнули за переборку.

Машинное отделение напоминало заводской сборочный цех. Все механизмы перебирались и ремонтировались. Матрос Совалев увидел Петрова, приветливо махнул рукой и продолжал работу: он пытался поднять деталь. Сил у него не хватило, и деталь осталась на месте.

— Отощал малость, — с досадой произнес он.

Матросы дружно взялись за деталь и подняли ее.

Ворожейкин посмотрел на часы.

— Ладно, Лешка, ступай в душ. Будь как стеклышко. Сегодня мы встречаем Новый год!

Война войной, а жизнь жизнью. Верные доброй традиции, моряки вместе со всей страной встречали новый,

1942 год. И я получил приглашение на корабль, что было как нельзя кстати, ибо Вишневского окончательно свалила дистрофия и он находился в госпитале, а остальные наши товарищи разъехались по частям.

Мне было очень одиноко. В канун Нового года я вспоминал свою маленькую семью, традиционную елку, всю обычную домашнюю суету, закупки, приготовления, отправку поздравительных телеграмм. Все то, что когда-то доставляло так много радости, сейчас казалось далеким и несбыточным, как сон.

Сколько было тогда телефонных звонков! Обычно в такой день нежданно-негаданно объявлялись друзья, которых я не видел годами, и уже навеселе посылали в телефонную трубку свои новогодние пожелания: «Сто лет жизни!», «Кусочек хлеба и вагончик масла», «Полный дом внуков и правнуков».

Чего, бывало, от них не услышишь! А сегодня я оказался один, поэтому так дорого приглашение кировцев.

Поднявшись на палубу, я поздравил вахтенного офицера, совсем утонувшего в огромной шубе, и услышал в ответ:

— Желаю скорой победы!

Командир пятой боевой части повел меня в кубрик котельных машинистов.

Матросы сидели за длинными столами, и среди них я увидел закадычных друзей — Петрова и Ворожейкина, в своих обычных форменках, из-под которых виднелся полосатый треугольник тельняшки, той самой тельняшки, с которой они не разлучались на сухопутном фронте.

Я подошел к ним, поздоровался и удивленно спросил:

— Как вы сюда попали?!

— Очень просто, ножками, — весело проговорил Петров и ухмыльнулся.

Все нетерпеливо смотрели на часы. До двенадцати оставались считанные минуты.

Перед каждым участником торжества стоял граненый стакан, и в нем сто граммов «наркомовских», а на закуску тонкий ломтик ржаного хлеба.

Люди притихли, обратив взоры к репродуктору, откуда доносились лишь непонятные шорохи. И вдруг сквозь эти тихие шумы прорвались бесконечно знакомые сердцу звуки. Кремлевские куранты! Голос родной Москвы!

«С Новым годом! За нашу победу, товарищи!»

Моряки поднялись со стаканами в руках, и крики «ура!» заглушили радио.

— Ну, давай за победу! — обратился Петров к своему неизменному другу.

— И за нашу дружбу! — добавил Ворожейкин.

Великая дружба! Она началась в Таллине и продолжалась под Ленинградом. Дружба, которой Петров обязан был своей жизнью...

Вдруг во весь рост поднялся на банку старшина Галахов и, перекрывая гул голосов, объявил:

— У меня с мирного времени хранится пачка «Казбека». Для такого случая угощаю. Подходи, ребята, и бери по одной.

Все с удивлением, точно первый раз в жизни, смотрели на знакомый силуэт всадника в бурке и папахе. Коробка открылась, и к ней со всех сторон протянулись огрубевшие матросские руки.

АМЕЛЬКО ПРОДОЛЖАЕТ ПУТЬ

В блокадную зиму, бывая на кораблях, я часто встречал участников обороны Таллина. Каждый раз начинались воспоминания и рассказы о том, кто где воюет. И не один раз в разговорах упоминалось имя Николая Николаевича Амелько. Я внимательно прислушивался к тому, что говорили о нем, потому что успел полюбить этого молодого и смелого командира. Рассказывали, как «Ленинградсовет» нес дозорную службу на подступах к Кронштадту, участвовал в отражении налетов гитлеровской авиации. Однажды с ним произошла история, очевидцем которой был чуть ли не весь флот. Немцы приняли ветерана Балтики за какой-то новый корабль и набросились на него со всех сторон. Как на грех, в эти минуты у борта стояла угольная баржа. Амелько принимал топливо. Взрывной волной «Ленинградсовет» сорвало с якоря. Так вместе с баржей он маневрировал минут двадцать, пока пикировщики не побросали бомбы в воду и не скрылись.

Все моряки, находившиеся на берегу или на других кораблях, с волнением смотрели на этот поединок, и никто не понимал, как удалось Амелько вывернуться в таком сложном положении.

Рассказывали и о том, как искусно умел Амелько вводить в заблуждение противника.

Но все это были рассказы, услышанные от других. А мне хотелось еще раз своими глазами увидеть Николая Николаевича Амелько. И такой случай представился.

Как-то раз, проходя по набережной Невы, в Володарском районе[1], я обратил внимание на деревянную пристань, куда в добрые, мирные времена приставали пассажирские пароходы. Как и все в Ленинграде: дома, трамваи, троллейбусы — пристань сверху донизу обросла снегом и льдом, превратившись в сказочный домик, какие рисовали прежде на новогодних открытках.

Только странно в ту пору было увидеть поднимавшийся над пристанью белый дымок. Казалось, что он застывает в воздухе. «Откуда он взялся? — думалось мне. — Тепло теперь редкий гость даже там, где людно, а тут снежная пустыня...»

Впрочем, нет, не пустыня. Стоило внимательно присмотреться, и за пристанью, под специально устроенным маскировочным навесом, я опознал нашего боевого ветерана, героя таллинского похода — корабль «Ленинградсовет». Сердце учащенно забилось, и даже усталость как рукой сняло.

Свернув на узенькую тропу, протоптанную в сугробах, я подошел к корабельному трапу:

— Это «Ленинградсовет»?

— Так точно. А вам кого нужно? — спросил вахтенный.

— Командира Амелько!

Приглядевшись ко мне, матрос спросил:

— Вы, кажется, были у нас во время таллинского похода? — И, не дожидаясь ответа, дружески улыбнулся и добавил: — Помню, помню.

Часовой вызвал дежурного по кораблю, тот внимательно проверил документы и привел меня в знакомую каюту командира корабля, тогда — во время похода — изрешеченную пулями немецких пикировщиков.

— Как добрались к нам? — спросил Николай Николаевич Амелько таким удивленным голосом, будто он со своим кораблем находился теперь на Северном полюсе.

Он в ватнике, в валенках, на голове обычная черная кожаная шапка-ушанка с морской эмблемой. Блокада и на его лицо наложила заметный отпечаток. Под глазами

[1] Ныне Невский район.

залегли теневые круги, щеки ввалились. Неизменным остался только умный, проницательный взгляд голубых глаз.

Как это обычно бывает, в первые минуты разговор переключался с одной темы на другую, говорили о положении на фронтах, об артобстрелах, об эвакуированных семьях и о многом, многом другом.

Потом Амелько задумался и опять стал вспоминать о таллинском походе, породнившем нас всех.

Не мудрено, что теперь, уже спустя много времени, он продолжал получать по почте и с оказией теплые, дружеские послания. На некоторых конвертах даже не указывался номер полевой почты. Писали просто: «Балтфлот, командиру «Ленинградсовета» Амелько». И письма находили адресата. Люди рассказывали, где и как воюют, и каждое письмо неизменно заканчивалось добрыми пожеланиями экипажу корабля и его командиру.

Теперь «Ленинградсовет» входил в подразделение Краснознаменного Балтийского флота, которое артиллерийским огнем поддерживало наши сухопутные части на Неве, у знаменитых Ивановских порогов. Около половины личного состава корабля добровольно ушло в морскую пехоту. Оставшиеся ухаживали за оружием, механизмами и проходили не совсем обычную для моряка школу уличных боев.

Какой бы ни был мороз, матросы выходили на улицу и часами занимались штыковым боем, гранатометанием.

Механики исподволь ремонтировали корабль, рассчитывая, что, как только растает лед, ветеран Балтики пойдет в море вместе со всеми кораблями.

У экипажа была еще одна обязанность, которую он взял на себя добровольно и выполнял добросовестно, с большим рвением: в самые тяжелые дни блокады он принял шефство над катушечной фабрикой, расположенной недалеко от пристани.

«Катушка» — шутя называли ее матросы. До войны это название вполне отвечало бы продукции фабрики. А теперь и «Катушка» выполняла заказы Ленинградского фронта: выпускала армейские лопатки, кирки, детали гранат. Образцы этой продукции лежали на столике у командира корабля, и он, взяв в руку и словно взвешивая на ладони новенькую лопатку для самоокапывания, говорил не без гордости:

— Легкая, удобная, повесишь на пояс и не почувствуешь. А нужно окапываться — любой грунт возьмет. Острая, что перочинный нож.

Амелько говорил о фабрике с таким чувством, словно он персонально отвечал за выполнение фронтовых заказов.

Все слесари-наладчики фабрики ушли на фронт. Станки простаивали в ожидании ремонта, пока не появилась на фабрике бригада с корабля.

В одну неделю моряки ввели в строй все оборудование, и работницы сразу повеселели: теперь план перевыполнялся.

Во всем, за что бы ни брался экипаж «Ленинградсовета», чувствовалась энергичная, направляющая рука хоть и молодого, но вполне зрелого командира Николая Амелько.

Его собирались перевести на другой корабль.

— Только я не хочу об этом думать, — категорически заявил Амелько. — С этим ветераном слишком много связано у меня в жизни. На нем новобранцем я прибыл в Кронштадт. Здесь проходил практику курсантом, начинал службу командиром группы, штурманом, помощником командира. И, наконец, командиром стал на этом корабле. К весне подремонтируемся и пойдем воевать. С нашим «стариком» мы еще и в Таллин явимся.

Как ни велика была привязанность Амелько к своему «Ленинградсовету», а все-таки их скоро разлучили. Узнал я об этом совершенно случайно, как почти обо всем узнавали мы в то время.

Это было в зимнюю морозную ночь. На густой синеве неба ни облачка. Луна заливает нежно-голубым светом Неву, одетую в лед, набережные, заметенные снегом, и деревянную пристань на Васильевском острове, где мы стоим, поеживаясь от холода.

Вдали видны вздыбившиеся пролеты моста. При лунном свете они напоминают гигантскую арку, под которой, сокрушая непрочный лед, идут буксиры, а за ними — боевые корабли, меняющие место стоянки, чтобы фашистская авиация не имела точной картины расположения наших кораблей на Неве.

В такую ясную ночь весь город как на ладони. Кажется удивительным, что нет налетов. Так и ждешь с ми-

нуты на минуту протяжного воя сирены, зловещего рокота моторов и дружного гула зениток.

Проходит час, другой, а тревоги все нет.

Однако эта тишина, так сказать, местного значения. Неподалеку от пристани, где-то между Кронштадтом и Ленинградом, идет жаркий бой. Караван наших судов прорывается сюда с запасами продовольствия для населения Ленинграда.

Судя по тому, как взволнованы несколько товарищей, ожидающих на пристани прибытия каравана, на фарватере происходит что-то очень серьезное.

Вынырнувший из темноты юркий матрос передал стоящим рядом со мной командирам пачку радиограмм. Донеслись отрывки фраз:

— Огонь ведется из Петергофа... Во льдах маневрирование.

Подойдя к одному из командиров, я осведомился:

— Что случилось?

Лицо командира было озабоченным, седые брови насупились.

— Наши попали в переделку, — коротко ответил он. И после недолгого раздумья с уверенностью добавил: — Они, без сомнения, придут. Командир у них крепкий, бывалый, может, слыхали — капитан-лейтенант Амелько?

— Как же, командир «Ленинградсовета»?

— Он самый. Только оттуда он уже перешел в другое соединение.

Где-то близко от нас прокатился гул орудийных выстрелов. Мой собеседник насторожился.

— Наши батареи включились.

Грохот нарастал. Орудия били глухо и раскатисто. Увидеть бы, что происходит в нескольких милях от нас на кораблях, сжатых льдом и ведущих бой с немецкими береговыми батареями...

Поглаживая седые заиндевевшие усы, мой собеседник настороженно прислушивался к далеким выстрелам. Мы не заметили, как подошли и выросли перед глазами черные силуэты боевых кораблей.

— А вот и они — легки на помине! — воскликнул пожилой моряк.

Обросшие льдом корабли медленно приближались к пристани.

— А где может быть Амелько?

— На флагманском ледоколе.

Ледокол, подминая лед, первым подошел к пристани. Пока он пришвартовывался, мы не сводили глаз с ходового мостика, где стоял Амелько в белом полушубке и черной ушанке с мегафоном в руках.

Перебросили трап. Мы все перешли на ледокол. Его борта были украшены причудливыми сплетениями льда, а палуба напоминала каток.

В каюте командира ледокола уже собрались представители штаба флота. Амелько развернул карту.

— Они нас поймали в световой луч как раз на траверзе Петергофа. Я приказал открыть огонь по прожекторам. Должно быть, несколько штук мы накрыли. Прожектора потухли и больше не зажигались. Мы начали давить лед, фарватер сделали пошире, кое-как разошлись. Спасибо еще нашим береговикам — вовремя дали огонь и помогли нам втянуться в канал.

— Никого не потопили? — спросил кто-то.

— Ну что вы? — удивленно и даже обиженно проговорил Амелько. — Я им дам потопить, — и погрозил кулаком в сторону залива.

Корабли пришли в Ленинград. А на другую ночь они снова уходили в Кронштадт. Николай Николаевич Амелько продолжал свой боевой путь.

ВЕСНА НАСТУПЛЕНИЯ

Я был надолго оторван от Ленинграда.

В 1942 году редакция направила меня в осажденный Севастополь, а затем на Северный флот, и только весной 1944 года мне удалось приехать на родную Балтику, где были пережиты самые трудные дни войны.

Понятно волнение, с каким я возвращался в родной город.

Ранним апрельским утром поезд проходил под арками мостов и медленно приближался к перрону. Под высоким навесом Московского вокзала, как в далекие мирные времена, железнодорожники в своей обычной форме, носильщики в белых передниках и масса встречающих.

Год назад прорвано кольцо блокады. Около трех месяцев прошло с тех пор, как вражеская группировка под Ленинградом окончательно разгромлена. А сколько перемен! Город зажил по-иному. Окрепшие, заметно поправив-

шиеся люди ходят по улицам, проспектам и площадям, не опасаясь, что их настигнет вражеский снаряд. На улицах — порядок и чистота. Бегут трамваи — те самые трамваи, что в первую блокадную зиму стояли на рельсах, словно ледяные домики.

Одна из первых встреч — с Вишневским. Он переселился с Васильевского острова на Петроградскую сторону, и теперь его «штаб-квартира» помещается на тихой и малолюдной улице имени профессора Попова, в двухэтажном деревянном домике — одном из немногих домов такого типа, что случайно уцелели и не были во время блокады разобраны на дрова. Домик сохранился неспроста: это своего рода реликвия. Здесь в двадцатых годах жил художник Матюшин с женой Ольгой Константиновной. Квартиру Матюшиных посещали многие представители русской интеллигенции, в том числе А. М. Горький и В. В. Маяковский. Это было по душе Всеволоду Витальевичу. Чувствовалось, что он дорожил библиотекой и каждой вещицей, стоявшей в его комнате и напоминавшей о прошлом.

Как и все ленинградцы, Вишневский пережил немало трудных дней и подорвал свое здоровье. В 1942 году его свалила дистрофия и он лежал в госпитале. Потом появились признаки гипертонии. Об этом мне рассказывала писательница Ольга Константиновна Матюшина. А сам Вишневский не имел привычки жаловаться.

Несмотря ни на что, он по-прежнему много работал для газет и радио. Вместе с Всеволодом Азаровым и Александром Кроном написал веселую музыкальную комедию «Раскинулось море широко», пользовавшуюся у ленинградцев большим успехом. Она ставилась коллективом Театра музыкальной комедии в помещении Академического театра драмы имени Пушкина, где было большое, вместительное бомбоубежище. Зрители приходили в овчинных полушубках, валенках, сидели не раздеваясь, противогазы клали для удобства на колени. Если среди действия раздавался сигнал воздушной тревоги, занавес закрывался и все шли в бомбоубежище. Иногда тревога продолжалась часа два. В таких случаях зрители досматривали спектакль на другой день...

За время нашей разлуки Всеволод Витальевич не изменил своей привычке, и меня, как человека нового, только что приехавшего в Ленинград, он прежде всего подвел

к карте и с удовольствием ввел в курс дела. Слушая его, я опять вспомнил «командарма». Да, Цехновицер хорошо понимал своего друга.

Увлеченно и с большой фантазией Всеволод Витальевич развертывал передо мной картину предстоящего наступления, хотя в действительности он знал не больше любого из нас.

Вечером моряки, офицеры Ленинградского фронта и работники искусства пришли в зал Выборгского Дома культуры посмотреть новую пьесу Вишневского «У стен Ленинграда». И режиссер, и художники, и актеры — все беспокоились: как-то будет принят спектакль? Только автор сидел в кресле невозмутимо, точно это к нему не имело никакого отношения.

Поднялся бархатный занавес. Люди увидели хорошо знакомую картину боевой жизни защитников Ленинграда. Осень 1941 года. Морская пехота стоит на рубеже, стоит насмерть. Приближаются танки. Выбегает матрос: «Товарищи, танки нас атакуют!» Его обрывает командир бригады: «Не танки нас, а мы танки атакуем. Повторите!» Матрос повторяет громко, энергично, и эти слова вливают бодрость. Танки приближаются. «Кто гранатами берется остановить танки?» Выходят четыре матроса. «Четыре матроса — четыре танка. Что ж, силы равные». Матросы обвязываются гранатами и бросаются навстречу танкам. Слышны четыре взрыва. Танки остановлены. На сцене то, что было в жизни. Снова встает пережитое два года тому назад.

А выходишь из театра и видишь совсем другую жизнь. Нева очистилась от ладожского льда. Пыхтя, словно напрягая все силы, буксиры тянут баржи с лесом, легко скользят юркие быстроходные катера.

Третью весну встречает Балтика счастливую весну освобожденного Ленинграда. Кажется, помолодели и люди, и корабли.

За 900 дней обороны Ленинград восполнил потери флота от бомбежек и вражеского артиллерийского огня. Рабочие города и моряки флота не только отремонтировали крупные корабли, но и построили сотни новых судов малого тоннажа. Их можно видеть на Неве: они выделяются свежей окраской.

После встречи с Вишневским мне не терпится скорее повидать и других своих друзей, с кем были прожиты са-

мые трудные дни войны. Живы ли они? Где служат, чем занимаются?

— Вы не можете сказать, где сейчас Амелько? — спрашиваю знакомого офицера.

— Амелько... Амелько... — повторяет он, напрягая память.

— Помните, командир «Ленинградсовета»?

Лицо моего собеседника мгновенно осветилось радостью:

— Ну, как же не помнить! Это — который отличился во время таллинского похода. Амелько теперь командует катерами. Его отряд недалеко отсюда, в каких-нибудь десяти минутах ходьбы.

И вот я снова у Николая Николаевича Амелько, на его флагманском катере. Мы сидим в каюте и беседуем. Николай Николаевич по знакомой привычке не спеша расчесывает на пробор светлые волосы и рассказывает о себе и о своих товарищах.

На его плечах золотом отливают погоны капитана 3 ранга. Он теперь командует катерами-дымзавесчиками, выглядит солиднее, чем в 1941 году, пополнел, только на щеках остался прежний юношеский румянец, напоминающий старшего лейтенанта Амелько в те минуты, когда в нескольких метрах от борта корабля падали бомбы, осколки свистели над палубой и вонзались в надстройки, а он с невозмутимым спокойствием маневрировал, уводил корабль от опасности.

Мы удивлялись, как быстро прошли три года войны, хотя каждый день жизни в осажденном городе был днем боевым.

Во время нашего разговора в дверь каюты постучали, вошел лейтенант и доложил, что начинается тренировка всего личного состава.

Николай Николаевич обратился ко мне:

— Давайте поднимемся наверх. Покажу вам, какая у нас теперь техника.

Мы вышли на палубу, где уже полным ходом шли тренировочные занятия. Вокруг пушек и зенитных автоматов было по нескольку матросов. Они «ловили» в прицел каждый пролетающий самолет, использовали любую возможность для тренировки в наводке, заряжании, ведении точного огня. Слышались громкие отрывистые команды.

Николай Николаевич подвел меня к зенитному автомату, развернул его ловким движением и стал пояснять все преимущества нового оружия.

— Одна очередь — и «юнкерс» приказал долго жить, — заметил он и тут же, должно быть подумав, не слишком ли хвастливо это сказано, поспешил добавить: — Только учтите, новая техника требует очень умелого обращения. Честное слово, мы теперь учимся больше, чем в мирное время. Учимся все, начиная от рядовых и до самых больших начальников.

Амелько подходил к каждой группе занимающихся, сам проверял знания матросов и их боевое умение. Во время проверки он несколько раз смотрел на часы. Приближалось время офицерской учебы. В кают-компании собрались офицеры. Амелько проводил занятия у карты с хорошо знакомыми названиями: Кенигсберг, Пиллау, Гдыня, Данциг, Свинемюнде, Росток.

Если многие из нас тогда, в начале 1944 года, думали только о возвращении в Таллин, Ригу, Либаву, то такие офицеры, как Амелько, смотрели далеко вперед. Взгляды их были устремлены к базам и портам Восточной Пруссии и дальше... Они готовились не только к возвращению в Таллин, но и к штурму вражеских крепостей, еще совсем недавно считавшихся неприступными.

Пока Николай Николаевич занимался с офицерами, я сидел в его каюте и просматривал свежие газеты. В каждой строчке ощущалось то трепетное ожидание наступления, которое, казалось, переполнило чашу терпения наших моряков.

Амелько вернулся в каюту, и наша беседа продолжалась. Теперь мы говорили не о прошлом, а о будущем. Амелько неожиданно взял в руки карту и сказал:

— Я не пророк и не берусь точно предсказать развитие событий. Только мне кажется, что на очереди Карельский перешеек и один из первых ударов с моря будет нанесен вот сюда...

Он показал на небольшой выступ северного побережья Финского залива.

— Этот ноготок превратился в коготок, — с иронией заметил Николай Николаевич и тут же пояснил свою мысль.

Он говорил о форте Ино. Уже в первую мировую войну Ино играл очень важную роль в обороне Петрограда.

Если минно-артиллерийская позиция Ревель — Порккала-Удд была главной линией обороны Петрограда со стороны моря, то его второй огневой рубеж проходил на линии фортов Ино — Красная Горка.

После Октябрьской революции В. И. Ленин подписал декрет о полной независимости Финляндии, и форт Ино оказался по ту сторону границы. Молодая Советская республика, разумеется, не могла согласиться с тем, чтобы всего в 20 километрах от Кронштадта находилась вооруженная крепость. По мирному договору, заключенному в 1920 году, наши соседи обязались полностью разрушить форт Ино, но не сделали этого, и в 1939—1940 годах при выходе наших кораблей из Кронштадта их встречали тяжелые снаряды, посланные с форта Ино.

— Это давнишнее бельмо у нас на глазу. Его нужно удалить, и чем скорее, тем лучше, — сказал Николай Николаевич.

* * *

Вскоре после нашей встречи с Амелько я наблюдал, как к бортам линкоров и крейсеров подходили баржи, нагруженные боезапасом. Корабельные краны поднимали беседки с тяжелыми снарядами.

В небе над Ленинградом с утра до вечера проплывали сотни бомбардировщиков. Пересекая Финский залив, они уходили на север.

То затихал, то снова нарастал глухой рокот моторов.

— На бомбежку летят, — говорили матросы и про себя считали: «...Девять... восемнадцать... тридцать четыре... пятьдесят шесть...»

Стояла светлая весенняя ночь, когда Ленинград полон величия и спокойной, строгой красоты. Пустынны были гранитные набережные, и даже Нева казалась уснувшей: в воде отражались краски неба и великолепие архитектурных ансамблей. Только посреди реки серебристой чешуей переливались воды, совершающие свой вечный бег.

Во втором часу один за другим поднялись пролеты невских мостов и замерли, точно солдаты в почетном карауле. В Кронштадт прошли боевые корабли, вместе с ними шел и наш катер.

Медленно проплывали корабли мимо Адмиралтейства, Исаакиевского собора, старинных зданий с колоннадами.

Мы смотрели на город, погруженный в тишину, и хотелось навсегда сохранить в памяти эту замечательную картину задумчивой и прозрачной ночи.

Едва мы вышли из Морского канала, как впереди, на горизонте, в чуть потемневшей голубизне неба, появился знакомый островок, увенчанный темным силуэтом собора.

Кронштадт! Сколько воспоминаний связано с ним у любого моряка!

Давно ли Кронштадт казался для нас бесконечно далеким! Осенью 1941 года, когда немцы вышли на побережье залива, мы пробивались в Кронштадт с боем и кровью. Каждый раз, выходя из Невы, мы не знали, дойдем ли до Кронштадта и, тем более, вернемся ли обратно.

А сегодня нечего опасаться. Без всякой тревоги смотрим на Стрельну и Петергоф, куда снова вернулась советская жизнь.

Наш катер проходит мимо гранитных стенок крепости. Мы держим курс на Большой Кронштадтский рейд.

Вот уже в бледном мареве тумана видны силуэты канонерских лодок, замерших, как будто погруженных в дрему.

Мотор катера сбавляет обороты. Мы пришвартовываемся к борту корабля. По трапу поднимаюсь на палубу, предъявляю свои документы дежурному по кораблю и до утра устраиваюсь в кают-компании.

Утром являются вестовые, застилают стол белой скатертью, звенят стаканами и ложками.

К чаю собираются незнакомые мне офицеры, и среди них появился капитан 3 ранга, похожий на монгола. Наши глаза встретились, и мы крепко пожали руку друг другу.

Золотов! Балтийский комиссар, сохранившийся в моей памяти с того времени, когда в наиболее трудные дни обороны Таллина мы выходили в море на обстрел немецких войск. Золотов возмужал, еще больше округлился, трудно узнать.

— Где вы были эти годы? — спрашиваю я.

— Все на Балтике, — как-то уклончиво, нехотя отвечает Золотов.

Мы пьем чай, а затем он приглашает меня в свою каюту и очень доверительно сообщает:

— Вы разве не слышали, после Таллина у меня была крупная неприятность и я, что называется, погорел...

— Как погорел?

— Сейчас все объясню...

Золотов начал свой рассказ издалека, с того, как тот самый миноносец, на котором он служил во время обороны Таллина, 28 августа 1941 года вместе со всем флотом прорывался в Кронштадт, отражал атаки авиации, спасал плавающих. Потом, уже в Ленинграде, в самые трудные дни наступления немцев поддерживал наши войска и заслужил высокое признание: он оказался в первом отряде кораблей, получивших гвардейское звание.

Рассказывая, Золотов курил и слегка прищуренными глазами смотрел в иллюминатор. Он перебрал в памяти всех мне знакомых моряков, вспомнил все доблести корабля и его героев. Вместе с боевыми успехами корабля шел в гору и комиссар. За Таллин он был награжден орденом «Красная Звезда», за Ленинград — орденом «Красное Знамя».

Пронеслась страдная осенняя пора 1941 года, ее сменили долгие и однообразные дни и ночи первой блокадной зимы. Корабль стоял во льдах и ремонтировался. Моряки часто увольнялись на берег к своим семьям и родственникам, а у кого не было в Ленинграде родственников, те тоже тянулись к людям. Всем близкого человека иметь хотелось. Матросы знакомились с девушками, завязывали дружеские связи, бывали у них дома.

Продолжая свой рассказ, Золотов заметно нервничал и курил одну папиросу за другой.

— Я слишком всем доверял, — сознался он. — Спрошу матросов, куда ходили, с кем встречались, как время провели, и думаю, что они мне всю правду говорят. А люди-то разные: один с чистой душой, а другой хитрит — и смотри в оба. Доверчивость-то меня и подвела. А дело было так: стою однажды у трапа и встречаю наших после увольнения. Обычно матрос, если что у него не в порядке, норовит тихой сапой в кубрик проскользнуть, а тут идет матрос Никифоров, совладать с собой не может, шатается, еле ноги тащит, за три версты от него водкой разит... Подошел ко мне, начал куражиться. Я спрашиваю, где был, с кем пил, на какие деньги, а он ловчит, изворачивается, дескать, друга встретил и прочее. Я над этим случаем крепко задумался и в тот же вечер от других людей всю правду узнал. Такая панама вскрылась, что меня вроде громом ударило. Что оказалось! Наши матросы по-

знакомились с подозрительными женщинами, и те им вскружили голову гулянками и кутежами. Но это не все. Время было, помните, какое, честные люди с голоду помирали, боролись за каждую пядь земли и за грамм хлеба, а эти сволочные бабы работали в булочных, хлеб воровали, на спирт, водку меняли и устраивали пьянки с матросами... Вскрыл я это позорное дело, но поздно. И наказан по заслугам. Доверяй, да проверяй, не будь разиней, про бдительность не забывай. Крепкий урок, на всю жизнь. С должности комиссара меня, понятно, сняли и послали на Ладогу, на канонерские лодки. Мы там возили через озеро продовольствие для Ленинграда. Отвоевали на Ладоге больше года, и к началу наступления нас обратно в Кронштадт отозвали. Что будет дальше, не знаю...

Он на время умолк и сидел мрачный, не выпускал из рук папиросы. Я тоже молчал. Наконец, стесняясь и явно испытывая неловкость, Золотов вновь заговорил:

— После того похода вы писали о нашем корабле, хвалили нас, а сейчас небось жалеете.

Что я могу ему ответить? В жизни многое случается. Людям помогают исправлять ошибки. Пройдет время — глядишь, они снова в почете. Я был глубоко убежден, что так будет и с Золотовым. Он взбодрился, встал, прошелся по каюте и очень откровенно сказал:

— Поверьте, я не жажду славы и почета. Служба есть служба. На канонерке я привык и хочу пробыть здесь до самого конца войны.

От прошлого мы вернулись к сегодняшнему дню, к событиям, которыми жила вся Балтика. Теперь Золотов сообщил мне, что с часу на час ожидается приказ о нашем наступлении на Карельском перешейке.

Мы вышли из каюты и пошли в подразделения. «Свой глаз — алмаз» — была любимая поговорка Золотова еще в ту, таллинскую, пору. И теперь его глаз заглядывал повсюду: в боевую рубку, машину, на посты, где у пушек стояли комендоры в касках и с противогазами через плечо. Для всех людей, встретившихся на пути, он находил теплые, дружеские слова, от которых накануне боя делалось радостно и легко.

Потом он разговаривал с радистами, выясняя, проверена ли трансляционная сеть, и строго наказывал:

— Смотрите, чтобы во время боя связь не нарушалась.

По радиотрансляции он собирался оповещать экипаж корабля обо всем, что моряки могут не увидеть своими глазами.

Во время обхода подразделений и бесед Золотову сообщили, что командира корабля вызывают к флагману. Он торопливо спускается по штормтрапу, и его катер отваливает от борта.

— Командира вызвали, — передают с одного поста на другой. — Значит, дело будет.

Сигнальщики смотрят через окуляры стереотрубы на флагманский корабль, пытаясь определить, что там происходит.

Командир возвращается очень скоро, ни слова не говоря, проходит к себе в каюту и приказывает созвать всех офицеров.

— Будем воевать, — объявляет он и дает свои краткие указания.

Резкие звонки оглашают корабль. И вот слышна долгожданная команда: «По местам стоять, с якоря сниматься!»

Утро прекрасное. Солнце нещадно печет. Железо настолько раскалилось, что обжигает пальцы. Кажется, что это знойный юг, а не Балтика с ее обычным свежим ветерком и прохладой. Небо прозрачное, на море полный штиль, редкая тишина, потревоженная лишь всплесками воды за кормой. Кто-то шутит:

— Сегодня мать-природа с нами в союзе.

Позади остается Петровская гавань, отвесные гранитные стенки маленького островка Кроншлот. Справа далекой, едва заметной чертой выступает лесистый берег.

И командир корабля, и Золотов в каком-то особенно настороженном состоянии. То в бинокль рассматривают лесистый берег, то, услышав гул авиации, запрокидывают голову к небу и долго наблюдают за самолетами.

Несколько дней назад на фронт отправилась группа корректировщиков огня канонерских лодок. Сейчас корабельные радисты установили с ними связь. В шумах эфира ясно и отчетливо различают знакомые позывные своих «полпредов».

— Внимание! К работе готов. К работе готов, — повторяют они по нескольку раз одно и то же.

Постепенно рассеиваются дымки, все яснее зеленая береговая черта. Это и есть форт Ино.

Командир корабля обращается к управляющему огнем:

— Следите за часами. Скоро первый залп!

Комендоры нетерпеливо смотрят на мостик, а все, кто на мостике, следят за бегом стрелок корабельных часов. Еще пять минут, четыре, три.

Слышатся звонки машинного телеграфа. Рулевой быстро вращает штурвал. Корабль начал боевое маневрирование.

Голос командира тверже, увереннее. Решительный миг приближается.

Продолжаем наблюдать в бинокль за пологим песчаным берегом, таинственным и молчаливым. Что-то там сейчас происходит?..

Сколько раз с этого берега открывался огонь по нашим кораблям! Сколько было безуспешных попыток перебросить отсюда к нам, во фронтовой город, шпионов и диверсантов!

А сейчас этот берег молчит, как мертвый, хотя мы знаем, что у него есть свои глаза; они пристально следят за нами, и где-то в глубине зелени притаились пушки, развернутые в сторону моря.

Мы слышим отрывистые команды управляющего огнем:

— Фугасными. Прицел... Целик...

Наконец долгожданное слово:

— Залп!

Ревет ревун. Глаза ослепили желтые огненные вспышки. Оглушающий удар и волна горячего воздуха.

Кажется, разом все вздрогнуло — и корпус корабля, и небо, и воздух, и далекий берег.

Куда ни глянем — повсюду сверкают желтые вспышки.

Стреляют балтийские форты. Стреляет Кронштадт. Стреляют корабли, идущие нам в кильватер. Раскаты грома разносятся над морем, и неутихающий гул висит в воздухе.

В такие минуты внимание рассеивается, но матросы у орудий методично делают свое дело. В руках у комендоров мелькают снаряды. Ловкие движения, команда «Огонь», желтые вспышки орудий, и из канала ствола снова струится дымок...

В общей канонаде улавливаются басовые голоса линкоров и крейсеров, тех самых кораблей Балтики, что

900 дней не только защищали Ленинград и оборонялись, но изо дня в день вели наступление, подтачивали силы противника, разрушали его оборону, подготовляли все условия для окончательного разгрома врага.

Голоса наблюдателей:

— Справа на берегу огненные вспышки.

Командир и его заместитель по политчасти смотрят в бинокли.

— Ага, противник дает о себе знать!

Снаряды свистят над нами. Вдали от кораблей, на море, поднимается несколько всплесков.

Корабли рассредоточились, непрерывно маневрируют, и не так просто их «накрыть».

Это хорошо, что батареи противника себя обнаружили. Их сразу засекли. Теперь по ним сосредоточен огонь всей нашей корабельной артиллерии.

— Ведем бой с береговыми батареями, — передает Золотов в микрофон. — Снаряды противника падают справа по борту.

В гул канонады вливаются новые звуки — пулеметов и автоматов. В небе возникло кружево из белых и темных клубков разрывов зенитных снарядов. На большой высоте летит воздушный разведчик противника. Он в кольце разрывов. Мечется из стороны в сторону, хочет уйти...

Командиру корабля непрерывно докладывают данные, принятые с корректировочного поста.

— Пожар на берегу!

— Взрывы у цели номер шесть!

И действительно, даже невооруженным глазом заметны дымы, поднимающиеся над лесом, в районе целей, по которым в нарастающем темпе бьют и бьют наши корабли.

Огонь вражеских батарей слабеет с каждой минутой. На воде, поодаль от кораблей, поднимаются лишь одинокие всплески.

Сейчас противнику не до наших кораблей. Там, над лесом, появились советские бомбардировщики и штурмовики. Зенитки противника огрызаются. Их, должно быть, немало, если судить по разрывам, густо усеявшим небо. И хотя сильна зенитная оборона врага, наши самолеты все равно пикируют и бомбят. Видимо, бомбят очень удачно; большой участок побережья уже охвачен огнем и ды-

мом. А по воде доносятся все новые и новые раскаты взрывов.

Огневой налет кончается внезапно. Вдруг как-то сразу обрывается весь этот невообразимый гул и грохот. В одну и ту же минуту прекращают стрельбу не только наши корабли, но и Кронштадт, и форты Балтики. Все смолкло, и установилась тишина, к которой не сразу привыкает слух.

Управляющий огнем использует паузу, чтобы по донесениям корректировочного поста проверить, как стреляли орудия. Он доволен. Все его расчеты проверены и подтверждены с суши. После первых же пристрелочных выстрелов отмечены прямые попадания в береговую батарею и склад боеприпасов. Золотов сообщает об этом по радио, и матросы вслух выражают свою радость.

Пауза короткая. И тут же новый приказ, новые цели. Бой продолжается.

Линкоры, крейсера, канонерские лодки, форты и береговые батареи поддерживали в этот день наступающие войска Ленинградского фронта.

Многие километры отделяли крейсер «Киров» от вражеских дотов в районе станции Оллила. Глубоко врытые в землю, закованные в железо и бетон, они стояли, как крепости.

Когда самолет-корректировщик поднялся в воздух и радисты крейсера приняли его позывные, на корабле все было готово к открытию огня.

В боевой рубке мерно гудели электрические приборы. На их шкалах, как в зеркале, отражалась работа всех сложных механизмов.

Командир крейсера и управляющий огнем ждали сигнала летчиков.

Наконец с самолета радировали:

— Цель вижу ясно. Готов начинать работу.

В центральный артиллерийский пост пошла команда:

— Открыть огонь!

Прозвучал ревун, и полетели первые снаряды.

Это был пристрелочный залп.

Через минуту с самолета доложили:

— Норд двести.

Прогремел второй пристрелочный залп.

— Так, хорошо! — сообщили с самолета.

Артиллеристы перешли на поражение цели.

Летчики, наблюдавшие с высоты за разрывами, уже забыли о всяких условностях и восторженно кричали в микрофон:

— Цель накрыта! Молодцы! Давайте еще!

Крейсер сделал около сорока залпов.

На другой день в район Оллила выехал представитель от артиллеристов корабля. И то, что он увидел своими глазами, превзошло самые смелые ожидания.

В густом сосновом лесу, там, где находились мощные доты, беспорядочно громоздились теперь глыбы бетона. Из глубины разрушенных дотов торчала изломанная арматура, поблизости валялись трупы гитлеровцев и исковерканное оружие.

Артиллеристы крейсера «Киров» сумели первыми залпами разрушить толстые железобетонные колпаки, а последующими — уничтожить глубокие боевые казематы с пушками и пулеметами.

Расставаясь с Золотовым на Большом Кронштадтском рейде, я услышал тогда его счастливые, обнадеживающие слова:

— Теперь до встречи в Таллине!

— Когда?

— Конечно, в этом году,— весело проговорил Золотов, но тут же задумался: — Впрочем, придется много поработать, особенно балтийским тральщикам. Ох, и много мин на нашем пути.— Он тяжело вздохнул.— Финский залив превратился черт знает во что. Нужно проложить фарватеры, а иначе не выйдешь на большую воду.

Потом я не раз вспоминал эти слова Золотова.

Действительно, Финский залив был теперь засорен минами еще больше, чем в 1941 году. Трудную и опасную работу выполняли балтийские тральщики, эти скромные и трудолюбивые «пахари моря».

Среди густых минных полей они прокладывали фарватеры, открывали надводным кораблям и подводным лодкам путь на запад — в Прибалтику и к берегам Германии.

КТЩ МИЧМАНА ЛАРИНА

В борьбе с минами принимал участие и маленький корабль, который до войны ходил между Кронштадтом и Ораниенбаумом. Он выполнял тогда самые скромные

обязанности — доставлял пакеты с одного берега на другой, «перебрасывал» кого-то из гавани на рейд. Деньденьской носился катерок, зарываясь в воду, и если бы не война, вероятно, никто так и не узнал бы, на какие дела способен его маленький экипаж. Он назывался теперь уже не просто «штабной катер», а КТЩ (катерный тральщик). Этим названием так же как и боевой работой, гордилась вся его небольшая команда и прежде всего командир — молодой по годам, но уже немало послуживший на флоте мичман Иван Ларин.

Знакомы ему были линкоры, крейсера, миноносцы. За двенадцать лет службы на флоте где только не пришлось ему побывать! И чего греха таить, не раз с высокого крутого борта корабля, как с птичьего полета, важно и даже с некоторым пренебрежением смотрел он на посыльные катера, которые неутомимо носились по заливу.

И должно же было случиться, что такой вот маленький деревянный катер стал для мичмана Ларина родным домом и принес ему славу Героя Советского Союза.

Шутка ли сказать, 320 боевых походов совершил он на этом катере! И чего в этих походах не бывало! Атаки вражеских самолетов, маневрирование под огнем береговых батарей, бои с катерами противника, не раз пытавшимися помешать тралению.

Там, где обнаруживались густые минные поля, где обычный корабль при каждом повороте винта ожидает смертельная опасность, — туда шли балтийские тральщики, шел и мичман Ларин на своем КТЩ.

Да, минная война — это война особенная. Она на первых порах кажется странной. Поставишь трал. Проходишь милю за милей. Противника не видно. Иногда такая тишина кругом, что любоваться бы морем, дышать полной грудью, наслаждаться свежим воздухом. Того и гляди, забудешь об опасности, подстерегающей каждую минуту, о темных шарах смерти, взрывающихся не только от прямого соприкосновения с кораблем, но и под действием магнитного поля, звуковых колебаний. Между тем этого подводного врага ни в коем случае нельзя обойти или оставить где-то в стороне. Его нужно непременно найти и уничтожить, чтобы завтра, послезавтра, через неделю или через год не подорвался какой-нибудь корабль.

Нигде не приходилось катерным тральщикам встречать столько мин, сколько их было здесь, на пути в Таллин. Три года, день за днем, час за часом корабли и самолеты противника минировали Нарвский и Финский заливы, воздвигали непроходимые барьеры. Немцам казалось, что эти барьеры могут задержать наступление Балтийского флота на Таллин, лишить Советскую Армию прикрытия и поддержки со стороны моря.

Сама профессия охотника за минами воспитала у Ивана Ларина чувство ответственности и тревоги за свою боевую работу. Там, где прошел КТЩ со своими тралами, не должно остаться ни одной мины.

Во время траления Ларин не уходил с мостика. Достаточно было молодому матросу, растерявшемуся при виде мины, посмотреть на ходовой мостик, на худое, отливающее бронзовым загаром лицо мичмана Ларина, услышать его спокойный повелительный голос, и он брал себя в руки и продолжал хладнокровно выполнять команду.

Я приехал на базу тральщиков в тот день, когда моряки отдыхали после целого месяца напряженной боевой работы. Но и в этот единственный день отдыха Иван Ларин никуда не отлучался, сидел в маленьком тесном кубрике вместе с матросами и писал письмо.

С письма и начался наш разговор.

— Жене пишете? — спросил я.

— Нет, другу. Вместе служили. Подорвался во время траления. Мы ему и пишем в госпиталь, чтобы не скучал парень. Вот наш главный сочинитель писем, — сказал Ларин и показал на сидевшего рядом с ним белобрысого мальчугана в матросской форме, которому впору сидеть за партой в пятом или шестом классе. — Самый молодой рулевой дивизиона, наш воспитанник Леня Голубев, — добавил Ларин.

Леня, отложив в сторону тетрадку, с мальчишеским любопытством прислушивался к каждому слову мичмана Ларина, который рассказывал мне разные случаи из жизни экипажа, о находчивости, которую проявляют моряки, разгадывая все новые и новые «сюрпризы» врага. Самой последней «новинкой» были мины-ловушки. Издалека казалось, будто птицы сидят на воде. Стали изучать, разведывать, прощупывать. Оказалось, что это новая комбинация в использовании мин. Пеньковый ко-

нец, окрашенный под цвет воды, поддерживается на воде пробковыми или стеклянными поплавками. Какую бы незначительную осадку ни имел корабль, он все равно намотает пеньковый трос на гребной винт или на руль, запутается в нем. А трос — в контакте с миной, притаившейся где-то в глубине! Достаточно ее чуть-чуть пошевелить, и она взрывается.

За несколько дней до нашей встречи с Лариным, еще до восхода солнца, тральщики вышли в море, вытянувшись в кильватерную колонну.

Позади остались родные берега. Шли знакомым путем. Недавно здесь тоже были минные поля. Пришлось немало потрудиться, чтобы их обезвредить.

Но вот тральщики вошли в квадрат, отмеченный на карте знаками минной опасности.

Подан сигнал: «Ставить тралы». За борт выбрасываются буи, прикрепленные к тралу.

Катера идут осторожно, будто ощупью.

Ларин стоит на мостике, и рядом с ним за штурвалом Леня Голубев. Ветер развевает ленточки его бескозырки. Лицо юноши серьезно, и взгляд насторожен, а слух чутко улавливает каждое слово, произнесенное мичманом Лариным. Когда мичман, не отрывая глаз от бинокля, сказал кому-то на мостике: «Смотрите, там что-то непонятное — буек или мина», Леня сразу же глянул в том направлении, куда протянулась рука Ларина, и тут же подал свой голос:

— Там мина, товарищ командир.

— Право руля! — скомандовал Ларин. Уклонились и остальные корабли. В эти минуты все, находившиеся на палубе и ходовом мостике, ясно и отчетливо увидели покачивающийся на воде, то подбрасываемый волной на поверхность, то снова исчезающий, темный шар.

Катерный тральщик стопорит ход. Пришло время использовать небольшую шлюпку, которая весь путь буксировалась за кормой на металлическом тросе. Ларин приказывает подтянуть шлюпку к борту.

— Голубев! Сегодня вы пойдете гребцом, — говорит он.

— Есть! — бодрым голосом, стараясь подражать матросам, отвечает Леня.

И вот двое моряков — Леня Голубев и опытный минер старшина 2-й статьи Гормашев — берут с собой

свиток бикфордова шнура, инструменты и садятся в шлюпку так спокойно, будто отправляются на самую обычную прогулку.

Леня взмахнул веслами. Шлюпка отвалила от тральщика и направилась к мине, которая покачивается вдали, словно живая, и, кажется, готова выпрыгнуть из воды.

Слышится резкий, отрывистый голос Гормашева: «Табань!» Леня знает, что делать. Несколько осторожных гребков — и он сложил весла, наблюдая за тем, как старшина Гормашев грудью налег на корму и вытянул вперед руки. Теперь достаточно не рассчитать движения, достаточно незначительного толчка деревянной кормой о рог мины, как мгновенно последует взрыв.

Но Гормашев не первый раз встречается с этим рогатым чудовищем. Вот его руки коснулись холодного тела мины. На рог надет подрывной патрон. Гормашев командует: «Весла на воду!»

Леня сделал один, другой рывок веслами. Налег на них что есть силы. Расстояние между шлюпкой и миной быстро увеличивается. По шнуру ползет зеленый огонек. Ползет медленно, не торопясь.

Отсчитав положенное число секунд, моряки ложатся на дно шлюпки, ожидая взрыва.

Грохот сотрясает небо и море. Вздымается вверх и некоторое время стоит в воздухе гигантский столб воды. Затем он оседает, снова тишина.

Шлюпка подходит к катеру. Мичман Ларин встречает своих друзей.

— Это девятая у вас на счету, — говорит он.

— Как будто так, девятая, — подтверждает Леня.

КТЩ мичмана Ларина занимает свое место в строю. Время от времени над морем гремят взрывы, к небу поднимаются новые столбы воды.

После полудня наблюдательные посты противника заметили наши корабли. Блеснули вспышки береговых батарей. Просвистели снаряды.

И хотя море велико, на минном поле трудно маневрировать. Тральщики строго держатся заданного курса. Несмотря на свист снарядов и всплески у самого борта, боевое траление продолжается.

В этот сравнительно спокойный день не было встреч с кораблями противника, не было боев с вражескими

самолетами, когда они пикируют со всех сторон и только успевай поворачивать пушки, пулеметы и отбивать атаки.

22 вражеские мины уничтожили за один этот день катерные тральщики.

Поздно вечером, в темноте, корабли вернулись на базу. Моряки за ужином говорили о том, сколько мин впереди и как долго придется заниматься тралением еще и после войны.

Во всех боевых делах, о которых рассказывал мне мичман Ларин, он обязательно старался выделить Леню Голубева, подчеркнуть, что он-де у нас самый лихой моряк, причем это говорилось совсем не в шутку, а серьезно, с гордостью за своего воспитанника и вместе с тем с каким-то особым, теплым и отцовским добросердечием.

— У меня у самого ребятишки в эвакуации. Так что смотрю на Леньку и своих вспоминаю, — сказал Ларин.

Я поздно задержался на базе тральщиков. Мичман Ларин предложил мне переночевать у него на катере и приказал Лене раздобыть для меня одеяло, подушку и чистое белье.

Леня исчез, а минут через пятнадцать притащил ворох вещей и стал помогать мне устроиться на одном из двух кожаных диванчиков маленькой каюты.

А затем, в поздний час, когда солнце скрылось, а небо все еще продолжало оставаться светлым, прозрачным, точно это было раннее утро, мы с Леней вышли на пирс, долго гуляли, и каждый по-своему переживал непередаваемое очарование белой ночи.

Я спросил своего юного собеседника, как он попал на флот.

— Длинная история! — ответил Леня.

И хотя она оказалась действительно длинной, но была вместе с тем очень уж типичной, характерной для судеб наших семей, которых война разбросала по всей земле русской.

СЕМЬЯ МОРЯКА

Вряд ли в памяти кого-либо из наших современников не запечатлелись на всю жизнь картины самых первых недель войны: постоянные тревоги и волнения, отъезд,

беготня на вокзал, толпы, собиравшиеся возле уличных репродукторов всякий раз, когда смолкала музыка и слышался четкий голос диктора. Люди слушали с затаенным вниманием, часто после передачи начинался семейный совет: что делать? как быть? уезжать в эвакуацию или не стоит торопиться — пройдет некоторое время, будет виднее.

Именно в один из таких дней Вера Семеновна Голубева получила письмо из Таллина от своего мужа, балтийского моряка, служившего на крейсере «Киров».

«Поезжай к родным на Волгу, — писал он. — Там далеко от войны и вам будет спокойно».

Вера Семеновна решила не медлить, пошла в райисполком, взяла эвакуационные удостоверения на себя и на Леню, быстро собрала вещи и через несколько дней оказалась с сыном у родственников.

Она считала, что приехала в далекий тыл, куда война никогда не докатится.

Первая военная зима прошла спокойно, и весна не сулила каких-нибудь неожиданностей. А летом началось такое, чего никто не ожидал.

Домик, в котором нашли приют Вера Семеновна с Леней, стоял у крутого оврага. Страшно было по ночам, когда начинались воздушные налеты. Как завоет сирена, детвора первой выбегает из дому и кубарем катится вниз, в овраг, прячется там в землянках. Полно набьется народу, дышать нечем...

Небо черным-черно. Только светят звезды да шарят прожекторы из одного конца в другой. Кругом такой грохот — кажется, земля лопнет.

Когда до убежища доносится взрывная волна от бомбы, упавшей где-нибудь поблизости, Вера Семеновна крепко прижимает сына и говорит, волнуясь: «Боже мой! Какое варварство бомбить мирный город!»

Кто-то из ребят вбегает в землянку и объявляет, что фашистские самолеты отогнаны. Тогда все выходят на улицу и слышат дикий рев. Неподалеку находятся постройки скотного двора подсобного хозяйства. Они охвачены огнем. Раненые и обожженные животные опрокинули изгородь и с ревом разбегаются.

Леня с матерью идут к себе во двор. Там, на крыльце дома, их ждут дедушка, тетя Клава — его дочь — и трое ее ребятишек, гораздо меньше Лени.

Вера Семеновна, хрупкая, тщедушная женщина, бросается к дедушке и плачет.

— Что же там, на море, делается, если у нас такой ужас! — говорит она.

В эту ночь она еще не раз вспоминает море и мужа. Конечно, он волнуется, с ума сходит, узнав, что фашисты бомбят Сталинград. Леня молча сидит на стуле и смотрит на мать. Ему тоже тяжело. Он вспоминает отца в синем кителе с нашивками на рукавах. Папина форма ему всегда очень нравилась. Особенно он любил примерять морскую фуражку с золотым крабом. Папа представлялся ему настоящим богатырем. Он редко бывал дома, но когда приезжал, сын и отец были неразлучны. Он сажал Леню на плечи и возил из одной комнаты в другую. Часто они затевали на диване такую возню, что вмешивалась Вера Семеновна, кричала на них и предлагала: «Пошли бы вы лучше гулять». А отец смеялся, поднимал ее на руки, подбрасывал и тоже усаживал на диван. Потом они выходили на улицу. Папа с Леней гуляли по набережной Невы. Он любил смотреть, как катятся волны, набегая одна на другую. Во время прогулок он рассказывал о крейсере «Киров», но Леня был тогда малышом и плохо разбирался в кораблях. Однако какая-то неодолимая сила любви к морю и морякам была заложена в нем сызмальства.

Теперь Лене с мамой жилось трудно и тоскливо. Письма приходили редко, и единственной нитью, которая прочно связывала их с родными местами, было радио. Вера Семеновна слушала радиопередачи и все ждала живого слова о Балтике. Когда начинали рассказывать о моряках, она настораживалась, думала: «А вдруг что-нибудь сообщат и о нашем папке...»

Но события на фронтах не радовали: немцы рвались вперед, особенно на юге.

Однажды пришел дедушка и сказал:

— Бои идут недалеко. Время тяжелое. Придется вам с Ленькой, Вера Семеновна, куда-нибудь двигаться.

— Куда же я поеду, если железная дорога не работает? — возразила она. — Вы ведь тоже не уезжаете.

— Я что... Я старик. Мои корни вросли в эту землю. Разве я брошу родной город? Пятьдесят годков прожил тут. Это не шутка, моя дорогая! А вам, молодым, все равно где быть. Поезжайте по Волге, по Каме — там

где-нибудь на Каме и устроитесь. Сына спасайте, Вера Семеновна. Я вот и своих внуков с дочкой пошлю вместе с вами. Все как-то веселее будет!

Вера Семеновна подумала минутку, потом глубоко вздохнула.

— Да, вы правы, — согласилась она.

— То-то и оно-то, — повторил дед. — Я Клавку заставлю немедля собираться, а то она все артачится, не хочет уезжать, не понимает, что я тут могу еще пригодиться, а вам надо ребят растить. Вы уедете, и у меня руки освободятся, я на завод пойду — сорок лет там работал. Совестно в такое трудное время сидеть на пенсии.

Вера Семеновна оделась и, оставив Леню на попечение дедушки, пошла узнать, каким способом можно эвакуироваться.

Было тихо в этот ранний час, не взрывались бомбы, умолкли зенитки, небо стало светлее, а утро пришло пасмурное и грустное. Дедушка взял Леню за руку и повел к себе домой.

— Полезай на печь и ложись, — сказал он. — Мама скоро придет. Глаза у тебя слипаются.

Сколько спал Леня — трудно сказать, только когда проснулся, увидел мать уже в пальто, а тетя Клава сидела в стеганой поддевке и пуховом платке, одевала ребят, готовясь к далекому путешествию.

Вера Семеновна быстро надела на Леню все теплое и отпустила во двор — там собрались ребята, готовые к отъезду.

Вскоре послышался гудок машины, и все ребята бросились за ворота, где стоял небольшой открытый грузовичок. Старший сын тети Клавы, Сергей, крикнул во все горло:

— Вера Семеновна, «пикап» приехал, давайте вещи носить!

Взрослые стали таскать вещи и укладывать на машину, а Леня с Ванькой залезли в кабину и заспорили, кто будет водитель. Но тут вдруг открылась дверь, и в кабине показалось сердитое лицо шофера. «Марш наверх! — сказал он. — Здесь сядет дедушка».

Ребята перебрались в кузов, устроившись на мешках и чемоданах.

Их привезли на набережную Волги и высадили. Много людей с вещами ожидали посадки на пароход.

Через всю ширь реки, с того берега на этот, переправлялись танки. Их было столько, что глазом не охватить. Они шли не по обычному широкому деревянному мосту, а по каким-то узеньким мостикам, державшимся прямо на плаву.

На берегу стояло много военных в черных кожаных шлемах, из-под которых виднелись загорелые лица. Один из командиров что-то кричал в рупор и командовал всей переправой.

Все это Леню занимало куда больше, чем мамины разговоры. Она что-то ему говорила, а он ничего не слышал и все смотрел на танкистов.

— Сколько раз я буду тебе повторять, возьми сумку и иди к тете Клаве! — наконец сердито крикнула мама, и только тут Леня увидел, что тетя Клава с вещами и с ребятами находится уже возле парохода и надо как можно скорее перебраться к ним.

Вера Семеновна взяла в руки два чемодана, за спиной у нее висел рюкзак, а Лене сунула провизионную сумку, в которой, кроме еды, стояли еще бутылки с молоком.

Он по-прежнему смотрел на танкистов, а у самого парохода оступился и упал вместе с сумкой. Из бутылок потекло молоко, ему стало досадно не столько от боли, сколько от страха, что попадет от матери. Действительно, когда Вера Семеновна поставила чемоданы и вернулась снова, она была раздраженной, схватила Леню за руку и хотела наказать. Выручила тетя Клава. Она подбежала к ним и прикрикнула на Веру Семеновну:

— Не троньте его. Он не виноват. Смотрите, какая тут сутолока.

Она подвела Леню к Ляле.

— С ним вечно так, что ни поручи, все из рук валится, — продолжала сердиться Вера Семеновна.

— Да какой он помощник, — возражала тетя Клава, — от горшка два вершка. Милочка моя, если бы они были помощники, мы бы с вами никуда не тронулись.

После этого случая Леня еще больше привязался к тете Клаве. Ее было за что уважать: рядом с мамой она казалась богатырем, а энергии, напористости у нее непочатый край.

Она окончила только семилетку и всегда с уважением относилась к Вере Семеновне за то, что та человек с образованием и даже знает иностранные языки. Обращалась к ней тетя Клава не иначе как на «вы», и не раз выручала ее в трудную минуту.

Наконец-то они оказались на пароходе, который назывался «Александр Невский». Он шел под охраной катеров вверх по Волге, а потом на Каму, направляясь на Урал, в Пермь.

Моряки замаскировали свой пароход деревьями и ветками, а вверху, над капитанским мостиком, была натянута зеленая сетка. В таком виде он сливался с береговым лесом и его трудно было найти с воздуха. Катера уходили далеко вперед и очищали путь от мин, которые немцы сбрасывали с самолетов, чтобы нарушить движение.

В мирное время «Александр Невский» шел до Перми двое — трое суток, а теперь он закончил рейс только на восьмые сутки. Причалил к деревянной пристани, на которой было шумно и суетливо. Какие-то люди переписывали и распределяли всех эвакуированных. Поначалу их привезли в санитарный пропускник. Они разделись. Все носильные вещи надо было куда-то сдать. Леня спросил маму:

— Куда забирают наши вещи?

— Их надо дезинфицировать, чтобы там насекомые не завелись, а мы сейчас пойдем мыться.

Так и было. Им дали по кусочку мыла, и они зашли в баню.

После бани их повезли в гостиницу, что на углу улицы Ленина и Советской, — самый большой дом, в восемь этажей. Так он и назывался — «многоэтажка». В каждой комнате жило по нескольку семей, но Вера Семеновна и Леня были с тетей Клавой и ее ребятами и потому к ним в номер бо́льше никого не вселили.

Скоро из гостиницы они переехали на частную квартиру, к мастеру одного военного завода. Когда их туда привезли и Вера Семеновна увидела, что в доме много ребят, она даже расстроилась. Но тетя Клава сказала: «Ничего, проживем войну, в тесноте, да не в обиде. Где больше ребят, там они лучше».

Леня, конечно, обрадовался. Вот где будет веселье.

Ванька, Ляля, он сам да вон еще сколько подруг и товарищей.

Комнатка у них была маленькая, чистенькая. Мама распаковала вещи, достала салфетки, занавески, покрывала, повесила над кроватью портрет мужа, без стекла конечно, просто так, наклеенный на картонку.

Вечером после работы зашел к ним хозяин квартиры, коренастый, небольшой человек, с добрым, ласковым лицом. Он был в гимнастерке, брюках навыпуск, в русских сапогах.

— Хорошо устроились, товарищи ленинградцы!

Подробно расспросив приехавших о том, где они последнее время жили и что делали, мастер обрадовался, узнав, что тетя Клава работала на заводе фрезеровщицей.

— Так, душечка моя! Поступайте к нам на завод. Нам во как люди нужны, особенно фрезеровщицы, — поднеся ладонь к горлу, показал он.

— Я согласна, — обрадовалась тетя Клава.

— А вы кто по специальности? — обратился мастер к Вере Семеновне.

Она сказала, что преподавательница литературы.

— Это хуже... Не по моей части. Придется вам в гороно сходить. Я депутат горсовета и помогу в этом деле. — И, вынув из кармана блокнот с карандашом, начал что-то быстро писать.

Вера Семеновна прочитала записку, которую вручил ей депутат, поблагодарила его и положила записку в сумку.

Через несколько дней она устроилась на работу, правда не по специальности. В школах преподаватели литературы не требовались, и она тоже поступила на завод в сборочный цех нарядчицей. Ей приходилось подолгу задерживаться на работе. Ночами Леня иногда просыпался от страшного сна или от громкого разговора мамы с тетей Клавой. Они встречались только по ночам и долго-долго разговаривали.

Как-то раз он проснулся, услышав плач. Сразу не мог понять, кто плачет и почему. Поднял голову, видит: мама плачет, уткнувшись лицом в какое-то письмо, а тетя Клава утешает ее.

На другой день мать Лени рано пришла с работы. Ребята тоже вернулись из школы, подняли возню. Вера

Семеновна была бледная и грустная. Она зашла в комнату, бросила сумку на стол, а сама упала на кровать и опять заплакала. Ребята хозяйки не на шутку перепугались и убежали из комнаты, а Ванька с Лялей залезли на сундук и притихли. Леня робко подошел к маме и стал гладить ее по голове. Она обхватила сына руками, посадила на кровать и, продолжая плакать, в отчаянии говорила: «Ленечка, неужели мы с тобой остались одни, неужели твой папка убит...»

Пришла тетя Клава и стала успокаивать Веру Семеновну:

— Ну, что вы расстраиваетесь, ведь еще ничего толком не известно. Сейчас я покормлю ребят, посажу за уроки и поедем вместе на завод. Сегодня мы работаем две смены. Моя бригада взяла обязательство досрочно дать фронтовикам новое оружие.

Тетя Клава обняла Веру Семеновну. Леня перестал плакать. Бодрый и уверенный голос тети Клавы успокоил их обоих.

Мать встала с кровати, взяла сумку, вынула письмо и, должно быть, не в первый раз стала его перечитывать.

В это время вернулся из школы Сергей, он учился в седьмом классе во второй смене и приходил домой намного позже остальных ребятишек. Увидев письмо в руках Веры Семеновны, он спросил тетю Клаву:

— А нам нет писем?

— Нет, сыночек! — ответила она. — Знаешь, как теперь почта работает.

— Что вам пишут? — спросил Сережа Веру Семеновну.

Она протянула письмо и тихо сказала:

— Сереженька, почитай вслух, пусть ребята послушают.

— «Многоуважаемая Вера Семеновна! — говорилось в письме. — Вам пишут лучшие друзья вашего мужа, которые служили с ним на крейсере «Киров» с момента спуска корабля на воду. Мы знаем вашего мужа как честного коммуниста, смелого и самоотверженного моряка.

В дни обороны Таллина многие наши товарищи сражались на берегу в рядах сухопутных войск. В войсках находился и ваш муж, Андрей Петрович Голубев. Мы

не будем описывать, как тяжко пришлось нам отступать. Хотим только сообщить, что при вынужденном отходе ваш муж командовал отрядом и был тяжело ранен. Его вынесли с поля боя, спасли, и мы уверены, что в самое короткое время его подремонтируют и он вернется на корабль в нашу родную семью.

А сейчас мы сражаемся за город Ленина. Вместе с нашим героическим крейсером «Киров» ведут огонь по гитлеровским войскам все корабли Балтики.

Даем вам клятвенное обещание, дорогая Вера Семеновна, что, пока видят наши глаза и в груди бьется сердце, не бывать врагу в великом и родном Ленинграде!»

Под письмом было много подписей, а внизу, как видно, дата, но все это вместе с конвертом вымокло в пути, чернила расплылись по бумаге, образовались сплошные пятна.

Сережа кончил читать, молча опустил руку с письмом на стол. Все молчали. Леня сидел на кровати и смотрел на всех. Долго смотрел, потом слезы блеснули у него на глазах. Вера Семеновна подошла к нему, стала ласкать, приговаривая: «Не плачь, мой сынуля! Не плачь, расти скорее. Учись, будь сильный, тогда отомстишь за папу». А самой было еще горше.

Все находившиеся в комнате молчали, ребятишки, Ваня и Ляля, испуганно смотрели на окружающих. Они понимали, что в семье большое горе.

Леня обессилел и стал засыпать. На улице уже было темно. В полусне он чувствовал, как мама с тетей Клавой собирались на завод. Ребята тоже укладывались спать, и только Сережа сидел за столом и готовил уроки.

Однажды в школу пришла соседка. В перемену она вызвала детей тети Клавы. Леня удивился, почему и его не вызывают. Из любопытства побежал за ними и видит: в коридоре ждет какой-то худой мужчина в военном, но без знаков различия. Он опирается на костыль, стоит на одной ноге, а вместо другой ноги висит одна брючина. Как увидел он ребят, бросился к ним, а они обратно пятятся. Соседка подталкивает их сзади:

— Ляля! Ваня! Да это же ваш папа! Папа вернулся с фронта, а вы его так принимаете!

— Ребятки, да это я, папа ваш, — тихо повторил он.

Ребята продолжали смущаться, но тут подошла учительница и сказала Ляле:

— Ну, что ты! Такая большая, а не узнаешь папу.

Только тогда Ляля бросилась к отцу, он улыбнулся, и в его улыбке было столько тепла, что с этой минуты он покорил Ленино сердце.

Дома их встретила на пороге тетя Клава, за ней на завод сбегала старшая дочка хозяев. Тетя Клава бросилась к мужу, обняла его и воскликнула: «Жив, мой родной, мой любимый. Какое счастье, что ты вернулся. Ничего, не унывай. Проживем как-нибудь. Я ведь тоже рабочий человек...» Она с гордостью протянула обе руки, показала свои ладони с мозолями.

Дядя Коля сразу подружился с ребятами и много рассказывал о своей боевой жизни. Он служил машинистом в прифронтовой полосе, водил тяжелые поезда и не раз попадал в серьезные переделки.

Однажды во время рейса его тяжело ранило в ногу и голову. К управлению паровозом встал его помощник. Шесть суток дядя Коля был без сознания и только на седьмые сутки после операции пришел в себя.

— Тебе страшно было, папа, когда ты увидел, что нет ноги? — спросила Ляля.

— Нет, не страшно, я был рад, что жив остался. Ведь другие люди погибали, а я уцелел. Помню, один раз на нас налетели немецкие самолеты, а поезд, как червяк, ползет в поле. Вокруг ни зениток, ни леса, чтобы укрыться. Немцы летели к фронту, но увидели наш состав и давай бомбить... Я думаю: остановить паровоз, — значит, нас разбомбят и весь состав сожгут.

— А ты бы полный ход дал! — вставил Сережа.

— Нет, сынок! Я следил за самолетами и маневрировал скоростями, чтобы они не могли прицелиться и накрыть прямым попаданием.

— Ну и что же? — спросила Ляля, удивленно выпучив свои серые глазенки.

— Немцы побросали бомбы, попасть не могли и стали обстреливать нас с бреющего полета. Вдруг, смотрю я, на повороте с хвоста оторвались два вагона и покатились обратно!

— Какой ужас! — всплеснула руками Вера Семеновна. — Эти вагоны были с людьми?

— Нет, порожняк.

Все вздохнули с облегчением.

— Что же было дальше, дядя Коля? — нетерпеливо спросил Леня.

Дядя Коля посмотрел на него, улыбнулся, погладил по голове своей большой жесткой рукой и продолжал:

— Они побросали бомбы, выпустили в нас все свои снаряды и улетели. А я все гнал и гнал поезд. Только мы успели проскочить полустанок, смотрю, впереди, на полотне вывороченные рельсы, воронки больше нашей комнаты. Что делать? Я остановил поезд, спрыгнул с паровоза и побежал вперед. Вижу, вагоны разбитые с детишками из детского дома. Тут прибежали бойцы, ехавшие в нашем составе, собрали мы всех пострадавших ребят в доме у стрелочника, устроили лазарет. Возле ребят дежурили врач и сестра, за ними ухаживали старшие девочки. И все равно потери были. Несколько детей умерли от ран... Не выдержали бедные ребята.

— А у них родители есть? — спросила Ляля.

— Нет! В том-то и дело, что они круглые сироты.

На что тетя Клава сильный человек, но и она расстроилась.

— Жаль детей. За что они страдают?!

— Всех жаль, — сказал дядя Коля. — И сирот, и тех, у кого есть родители, и самих родителей жаль. Тоже не сладко приходится, на фронте воюют и в тылу день и ночь работают. Но что же делать, победа так просто не дается. Ее надо завоевать. Одной жалостью ничего не сделаешь. Вот жалко — ноги нет, да хорошо, что голова цела, еще пригожусь в деле...

— А как же вы хоронили погибших ребят? — спросил Леня.

— Как на фронте бойцов хоронят, в братской могиле, — продолжал дядя Коля. — Над могилой большой холм насыпали, несколько камней положили. Памятник получился. А на камнях ребята выбили надпись: «Юные герои Отечественной войны».

До поздней ночи горел свет и за круглым колченогим столом сидели ребятишки, кажется, они могли просидеть еще сколько угодно, слушая рассказы дяди Коли. Наконец он посмотрел на часы и сказал:

— Пора спать. Завтра вам в школу. Учиться надо хорошенько, чтобы заменить всех, кто погиб на войне.

Ребята нехотя расходились. В эту ночь Лене непрерывно снились рассказы дяди Коли. Он ворочался и даже размахивал руками, кого-то браня и защищаясь от каких-то ударов.

Весь 1942 год Вера Семеновна и Леня прожили под одной крышей с семьей дяди Коли и тети Клавы. У них была теснота; Леня с матерью спали на одной кровати. Вере Семеновне на заводе предлагали комнату в общежитии, но тетя Клава отговаривала:

— Вы, Вера Семеновна, нас не стесняете. Оставайтесь. Вместе как-то легче и веселее.

— Нам очень хорошо, но ведь вам туго приходится. Николай Яковлевич человек больной, ему отдых нужен, а тут негде голову приклонить, — говорила Вера Семеновна.

Они не раз возвращались к этому разговору. В конце концов Вера Семеновна и Леня все-таки переехали в заводское общежитие.

Вечерами они часто заходили к тете Клаве. Леню всегда тянуло сюда, хотелось вместе с ребятами пошалить, побегать, а особенно послушать рассказы дяди Коли.

Вера Семеновна иногда уходила на завод в ночную смену. Укрывала Леню теплым одеялом, на прощание целовала в щеку, гасила свет и запирала комнату на ключ. Леня оставался один, потому что знал: мама нужна заводу. Делал уроки, он учился в шестом классе, а потом, свернувшись в клубочек и укрывшись с головой, старался заснуть, а в голове роились всякие мысли. Он думал об отце, о крейсере «Киров» и по-прежнему часто видел во сне все, что рассказывал о войне дядя Коля.

Один раз вот так же Вера Семеновна оставила Леню дома, он заснул и вдруг слышит стук в дверь, закрытую изнутри на ключ. Леня испугался, вскочил с постели и открыл дверь. В комнату вошла соседка и с ней какая-то незнакомая румяная девушка. Девушка держала в руках ящик, обшитый серой мешковиной.

Соседка говорит: «Леня, вам из Ленинграда посылку прислали. Получи и распишись».

— А разве можно мне за маму расписываться? — спросил Леня.

— Ну, раз матери дома нет, распишись. Только паспорт мамин дай мне сюда, — сказала почтальонша.

Соседка поспешила объяснить, что паспорт сдан на завод, как полагается по закону, а вот справка должна быть дома. Леня с соседкой долго рылись в буфете, пока нашли справку.

Когда все ушли, Леня опять защелкнул замок, поставил посылку на стол и принялся ее изучать. Это был ящик, величиной с табуретку. На полотне большими буквами написан адрес: Леня увидел слово «Ленинград» и обрадовался. Долго рассматривал посылку, поворачивал во все стороны. Его разбирало любопытство узнать, что там внутри... Ему казалось, что там что-то твердое, металлическое, потом, наоборот, казалось, что там что-то шуршит, как бумага. Убедившись в бесплодности своих догадок, он улегся в постель, укутался и стал дышать под одеяло, чтобы поскорее согреться.

Рано утром пришла Вера Семеновна, увидела посылку и, не успев еще снять пальто, начала распарывать мешковину и открывать ящик.

— От кого бы такой подарок?! — обрадованно сказала она.

Кухонным ножом она приподняла крышку и увидела сверху бумагу, а под ней в стружках коробки с разными наклейками: конфеты, печенье, банки с рыбными и мясными консервами, и на самом дне ящика лежал голубой матросский воротник, черная морская лента, на которой Леня прочитал: «Сын моряка». Надпись сделана золотыми буквами. И вместе с матросским воротником лежал кортик, весь черный, с цепочкой из белого металла, и лакированный ремень с медной пряжкой, на ней выгравированный якорь. Что и говорить, это был для Лени самый лучший подарок.

Он не обращал внимания на конфеты, печенье, а примерял воротник и нетерпеливо кричал: «Мама, где моя кепка? Дай сюда поскорее». Но когда мама нашла кепку, он убедился, что к ней матросская ленточка вовсе не подходит. Впрочем, его это не очень смутило, он повернул кепку козырьком назад, и мать пришила к ней ленточку. Так получилась бескозырка. Вера Семеновна сразу не заметила, что на дне ящика под бумагами лежали два письма. Она развернула одно из них и стала вслух читать:

«Уважаемая Вера Семеновна!

Личный состав крейсера «Киров» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желаем вам в новом году здоровья и успехов в работе. Сообщаем вам радостную новость. Из госпиталя вернулся на корабль ваш муж, капитан-лейтенант Голубев. Он снова в нашей семье и очень рад, что мы сразу смогли ему сообщить ваш адрес. Сейчас он сидит и пишет вам письмо...»

Не кончив читать, Вера Семеновна положила на стол этот листок и торопливо схватила второе письмо.

— Леня! Ленечка! — счастливо закричала она. — Это ведь от отца нашего. Папка поправился и прибыл на корабль.

Если до этой минуты Леня был увлечен подарками, то сейчас все бросил и приготовился слушать письмо отца.

«Мои дорогие, любимые! — писал он. — Даже не верится, что я вам пишу и когда-нибудь вас увижу. Можете считать меня вернувшимся с того света. Много месяцев я лежал в госпиталях. Меня перевозили из госпиталя в госпиталь и наконец в Куйбышеве сделали операцию. После тяжелого ранения и контузии я стал поправляться. Сразу, как только я ожил, первым долгом послал запрос в Москву — где вы? Три томительные недели я ждал ответ. Представляю, сколько там в день приходило подобных запросов. Ведь всех почти разбросала война в разные концы страны, и где вы «приземлились» — вопрос этот у меня не выходил из головы.

Через три недели я получил ваш адрес, но когда послал письмо, то оказалось, что это совсем другая Вера Голубева. Много времени прошло, пока я вернулся на крейсер и здесь узнал ваш настоящий адрес. Я благодарен своим товарищам за то, что в трудные дни войны они не забыли о вашем существовании и установили с вами связь. Теперь я здоров, снова в строю, отдам все силы, чтобы приблизить победу над врагом и нашу с вами встречу в родном Ленинграде. Возможно, мне дадут краткосрочный отпуск, и тогда я приеду или прилечу к вам.

Верочка! Посылаю Леньке кортик, который я сделал в госпитале, а воротничок и ленту ему шлют мои товарищи — кировцы. Остальные подарки — съестного назна-

чения — от экипажа корабля из продуктов, присланных нашими шефами — трудящимися Казахской ССР».

Вера Семеновна дочитала письмо, радостно обняла Леню и вместе с ним закружилась. Все теперь казалось им прекрасным, словно и не было тяжких и мрачных дней, слез, огорчений. Теперь хотелось думать только о встрече с отцом, о родном Ленинграде.

Наступил канун Нового года. В комнате на столе стояла большая елка, расцвеченная огнями. Вера Семеновна не спала всю ночь, пекла пирог с мясом и рисом, а Леня занимался своим снаряжением: примерял новый костюм, брюки и китель. Все это ему сшила мать из старого отцовского обмундирования.

Кажется, все готово, стол сервирован по-праздничному. На голове Лени бескозырка с лентой, к кителю прикреплен голубой с белыми полосками воротник. На ремне висит кортик.

Вера Семеновна посмотрела на сына и засмеялась:

— Дружок! Кто же это на командирском кителе носит матросский воротник. Ты бы снял все это, жарко будет.

Леня твердо стоял на своем и не снимал ни кителя, ни бескозырки. Как же! Ему хотелось, чтобы гости увидели его в полной морской форме.

Вот они и пришли. Леня держался важно, все время поправлял кортик, боясь, что друзья его не заметят.

Но ребята, еще раздеваясь, не сводили глаз с Лени, и, конечно, больше всего им понравился кортик.

Вера Семеновна подтолкнула Леню и сказала с досадой:

— Ну, что ты стоишь, как гость, поздоровайся, принимай своих друзей.

А дядя Коля засмеялся и говорит:

— Где уж ему друзьями заниматься. Посмотрите, какой он сегодня герой. Какая выправка! Ну-ка, ребятки, поглядите как следует на нашего бравого моряка.

Леню заставили выйти на середину комнаты к елке. Ребята с завистью и восхищением разглядывали его. Ваня попросил разрешения примерить кортик, и Леня, хотя ему и не хотелось снимать кортик с пояса, уступил.

Ваня с Лялей по очереди надели кортик и ходили с ним по комнате, любуясь собой.

Кроме семейства дяди Коли, пришли сослуживцы Веры Семеновны. Они принесли вино.

Дядя Коля налил всем в рюмочки, и даже ребят не забыл. Гости притихли и чего-то ждали. Вдруг по радио донесся бой кремлевских часов.

Куранты пробили двенадцать раз, и тогда Михаил Иванович Калинин обратился по радио ко всему советскому народу:

— С Новым годом! С новыми победами!

Гости поднялись, стали чокаться, кричать «ура!».

Леня тоже чокнулся с ребятами, отхлебнул из своей рюмки, но ему сразу стало неприятно; он поморщился и остатки вина вылил под табуретку.

— Кушайте, товарищи, это ведь из моего родного Ленинграда, — говорила хозяйка, обращаясь к гостям.

— Вы расцвели, Вера Семеновна, как только получили письмо от мужа, — сказал дядя Коля.

В разговор вмешалась тетя Клава. Она начала рассказывать, как рабочие вместе с конструкторами создавали новое оружие — автоматы-пулеметы, и несколько дней назад делегация завода поехала вручить их бойцам Калининского фронта.

Леня стал уговаривать приятелей пойти в коридор, но ребята не торопились и все поглядывали на конфеты и печенье. Из закусок им ничего не хотелось. Вера Семеновна заметила это, раздала конфеты, печенье, орехи. Рассовав подарки по карманам, ребята выбежали в коридор, а взрослые еще остались за столом и долго тепло и сердечно разговаривали, рисуя мысленно тот счастливый день, когда кончится война, все вернутся к своим домашним очагам и заживут, как прежде. Только, наверное, никогда не забудется все горькое, пережитое вместе с людьми, которые были бок о бок с тобой, не раз приходили тебе на помощь и потому с полным правом могут считаться настоящими друзьями.

Все происшедшее потом пронеслось с молниеносной быстротой. В один из дней прилетел отец. Он вошел в комнату, высокий, здоровенный, совсем не похожий на себя. За войну он отрастил густые усы и бороду, которыми гордился, и грозился сбрить их не раньше, чем после победы над немцами. И только острые серые глаза были те же самые, что и раньше.

— Я за вами, — объявил он. — Одни сутки на сборы,

Послезавтра наш балтийский Ли-2 летит обратно и захватит нас с вами домой, домой, мои дорогие,— повторил он сам не свой от радости, должно быть не веря глазам своим, что видит жену и сына. Сама судьба их снова соединила, и, казалось, ничто больше не может их разлучить.

— Это мое самое последнее воспоминание об эвакуации,— закончил Леня свой рассказ.

— Почему последнее? — спросил я.

— А потому, что отец взял нас с мамой в Ленинград. Всего три дня мы с ним прожили, и он погиб.

Мое сердце дрогнуло, и наступила томительная пауза. Я посмотрел на Леню, он шагал рядом со мной, низко опустив голову, а потом снова заговорил:

— В тот день папу отпустили на несколько часов с корабля. Пришел он домой с ордерами на дрова, пообедал с нами и говорит: «Поедем, Леня, на склад и, пока есть время, выкупим дрова, чтобы вы на зиму были обеспечены». Мы вышли на улицу. На Тучковом мосту все это и случилось... Снаряд бахнулся у самых перил. Папа схватил меня за плечи и тут же упал. Я наклонился к нему, стал его тормошить, а он не отвечает. Лицо в крови. Прохрипел и умер у меня на руках... Мы с мамой остались. Тяжело пришлось. Хорошо, что хоть папины друзья — моряки — нас не забывали. Часто приезжали к нам, продукты приносили, отрезы материала подарили — мне на костюм и маме на пальто... На Пороховых нам участок под огород выхлопотали. Я грядки копал, и полоть научился, и урожай снял. Бывало, холодно, дождик накрапывает, а я с лопатой еду на огород. Народу там всегда было много. Как обстрел начнется, мы в канаву спрячемся и лежим ни гу-гу... Приду домой — все тело болит, каждую косточку чувствую, до кровати едва доберусь и сплю как убитый. А летом к нам на Неву тральцы пришли. Стояли они недалеко от нашего дома. По вечерам я там пропадал. Моряки узнали, что я сын погибшего офицера с «Кирова», и полюбили меня: катера мне показывали, кормили досыта да еще домой еду давали. А однажды пришли матросы к нам домой и говорят: «Тебя командир дивизиона требует». Побежал я к нему, вытянулся в струнку и говорю: «По вашему приказанию прибыл». Он засмеялся и говорит: «Я вижу, ты настоящим моряком стал. Остает-

ся зачислить тебя на корабль. Как ты на это дело смотришь?» — «Спасибо, рад служить», — отвечаю. «Нет, ты пойди к матери и получи от нее разрешение в письменном виде. Тогда примем тебя в воспитанники». Я, понятно, обрадовался, прибежал к маме, и она написала бумажку, что, дескать, не возражает против моего зачисления на военную службу. Так я попал на флот. Служу рулевым, — добавил он с гордостью. — Так и живем. Мама в школе ребят учит, а я вместо отца фашистов помогаю добивать...

Я смотрел на щупленькую фигуру в форменке с полосатым треугольником на груди, на серьезное, полное воли и мужества лицо, и мне не верилось, что этот мальчик за свою короткую жизнь успел столько горя увидеть.

— Что же ты думаешь делать после войны? — спросил я Леню.

Он смутился, порозовел и не сразу ответил:

— После войны пойду учиться на офицера.

— Морского офицера?

— Конечно! А как же иначе.

«СКАПА-ФЛОУ»

Хочу рассказать еще об одном таком же маленьком катере, который стал в дни нашего наступления героем Балтики и даже удостоился чести попасть в сводку Совинформбюро.

Только это был не тральщик, а дымзавесчик — ловкий и дерзкий катерок, обычно выскакивавший вперед, чтобы густой пеленой дыма прикрыть от противника наши главные силы. В бою он отвлекал внимание врага от крупных кораблей и чаще всего принимал на себя самые первые удары. Не раз, подбитый и израненный, он еле добирался до базы. Матросы своими подручными средствами кое-как заделывали пробоины, ремонтировали его, и вскоре он снова отправлялся на боевое задание.

Команда дымзавесчика состояла всего из нескольких человек, и среди них был сигнальщик Александр Попов — всегда исправный по службе, но странно неразговорчивый парень, за что матросы его называли Саша Молчаливый или Великий Немой. С виду он был не-

приглядный — низкорослый, с большим приплюснутым носом и толстыми губами. Впрочем, это не мешало ему хорошо воевать, и наград у него было больше, чем у других моряков.

Матросы иной раз добродушно подтрунивали над ним, но, в общем, он пользовался уважением за добрый нрав, образованность — он кончил девятилетку и с детства изучал немецкий язык, а помимо всего прочего, был первый читатель в части, и в свободную минуту его почти всегда можно было видеть с книгой.

Нельзя сказать, что он не любил компанию и сторонился товарищей. Наоборот, как только соберутся матросы, он первый тут как тут. Только не жди от него никаких рассказов, он будет сидеть, слушать. И в такие минуты его лицо становится особенно живым и выразительным.

«Ну, Сашок, как дела?» — спросит его кто-либо из друзей. «В порядке», — коротко ответит он и улыбнется.

И лишь в горячие боевые денечки нашего наступления Саша заговорил. Случилось это совсем неожиданно и немало удивило окружающих.

В тот день катера несли дозорную службу. Было кругом на редкость тихо и спокойно: море притаилось, казалось, заснуло. Неподалеку от катерка-дымзавесчика стоял на якоре другой, более крупный катер — «морской охотник».

Близился вечер. Солнце медленно погружалось в море, и по небу полыхал ярко-оранжевый закат.

— Погодка что надо! — проговорил мичман, обращаясь к сигнальщику, совсем позабыв, что рядом с ним на мостике стоит не кто иной, как Попов.

Он согласно кивнул головой, ничего не ответил, приставил к глазам бинокль и продолжал смотреть на белесое, прозрачное море, сверкающее, как перламутр.

Вдруг что-то блеснуло на воде и исчезло. «Может, рыба резвится?» — подумал Попов и прильнул к окулярам бинокля. Вдали на море опять точно зайчики заиграли. Нет, не рыба резвилась в этом районе. Попов даже вздрогнул всем телом, увидев над водой черную головку перископа, появившуюся на несколько минут и вновь скрывшуюся в глубине.

— Товарищ командир, прямо по курсу подводная лодка,— доложил он мичману. Тот насторожился: такой маленький катерок ничего не может сделать с подводной лодкой. Зенитный пулемет на носу — вот все его вооружение.

Оставалось одно: дать знать на «морской охотник». Призвать его на помощь.

Мичман нажал курок ракетницы — и красноватый огонек взвился в воздух и прочертил в небе след. На «морском охотнике» приняли сигнал, и он полным ходом помчался к своему младшему собрату.

Когда катера поравнялись бортами, командир «морского охотника» поднес к губам мегафон и строго спросил:

— Что там у вас приключилось?

Мичман сообщил:

— В квадрате тридцать четыре неизвестная подводная лодка. Наш сигнальщик,— он показал на Попова,— заметил перископ...

«Морской охотник» вместе с дымзавесчиком сразу пошли на поиск лодки. Время от времени катера стопорили ход и акустик «морского охотника», сидевший в крохотной рубке, со всех сторон зажатый приборами, прослушивал море. Очень скоро в хорошо знакомый мир подводных звуков стали прорываться посторонние шумы. Акустик понял, что это лопасти винтов подводной лодки загребают воду. Он обрадовался: «Ага, напали на след...» — и доложил командиру.

А на катере уже все было готово к атаке. На корме, возле глубинных бомб, сложенных одна на другую, стояли матросы. Услышав команду: «Первая за борт, вторая... третья...», они начали действовать.

Бомбы скатывались за корму, и через несколько секунд разносились взрывы. Из глубины вырывались белые шапки воды, словно на море поднялся смерч. Потом вся эта масса воды ливнем обрушивалась обратно, долетала до кормы и заливала людей. Но в такие минуты одна мысль заботила катерников — уничтожить подводную лодку. И после каждого нового удара, прокатывавшегося в глубине, они смотрели на поверхность воды, точно знали, что вот-вот должно произойти что-то необыкновенное.

И действительно, в районе атаки началось странное

кипение воды, наружу вырывались громадные пузыри и расплывались во все стороны. Похоже было, что где-то в глубине образовалась воронка.

Моряки догадывались, что подводная лодка повреждена и остается добить ее окончательно.

Катер описал циркуляцию, и опять бомбы покатились за корму.

Тут и произошло то самое, чего никак не ожидали моряки и что случилось впервые за все три года войны: вместе с пузырями на поверхность моря всплывали оглушенные взрывами немцы в резиновых комбинезонах, точно таких же шапочках и темных спасательных жилетах. Их выбрасывало из глубины моря, как пробки из бутылки шампанского. Они размахивали руками и вопили о спасении.

«Морской охотник» не мог застопорить ход. Он должен был продолжать поиск: возможно, в этом районе действовали еще и другие подводные лодки противника, их тоже надо было найти и уничтожить.

Вылавливанием немцев занялись моряки катера-дымзавесчика. В воду опускался длинный багор, за который немцы хватались обеими руками, их подтягивали к борту и одного за другим поднимали на палубу.

Вот тут-то и обнаружился талант Саши Молчаливого. Никто и никогда не видел его таким деятельным и расторопным. «Хенде хох!» — командовал он немцам, заставляя их поднимать руки, и проверял, что у них в карманах, нет ли оружия или каких-нибудь неположенных предметов. У командира лодки и штурмана он изъял карманные пистолеты и вручил их мичману. У других немецких моряков нашел финские ножи и передал на хранение матросам.

Потом он бегал с палубы в кубрик, доставал йод, бинты, чертыхаясь, перевязывал немцев, с любопытством взирая на их посиневшие лица, во многих местах иссеченные царапинами и ранами, на их губы, дрожавшие от холода, а вернее, от близкого знакомства с глубинными бомбами.

И тут же с ходу он начал допрашивать их и выяснил, что самый длинный худой немец, который держался от всех особняком, это и есть командир подводной лодки, кавалер высшего гитлеровского ордена — рыцарского креста с дубовым венком.

Удивляясь необыкновенной разворотливости своего сигнальщика, мичман предупредил его:

— Ты смотри, с ихним братом поосторожнее.

— Плевать я хотел на ихнего брата, — отвечал Попов. — Сейчас устрою ему допрос — и амба.

Он опять подошел к командиру лодки и, сделав серьезное лицо, насупив брови, спросил, сколько лет немец плавает на подводных лодках.

— Очень давно, — не без гордости ответил тот и тут же прихвастнул: — Я еще в начале войны блокировал английскую военно-морскую базу Скапа-Флоу и потопил там несколько крупных кораблей.

— Как, как вы сказали? — спросил Попов.

— Скапа-Флоу, — повторил немец.

— А-а-а... Теперь все ясно! — глубокомысленно заявил неугомонный сигнальщик.— «Стало быть, там была Скапа-Флоу, а здесь «Сцапа-Флоу». Сцапали вас, или, по-нашему, балтийскому, схарчили.

По палубе прокатился смех матросов, прислушивавшихся к каждому слову этой незатейливой беседы немца с нашим Великим Немым.

Мичман объявил матросам, что сейчас пойдем в Кронштадт и, бросив взгляд на немцев, расположившихся на палубе, строго добавил, обращаясь к Попову:

— Скажи им, чтобы немедленно спустились в кубрик!

Но едва мичман успел произнести эти слова, как донесся свист снарядов и на далеком берегу, тонкой полоской, едва видневшейся на горизонте, засверкали вспышки. Все поняли: наблюдательные посты противника обнаружили наши катера и открыли по ним огонь.

— Давай их быстрее в кубрик! — настоятельно повторил мичман, и тут же послышался строгий голос Попова, обращенный к немцам: «Шнель! Шнель!»

Немцы, повинуясь команде, торопливо спускались вниз. Замыкал шествие командир подводной лодки, только что объяснявшийся с сигнальщиком по поводу Скапа-Флоу.

Над головой просвистели новые снаряды, и послышался взрыв, недалеко взметнулся столб воды. Катерок подбросило на высокой крутой волне, расходившейся во все стороны от того места, где плюхнулся снаряд.

Долговязый немец уже занес было ногу, чтобы шагнуть вниз, но вдруг резко подался назад, повернулся и бросился за борт.

Попов вздрогнул и непроизвольно выругался. Как был, в одежде и ботинках, он бросился в воду и что есть сил заработал руками.

Голова немца маячила впереди. Должно быть, гитлеровец был хорошим пловцом. Редкими и сильными взмахами рук он загребал воду и быстро подавался вперед, по направлению к тому самому берегу, откуда стреляла артиллерия противника.

Немца и Попова разделяли десятки метров. И чем дальше уплывал немец, тем сильнее было желание нагнать его.

Сигнальщик учащенно дышал, соленая вода просачивалась в рот, и он глотал ее, потому что ничего другого не оставалось. А руки, как птицы, попеременно взмахивающие крыльями, устремлялись вперед — туда, где маячила голова немца, сперва казавшаяся крохотной, с горошину, но с каждой минутой становившаяся все больше и больше.

Попов понимал, что осталось плыть не так уж много. Поднатужиться, еще несколько сильных рывков — и он будет у цели.

Нелегкой ценой давались эти последние, решающие минуты. Пловец начинал задыхаться, но сознание ясно подсказывало: «Смотри, ты совсем близко. Еще немного, еще...»

Мускулы предельно напрягались, и казалось, руки действуют сами по себе, независимо от всего тела. Теперь они с каждой минутой протягивались все ближе и ближе к немцу. И наконец наступил такой момент, когда они со страшной силой вцепились в человека, в его волосы, в его потерявшее силы тело.

Попов еще несколько минут поддерживал на воде немца, который закрыл глаза. Фашисту уже было все совершенно безразлично. Затем подошел катер и матросы подняли их обоих на палубу.

И хотя в этот момент все находившиеся на катере были в предельном напряжении, Попов наклонился к немцу, лежавшему на палубе с посиневшим лицом, и, что называется, залпом выпалил:

— Вот тебе и «Сцапа-Флоу»!

Пленных немцев доставили в Кронштадт, и там узнали мы всю эту историю.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Мы находились на аэродроме, почти в черте Ленинграда, в землянке на командном пункте Гвардейского Минно-Торпедного полка морской авиации.

Командир полка худощавый майор с серыми зоркими глазами, Герой Советского Союза Иван Иванович Борзов показывал мне альбомы с фотографиями, рисующими боевой путь летчиков-гвардейцев, вспоминал погибших и живых своих товарищей и отсюда перебросил живой «мостик» к нашим дням.

Он рассказывал, что в водах Балтики между шведскими, финскими и немецкими портами большое оживление, между южным и северным побережьем каждую ночь курсируют вражеские транспорты с войсками, боеприпасами, продовольствием, а также с железной рудой, которую немцы в большом количестве закупают в Швеции.

Шведское радио частенько сообщает о потоплении немецких кораблей русскими самолетами. Это чистая правда, потому что, как только начинает темнеть, морские летчики Балтики вылетают в море на поиски немецких кораблей, неся под фюзеляжем своих машин грозное оружие современной войны — торпеды.

Не так просто обнаружить корабль противника, еще труднее его удачно атаковать и потопить. Надо найти звериный след, а выйдя в атаку, лететь навстречу черным шапкам разрывов шрапнели, пулям, прокладывающим в воздухе разноцветные трассы, лететь навстречу тысячам смертей до того момента, пока торпеда не отделилась от самолета и не пошла в цель...

Правда, иной раз летчику удается появиться внезапно, не успеют на корабле сделать ни одного выстрела, а торпеда уже пропорола его тело, и он погружается в воду, охваченный огнем и дымом. Но чаще всего бывает другое: на корабле заметили советский самолет либо услышали гул его моторов — и приготовились к бою. Летчик пытается выйти в атаку, а его встречает ураганный огонь. Какое требуется упорство,

чтобы вести самолет прямолинейно, наперекор опасности и в нужный миг сбросить торпеду и уничтожить цель.

Пока мы беседуем, за окном сгустились сумерки, в землянку приходят молодые летчики, в меховых костюмах и унтах, похожие на медвежат... Появился и метеоролог с синоптической картой под мышкой.

Ему со всех сторон посыпались вопросы:

— Ну, что запад сообщает?

— Погода почти такая же, как у нас.

— А у берегов Эстонии?

— Разведчик еще не прилетел. Как только вернется, я доложу.

Летчики и штурманы не торопясь расстегивают комбинезоны, рассаживаются за столиками и в сосредоточенных позах долго сидят над картами. Пользуясь вычислительными линейками, они производят подсчеты и вычерчивают свой предстоящий путь, по которому они будут лететь, выполняя боевое задание.

— Пора! — говорит Борзов, глядя на часы. — Давайте наш разговор перенесем на утро.

Он выходит на середину землянки и, обратившись к летчикам, сообщает:

— Днем в Таллинском порту и на рейде разведчик обнаружил транспорты и сторожевые корабли противника. Всего тринадцать единиц. Вот их дислозиция. — Он показывает карту, на которой вычерчены малюсенькие значки, обозначающие суда грузоподъемностью в тысячи тонн. Борзов распределяет между экипажами цели, упоминая знакомые нам всем названия: Купеческая гавань, Пирита... И предупреждает летчиков: — Запомните входные ворота Ленинграда, иначе попадете под огонь наших зениток. Для сведения штурманов сообщаю: рассвет в шесть часов тридцать одна минута...

Снова в землянке вырастает фигура метеоролога, раскрасневшегося, обтирающего вспотевший лоб. Метеоролог пришел на этот раз с последними новостями, и все разговоры сразу стихают.

— Прилетел разведчик. По маршруту и над целью видимость семь — восемь километров.

Теперь все ясно. Летчики и штурманы поднимаются, свертывают карты, кладут их в планшеты и направляются к выходу.

— Укладывайтесь в темное время. Зря в море не болтаться, — слышится последнее напутствие командира полка.

А на аэродроме тьма хоть глаз выколи. У самолетов, этих причудливых, громадных темных птиц, распластавших крылья на земле, техники встречают своих командиров экипажей, докладывают о готовности машин. На старте, освещенном бледным светом «летучих мышей», Борзов провожает своих питомцев. По тому, как он дает последнее напутствие, а затем забирается в каждую машину, проверяет приборы и оборудование, можно понять, что сам он очень опытный летчик.

После того как самолеты улетели, Борзов сидит в землянке возле радиста на деревянном чурбанчике.

— Теперь они будут молчать. Противник может запеленговать, — говорит Борзов, обращаясь не то к радисту, не то к самому себе.

Сейчас у Борзова угрюмое выражение лица, скупые, точные движения. Ему есть что рассказать о себе, ведь он и сам летает — восемь кораблей противника пустил на дно.

Однажды в такую же темную ночь, как сегодня, он вылетел в море, рассчитывая на рассвете атаковать вражеский корабль и к наступлению нового дня вернуться домой. Но полет затянулся.

Уже начал заниматься рассвет, а на бесконечной серой пелене моря все еще не показывался ни один корабль. И вдруг на голубом фоне неба ясно обозначились мачты транспорта. Самолет описал круг и пошел в атаку. Борзову удалось на малой высоте незаметно сблизиться с кораблем, сбросить торпеду и отвернуть в сторону. Только тогда ему вслед полетели трассирующие пули и в небе вспыхнули знакомые шапки разрывов. А через минуту над морем уже полыхало зарево пожара. Охваченный огнем корабль погружался в воду.

Быстро светало. Между тем предстояло далекое и опасное возвращение. Нужно было забираться повыше. Самолет поднялся на семь тысяч метров, и экипаж надел кислородные маски. Самолет пересекал береговую черту противника. Прямо по курсу вспыхивали разрывы снарядов. «Нас засекли», — понял Борзов. Он дал предельную нагрузку моторам. Самолет забрался еще выше. Справа

в небе показались белые полосы — инверсионный след. И тут же Борзов увидел два немецких истребителя, пересекавших курс самолета. Он мигом снизился и скрылся в облаках.

Моросил дождь. Вокруг клубилась непроницаемая для глаза серая пелена. Ориентировка была потеряна.

«Давай вниз»,— сказал штурман, пытавшийся восстановить ориентировку; но как только самолет пробился сквозь облака и показалась земля, снова перед машиной засверкали разрывы зенитных снарядов. Борзов ощутил, как вздрогнул от удара корпус самолета, и тут же услышал голос стрелка-радиста: «Пробоина в правой плоскости».

Борзов снова устремил машину вверх. Пробивая облака, торпедоносец уходил на высоту, где люди могут дышать только в кислородных масках.

Более десяти часов продолжался этот рейд. И как ни сложны были условия полета, экипаж выполнил задание и благополучно вернулся домой...

Близится рассвет. Борзов все чаще выходит на улицу и подолгу прислушивается к настороженной тишине. Уже почти пять часов, как торпедоносцы ушли в море. Радист еще крепче прижимает наушники, стараясь среди шума морзянок услышать знакомые позывные, но пока и он ничего не слышит.

И вдруг в землянку вбегает дежурный:

— Летят, товарищ гвардии майор.

Борзов выбегает на улицу. Издали доносится гул моторов. На востоке, откуда идет рассвет, обозначились черные точки, с каждым мгновением увеличивающиеся, и вот уже самолеты проносятся над головой и покачивают крыльями. Борзов смотрит на часы и, впервые за эту ночь улыбнувшись, говорит:

— Прибывают точно по расписанию, как курьерские поезда.

Самолеты кружат над аэродромом, каждый экипаж терпеливо ждет своей очереди на посадку.

Вот первый экипаж является на командный пункт. Летчик вытягивает руки по швам и рапортует:

— Потоплен транспорт противника на большом таллинском рейде. Материальная часть в порядке, экипаж здоров.

— Сфотографировать удалось?

— Сняли, товарищ майор,— смущенно и не без гордости отвечает летчик.

— Зенитная артиллерия обстреливала?

— Очень крепко. И с кораблей и с берега. Два раза мы выходили в атаку, не могли прорваться. На третий раз решили: пан или пропал. А обратно летели, нас с Тютерса ловили прожекторы. Мы сторонкой прошли, а дальше, сами знаете,— наш след простыл.

В землянке тесно, собрались все экипажи, трудно что-либо понять в этом шуме молодых голосов. И хотя у летчиков усталый вид, но глаза блестят от возбуждения, и, кажется, часами они готовы друг другу рассказывать, как выходили в атаку, как маневрировали и прорывались сквозь зенитный огонь. Командир полка и начальник штаба устраивают «допрос с пристрастием», снимают «показания» буквально с каждого члена экипажа.

Тут же составляются и боевые отчеты.

Удачная ночь. Немецкий флот потерял четыре корабля.

ЗДРАВСТВУЙ, ТАЛЛИН!

Мы нетерпеливо ждали, когда наконец начнется наступление в Эстонии. Каждый день ходили в штаб флота, использовали все свои корреспондентские связи и знакомства, чтобы узнать день и час, когда это будет.

— Скоро, скоро,— говорили нам офицеры оперативного отдела.

— Когда же? — выпытывали мы.

— Немножко терпения — и все станет известно.

Действительно, прошли считанные дни, и 19 сентября 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарову, нанесли удар по немецким силам севернее Тарту и перешли в решительное наступление.

Ленинградская гвардия под командованием генерал-лейтенанта Симоняка, прославившаяся во всех крупных операциях Ленинградского фронта, теперь освобождает Прибалтику. Вместе с ленинградцами в боях участвует эстонский корпус генерал-лейтенанта Пэрна, родившийся в самые трудные годы войны. Немало дорог прошли воины-эстонцы, прежде чем ступили на свою родную землю.

Наступление развертывается с необыкновенной стремительностью. И это не мудрено, если учесть, что сразу после форсирования реки Наровы наши танки и самоход-

ные орудия вырвались на равнину и пошли на полной скорости, растекаясь по дорогам Эстонии.

В одних местах они лобовыми ударами прорубают оборону противника, в других — обходят ее и оказываются в тылу у немецких войск. Но в том и в другом случае они стараются не задерживаться, идут вперед. Не нужно объяснять, почему они так спешат, если на броне танков белой масляной краской выведены призывные слова: «Вперед, к Балтийскому морю!», «Даешь Таллин!»

Днем и ночью они несутся по гладким грунтовым дорогам волнистой равнины мимо одиноких хуторов и небольших селений, мимо невысоких редких кустарников и ветвистых дубов, перевитых буйными побегами плюща.

При таком стремительном марше наша мотомеханизированная пехота едва поспевает за танками.

Раквере — последний узел сопротивления противника. Здесь он рассчитывал задержать наши войска и дать возможность немецкому гарнизону эвакуироваться из Таллина.

Но наши танки обходным путем вырвались к Раквере и пропахали своими гусеницами те наспех построенные укрепления, в которых немцы собирались продержаться несколько дней.

От Раквере — прямой путь на Таллин. За последние сутки танки прошли 120—150 километров, и на рассвете нового дня они уже оказались на возвышенности, откуда виден весь Таллин, а за ним широкая синяя полоса — Балтийское море.

Сложная минная обстановка лишает возможности применить крейсеры, миноносцы и даже сторожевики. В наступлении принимают участие мелкосидящие корабли, главным образом быстроходные тральщики и торпедные катера.

Со стороны моря мы все ближе и ближе к Таллину.

С боем взят остров Большой Тютеярсари.

Пал порт Кунда.

И вот мы в бухте Локса, той самой «Бухте дружбы», где три года назад эстонцы укрывали раненых балтийских моряков.

Высокие сосны с густыми пышными шапками, домики рабочих кирпичного завода, затерявшиеся среди зелени. Услышав гул торпедных катеров, на побережье сбежались

люди. Они протягивают нам руки, встречают нас, как родных.

— Ведь вы были у нас, правда? — с детской наивностью спрашивает маленькая сероглазая женщина в вязаной жакетке и стоптанных девчоночьих туфлях.

— Нет, мы здесь впервые,— отвечаем ей.

— Неужели впервые? — с огорчением говорит она. — Ну, все равно, были здесь ваши раненые товарищи, и они не могут помянуть нас плохим словом. Мы ухаживали за ними, а потом нам всем пришлось тяжело расплачиваться. Меня держали под наблюдением комендатуры и никуда не разрешали выезжать. Одного нашего учителя арестовали за устройство в школе госпиталя для ваших моряков.

— А Леонхард Гнадеберг, наверно вы знаете... погиб... Они убили его на глазах жены и детей,— рассказывает медицинская сестра Юхана Труус и тихо плачет.

Мы пришли сюда на одну ночь. Надо принять десант и по первому приказу выйти в Таллин.

Стоим на песчаном берегу с командиром отряда торпедных катеров. Мимо нас гуськом проходят бойцы в зеленых касках, с автоматами в руках и скатками шинелей через плечо.

Командир отряда молча наблюдает за посадкой десанта. Вдруг лицо его багровеет. Поднеся к губам широкий раструб мегафона, он кричит:

— Не перегружать головной катер. Слышите? Не перегружать!

Пехотинцы и моряки оглянулись. Минутное замешательство, но сразу на пирсе объявился какой-то распорядительный офицер и направил поток бойцов на остальные катера.

— Неизвестно, что ждет в Таллине, — продолжал командир отряда. — Возможно, на рейде или в порту застанем немецкие корабли. Придется выходить в атаку. А попробуй-ка развернись с десантом.

Он сильно озабочен и не уходит отсюда, пока не закончена репетиция посадки десанта на катера.

Быстро темнеет. Ночь обняла землю, небо и море; все слилось в сплошную черноту.

Тишина. Слышны шорохи волн, то набегающих на песчаный берег, то откатывающихся обратно. В такую пору мысли теснятся и не дают покоя. Каким-то мы застанем Таллин, сохранился ли Вышгород, увидим ли башню

«Длинный Герман», знакомые нам узенькие улицы в центре города: Виру, Харью, Пикк... Наконец, уцелело ли белое здание с колоннами, где мы жили с профессором Цехновицером и где в стенном шкафу остались мои записки?!

На катерах люди бодрствуют: зная, что на рассвете поход, они проверяют приборы, механизмы.

Немало поработали за эти три года торпедные катера. На боевой рубке каждого катера цифра, иногда даже двузначная: число потопленных кораблей противника. Но завтра будет особый день. Приход в Таллин — это большое событие для всего флота, и потому нам всем не спится. Мы с командиром отряда разбираем пачку свежих газет, просматриваем страницу за страницей, читаем последнюю сводку Совинформбюро:

«Войска Ленинградского фронта продолжали наступление. Преодолевая сопротивление немцев, наши войска с боями продвинулись вперед на 25 километров и овладели важным узлом дорог городом Раквере».

Ничего не поделаешь, события развиваются настолько стремительно, что утреннее сообщение Совинформбюро к вечеру оказывается уже сильно устаревшим.

Во всяком случае, мы знаем, что Раквере недалеко от Таллина, и эти строки сводки совсем отогнали сон. Хочется ускорить бег часовой стрелки, не терпится дождаться нового дня. Сердце радуется. И на лицах можно прочесть одну мысль: «Скорее бы!»

Командир отряда увидел матроса с ветошью в руках и обрушился на него:

— Вы почему не отдыхаете?

— Да так, что-то не спится.

— Не спится, не спится,— сердито повторил командир отряда.— Что же вы, завтра сонной тетерей будете?

— Не беспокойтесь, товарищ командир. В Таллин придем, тогда отоспимся.

* * *

Рассеивается темнота, и хотя в небе еще не погасли звезды, на востоке проглядывает алая полоса зари.

На катерах заметно движение. Взревут на несколько минут и снова умолкают моторы. Зенитчики пробуют новые автоматы. То тут, то там раздается короткая очередь—

и в небо устремляются белые, красные трассы, как искры, вылетающие из костра.

Все катерники одеты по-походному — в больших кожаных рукавицах, со шлемами на голове.

Как и вчера, командир отряда стоит возле пирса, пропуская мимо себя десантников, только на этот раз уже не в порядке репетиции, а для участия в боевом походе. К нам подходит офицер и вполголоса сообщает:

— Есть сведения, что противник из Таллина отступает. Наши гонят его вовсю.

— Тем лучше,— замечает командир отряда.— Только не расхолаживайтесь. Надо быть готовыми ко всему.

— Само собой разумеется,— подтверждает офицер и идет вперед по узкому деревянному пирсу.

Наконец от гула моторов содрогается вся маленькая гавань. Катера, вспарывая воду, один за другим вылетают на рейд. Прощай, бухта Локса! Курс на Таллин!

Много дней усердно тралили здесь наши корабли. Они расчистили фарватер, сотни мин расстреляли, подорвали и открыли путь почти до самой Таллинской бухты.

Катера идут кильватерной колонной. Белый, пенящийся водоворот, остающийся за кормой, показывает их скорость. Кажется, только птицы могут угнаться за ними!

Волна заливает катера. Автоматчики ежатся, держатся за металлические части. Их основательно вымочило, но на лицах нет и тени уныния. У них так же, как и у нас всех, одно желание — скорее увидеть Таллин.

На горизонте появилась темная полоса. Все шире расстилается панорама знакомых мест. И вот уже видны остроконечные шпили над крышами зданий. К широкому асфальтированному Пиритскому шоссе амфитеатром спускается густая зелень. Символическая фигура ангела на памятнике русскому броненосцу «Русалка» простирает к морю руку с крестом.

Милый Таллин! Сколько мы о тебе думали! Где только тебя ни вспоминали: и в осажденном Ленинграде, и в снежных домиках на ладожской Дороге жизни, и в душных, тесных отсеках подводных лодок у берегов фашистской Германии! С каким нетерпением ждали этого дня и часа балтийские моряки!

Трудно сдержать волнение, видя знакомые островерхие башни, черепичные крыши домов и красный флаг, снова уже реющий над Вышгородом.

Пальцы крепко сжимают бинокль, смотрим кругом счастливыми глазами на все, что скрывается за этими кирпичными зданиями, подъемными кранами, беспомощно опустившимися к земле, и нефтяными цистернами, которые облизывают языки пламени.

Мы знали, что гитлеровцы готовятся отступить и сжигают торговый порт. Теперь мы видим это своими глазами. Чем глубже в гавань втягиваются катера, приближаясь к дымящимся пирсам, тем яснее картина разрушений.

Ни одного уцелевшего здания, ни одного элеватора. Морской вокзал со стеклянным потолком — краса и гордость Таллинского торгового порта — обрушился, точно под собственной тяжестью. Над ним плывут клубы дыма и кирпичной пыли.

На пирсах груды машин, они навалом громоздятся одна на другую. Повсюду полыхают пожары и стелется густой едкий дым.

Скорей бы подойти к причалам и высадить десантников, уже давно приготовившихся к броску, но это не так просто.

Куда ни посмотришь — повсюду из воды торчат потопленные корабли и самоходные баржи. Здорово поработали наши балтийские штурмовики и бомбардировщики. В последнее время они за день совершали десятки и сотни боевых вылетов. В результате намерения фашистов эвакуировать из Таллина людей не осуществились. Под ударами наступающих частей Ленинградского фронта гитлеровцы беспорядочно бежали из Таллина и искали убежища на островах.

Первым подходит к пирсу катер с минерами-разведчиками. Они выскакивают на берег. В руках у них щупальца, напоминающие удилища. Словно слепые, минеры ступают осторожно, медленно делают шаг за шагом, выставив вперед свои палки-щупальца и предельно напрягая слух.

Морским пехотинцам не терпится. Как только подходит катер, они прыгают на пирс один за другим, нащупывают в карманах гранаты-лимонки, берут автоматы на изготовку и исчезают в клубах густого черного дыма.

Не так просто пробираться среди этого лабиринта машин и различной боевой техники — подорванных танков, зенитных установок, которые стреляли по нашим самолетам и, может быть, только несколько часов тому назад превращены в обломки металла.

У служебных зданий, вернее, у развалин домов, нас встречают портовые рабочие в потертых и выгоревших на солнце синих комбинезонах и картузах с длинными козырьками.

— Скажите, как поживает «Киров»? — спрашивает один из них.

Мы переглянулись, не поняв вопроса. Тогда эстонец поясняет:

— Корабль... «Киров»... В газете «Ревалер цейтунг» писали, что он потоплен. Правда?

— Нет, он жив, и скоро вы его увидите,— отвечаем мы.

— Жив? Это хорошо!

Рабочие заулыбались.

Потом, встречаясь с эстонцами, мы не раз отвечали на этот же самый вопрос. Фашистская пропаганда — газеты, радио — без устали трубила о том, будто Балтийский флот уничтожен. Нам показывали в немецких журналах снимки крейсера «Киров», якобы потопленного фашистской авиацией, и портреты летчиков, награжденных за эту операцию железными крестами.

Из гавани наш путь лежал к центру города. Мы шли, как будто после долгой разлуки возвращались в свой собственный дом, осматривая все кругом и примечая каждую мелочь.

Мы обратили внимание на красные флаги, развевавшиеся по ветру, над воротами одного завода.

Откуда они взялись так быстро?

Случайно проходивший человек прислушался к нашему разговору, подошел и стал объяснять:

— О, эти флаги наш Эдуард хранил. С тысяча девятьсот сорок первого года. Познакомьтесь с ним. Хороший старик! Больше чем полвека работает на заводе.

— Где же Эдуард? Как его найти?

Незнакомец приглашает нас в парадную дверь, приводит в контору завода, а сам исчезает.

Через несколько минут незнакомец возвращается, ведя под руку пожилого эстонца небольшого роста, с черными, чуть тронутыми сединой волосами. Ему начинают переводить, кто мы и зачем пришли, но Эдуард останавливает переводчика:

— Зачем? Я сам хорошо знаю русский язык. Это при немцах я делал вид, что русского не знаю. Не хотелось с гестапо знакомиться.

Он садится на диван, кладет руки на колени, то опуская голову, то снова выпрямляясь, и, глядя на нас своими добрыми, ясными глазами, рассказывает историю спасения красных флагов:

— Вы помните Таллин в тысяча девятьсот сороковом году? Помните манифестации в честь установления Советской власти? Тогда и были сшиты эти флаги. Мы ходили с ними на площадь Победы. А после мне поручили хранить их и каждый праздник вывешивать на воротах завода. Пришли немцы. Я говорю своей Лизе: «Как быть с флагами? Надо спрятать их, да подальше». А она мне: «Смотри, найдут — тогда все погибнем». Я решил: «Ничего, припрячу так, что сам черт не найдет. Придут наши, флаги пригодятся». Сложил их, упаковал в бумагу и зашил в матрац, на котором сплю. Были, конечно, опасные моменты. Материя воздуха требует. Весной распорешь матрац, повесишь их в комнате просушить. Вдруг кто-нибудь идет. Прячешь куда попало. Вот так все три года и дрожал как липка, а все-таки сохранил и с флагами встретил Красную Армию.

Слушая рассказ Эдуарда, я думал о наших искренних друзьях, таких же простых честных тружениках Эстонии, которые с горечью и слезами провожали нас в августе 1941 года и теперь радовались вместе с нами.

Как жаль, что не дожили до этих счастливых дней все те, кто сражались за Таллин в 1941 году и уходили отсюда со святой верой в победу нашего дела, в то, что придет время и мы снова вернемся в Эстонию.

Идем дальше. На улицах стоят обгорелые скелеты машин, валяются брошенные ящики со снарядами. Наши части еще с утра вступили в город, и мы встречаем пленных, которых автоматчики собирают по всему городу и небольшими группами ведут в комендатуру.

Несмотря на долгую оккупацию, Таллин живет. Из окон домов смотрят приветливые, улыбающиеся люди, машут нам руками. Какая-то женщина в белом ситцевом платочке выскочила из парадного и подбежала к нам с восклицаниями:

— Миленькие вы мои, родные! Дождались наконец, дождались!

Она больше ничего не может сказать и только плачет, плачет.

— Мы русские. Нас сюда из Пскова пригнали.

Женщина берет нас под руку и вместе с нами идет к центру, рассказывая по пути, как тяжко жилось здесь нашим людям, угнанным из Ленинградской области в фашистскую кабалу.

Мне не терпится поскорее добраться до знакомых мест, увидеть тот дом, где мы жили с Цехновицером и где, вероятно, каждая мелочь напомнит мне о моем верном друге.

Ускоряю шаг. Вот и площадь Победы. Цела! Все здания сохранились в таком виде, как мы их оставили. Наши танки, ворвавшись в Таллин, прошли прямо сюда и стоят сейчас на площади, как монументы. Вокруг них все время толпится народ.

Сохранилась и широкая зеленая аллея, обсаженная деревьями и ведущая от площади вверх к кирке с двумя башнями «Карлакирик», и теннисные корты справа под Вышгородом. Только исчезли белки, которые когда-то встречали прохожих и из рук принимали орешки. Не видно и любимых таллинцами голубей, всегда важно расхаживавших по аллее.

Скорее, скорее наверх! От радости даже перехватило дыхание. Наш дом тоже цел и невредим! Подбегаю к нему, но войти нельзя. Перед дверьми предостерегающая табличка: «Минировано!». Тут же минеры раскладывают свои приборы, готовятся что-то делать.

— Скажите, когда можно будет войти внутрь здания? — спрашиваю одного из них.

— Не раньше завтрашнего дня. Тут дело хитрое. В подвалах домов уже найдены мины с часовым механизмом. Так что придется вам подождать.

Подхожу к широким окнам; через них вижу знакомый зал, где мы с Цехновицером провели памятные дни. Вместо стульев теперь стоит множество железных коек с матрацами, но без одеял и подушек. А вот там, направо, в стене потайной шкаф с моими записками. Уцелели ли? Придется потерпеть до утра, тогда все узнается.

Иду по улицам. Тяжелый, неприятный отпечаток наложила на город трехлетняя оккупация. Фашисты подорвали прекрасные здания на улице Нарва манте. Превратили в развалины театр «Эстония». Разграбили культурные ценности эстонского народа, и даже бронзовый бюст Петра, десятилетиями стоявший на постаменте среди зелени парка Кадриорг, распилили на части и отправили в Германию.

Жители Таллина сами признают, что они сильно изменились. Еще бы! Три года жить в постоянном страхе и неизвестности, каждую минуту ждать, что тебя прямо на улице могут остановить и отправить на вокзал, а затем в Германию.

В первый же день новой жизни Таллина я вижу в вестибюле гостиницы «Палас» иностранцев, очень похожих на туристов. Они одеты в легкие дорожные пальто широкого покроя и пестрые костюмы. У них через плечо висят футляры с фотоаппаратами. Держатся эти люди очень свободно и независимо, громко разговаривают, смеются и не обращают никакого внимания ни на администратора, ни на посетителей, сидящих в мягких креслах в ожидании свободного номера.

Как-то странно и даже неприятно в городе, столько выстрадавшем и не успевшем еще прийти в себя, слышать смех и нарочито громкие разговоры. Удивительно, что люди этого не понимают. Кто же они такие?

Ну, конечно, это наши коллеги — корреспонденты различных английских, американских, французских агентств и газет, прибывшие из Москвы к моменту освобождения Таллина.

Должно быть, среди них представители прессы и других иностранных государств. Обращает на себя внимание маленькая, изящная, как статуэтка, китаянка. Правда, она одета по-европейски, но черные как смоль волосы гладко зачесаны назад и оканчиваются сзади красивым круглым пучком, как принято в Китае.

— Что же их развеселило? — спрашиваю переводчика.

— В Таллине нет ничего, кроме пива. Они, не переставая, острят по этому поводу.

Переводчик объявил по-английски:

— Господа, прошу на второй этаж для встречи с писателем Вишневским.

Многие из иностранных гостей знали, кто такой Вишневский, и обрадовались представившейся возможности познакомиться с писателем-моряком.

Не спеша, вразвалку, ленивой походкой корреспонденты поднимались по лестнице.

Посреди гостиной стоял Всеволод Витальевич в своем неизменном морском кителе с несколькими рядами орденских ленточек на груди и пистолетом в деревянной кобуре.

Все сели в кресла. Один Вишневский продолжал

стоять возле маленького столика и рассказывал, как развивалась операция по взятию Таллина: сперва балтийцы с моря поддерживали наступающие войска, освобождали острова, захватывали бухты на южном побережье Финского залива, потом высадили десант в Таллинском порту.

Переводчик старался успевать за Вишневским и переводил фразу за фразой. Следуя своей обычной манере, Вишневский передавал очень короткими, энергичными фразами живые впечатления участника боев. Выразительно, как актер, он рисовал внешний облик и характерные особенности речи людей, с которыми встречался на фронте. Слушая Вишневского, корреспонденты не сводили любопытных глаз с худощавой женщины в синем морском кителе с белыми погонами старшего лейтенанта на плечах, в берете с военно-морской эмблемой. Она скромно сидела в углу, стараясь не обращать на себя внимания. Но как раз на нее и были устремлены взгляды.

Когда Вишневский кончил говорить, полный человек в кремовом плаще и синем берете вынул изо рта трубку и весьма учтиво спросил:

— Скажите, пожалуйста, кто эта мисс?

— Она художник, — пояснил переводчик. — Добровольно пошла на войну и служит на флоте.

Все оживились. Заработали вечные перья.

— О, это такая исключительная сенсация! Женщина-художник на войне!.. в военном флоте! — заметил американец в кремовом плаще.

— Тут нет никакой сенсации, — сердито проговорил Вишневский. — У нас десятки тысяч женщин оставили семьи и ушли на фронт.

— Сенсация! Настоящая сенсация! — упорно повторял американский журналист.

— Командование просит сообщить, что недалеко от Таллина, в местечке Клога, обнаружен большой немецкий концлагерь, — объявил переводчик. — Если желаете, сейчас же можно туда поехать. Машины у нас есть.

Все согласились.

В ЛАГЕРЕ СМЕРТИ

Вскоре мы, советские журналисты, и иностранцы ехали по густому сосновому лесу и с наслаждением дышали чистым ароматным воздухом.

«Какая сказочная природа, — думал я. — Кажется,

нет лучше уголка на земле. Сосна. Песок. Воздух полон запахов свежей хвои».

Пушистые сосны тянутся по обе стороны шоссе. Но вот впереди возникли деревянные ворота, вправо и влево от них несколько линий густой колючей проволоки, за которой виднеются бараки.

На воротах аршинными буквами надпись на немецком, русском и эстонском языках:

«Стой! Буду стрелять!»

Мы входим в ворота. Навстречу нам со всех сторон бегут мужчины и женщины в каких-то грязных отрепьях — маленькие, щуплые существа, скелеты, обтянутые кожей, один вид которых заставляет содрогаться.

Они бросаются нам на шею, не выпускают наших рук, и кажется, в эти минуты совсем счастливыми стали их страдальческие лица.

«Спасибо Красной Армии!» — кричат одни. «Все это как сон», — говорят другие. «Вы посмотрите, что они творили!» — повторяет старуха с широко открытыми глазами, в которых, должно быть, на всю жизнь запечатлелся пережитый ужас.

Несколько десятков людей случайно остались в живых после жесточайшей расправы, учиненной гитлеровцами накануне прихода советских войск в Таллин. Эти люди и водили нас по лагерю.

Мы вошли в один из бараков и увидели груды трупов. Тут лежали мужчины, женщины вместе со своими детьми. Эсэсовцы загоняли их сюда по очереди и расстреливали в затылок.

— Идите сюда, — торопил нас адвокат из Вильнюса, молодой человек, с лицом, заросшим густой черной щетиной. — Посмотрите на крышу барака, там трое суток прятался от них мой хороший друг Ханс Куус.

— Какой Ханс? Он воевал под Таллином в 1941 году?

— Да, да, воевал. Начал под Таллином, а кончил на Ханко.

Он! Ханс Куус, прекрасный товарищ, наш верный друг!

Теперь мне не терпелось узнать, что же с ним стало. Я отвел адвоката в сторону, и он неторопливо рассказал историю человека, который прожил мало, но много сделал для нашей победы.

После Таллина и Пярну Ханс продолжал быть развед-

чиком, и перед самым уходом наших кораблей из Таллина его отправили на полуостров Ханко. Там он находился до получения приказа оставить Ханко.

Куус отступал с последним эшелоном. Он попал на переполненный войсками пароход.

Под взрывы мин и артиллерийских снарядов, под грохот глубинных бомб корабли уходили с Ханко.

Утомленный несколькими бессонными ночами, Ханс почувствовал себя здесь как в раю, спустился в трюм и лег среди людей, сваленных смертельной усталостью. Он только стал засыпать, как вдруг — удар в лицо. Открыл глаза — на груди спокойно лежит тяжелый солдатский сапог. Ханс вскочил и выругался. Ему никто не ответил. Спящий человек, неаккуратно протянувший ногу, теперь повернулся на другой бок и продолжал храпеть. А у Ханса сон пропал. Ему было душно, и он решил подняться по трапу наверх и подышать свежим воздухом. Едва он оставил трюм, как где-то под килем раздался взрыв. За ним второй, третий... Образовались пробоины, внутрь корабля хлынула вода, и многие люди, оставшиеся в трюме, не успели даже проснуться.

Хансу повезло. Удар солдатского сапога пришелся вовремя.

Были пущены в ход все помпы и насосы. А вода все прибывала и прибывала. Пароход не мог двигаться дальше. К нему подошли наши тральщики и часть людей сняли, но многие остались на судне. Вместе с ними остался и Ханс Куус.

Смертельно раненное судно кренилось и погружалось в море.

Тральщики со спасенными бойцами ушли в Кронштадт, а другие балтийские корабли еще не подоспели на помощь, и тут появились немецкие миноносцы и сторожевики. Они окружили раненое судно и навели на него пушки.

Немцы не решились сразу подойти борт к борту, а вызвали буксиры, завели концы и повели отяжелевший пароход в Таллин. А из гавани был прямой путь в Клогу...

Но и в лагере Ханс не был сломлен. О нем с уважением говорили заключенные, всякий раз вспоминая его мужественное поведение на пароходе: к нему теперь обращались за советом, ему доверяли самые сокровенные тайны

И уже в самый канун освобождения Таллина он рань-

ше всех узнал, что гитлеровцы собираются учинить массовую расправу над заключенными. С помощью своих многочисленных друзей Ханс стал готовить, как он сам называл, «операцию». По всему лагерю усиленно собирались бутылки, и предполагалось, что, как только людей выстроят на проверку, по условленному сигналу наиболее сильные мужчины с бутылками в руках набрасываются на охрану и уничтожают ее, а все остальные разбегаются по лесам.

Само собой разумеется, часть участников восстания погибнет. Зато другие останутся в живых и встретят Красную Армию.

Возможно, так все и было бы. Но среди самих заговорщиков нашелся предатель, который все раскрыл немцам.

Ханс куда-то исчез. Вся стража была поставлена на ноги. Немцы обшаривали каждый уголок лагеря, «прочесывали» ближайшие леса. И все напрасно.

Никто не предполагал, что Ханс прячется на чердаке этого самого барака, между деревянными балками и кровлей. Он пролежал тут трое суток, а на четвертые сутки голод заставил его спуститься вниз. Вот тут-то его и схватили, а наутро он был уведен в лес и расстрелян...

— В нашей памяти он сохранился в лике святого. На него должны люди молиться всю свою жизнь, — сказал адвокат, заключая эту необыкновенную быль о жизни нашего верного эстонского друга.

Мы подошли к обгорелому остову двухэтажного стандартного финского дома. Сюда приводили людей, приказывали вставать на колени. Вперед выходили автоматчики и длинными очередями скашивали один ряд за другим. За несколько часов все восемь комнат были заполнены трупами. Тогда эсэсовцы, чтобы скрыть следы своего преступления, облили дом бензином и подожгли.

Мы стояли над пепелищем и с ужасом смотрели на груды человеческих костей.

Еще более чудовищная картина, которую я буду помнить до конца своих дней, предстала перед нами дальше, на открытой поляне. Это были так называемые «индейские костры», сложенные из человеческих тел.

Обреченные приносили из леса длинные плахи, укладывали их колодцами. Сами ложились вперемежку с

плахами, лицом вниз. Автоматчики, не торопясь, обходили «колодцы» и расстреливали свои жертвы.

Потом поджигали плахи, и они сгорали вместе с трупами.

Их было много, этих страшных костров. Одни превратились в груды пепла и костей, а другие костры палачи, видимо, не успели поджечь. На таком костре я видел человека, закрывшего лицо кепкой перед тем, как автоматчик пустил ему в голову пулю. Я видел двух братьев-близнецов, они крепко обнялись и так встретили смерть.

Наконец,— и это, пожалуй, самое страшное — я видел человека, которого гитлеровцы, должно быть, не убили, а только ранили, и он горящим выскочил из костра. В нескольких шагах его все же настигла пуля, и он упал навзничь на траву, продолжая гореть.

Мы ходили молча, опустив головы и ни о чем не спрашивая сопровождавших нас офицеров и тех немногих узников лагеря, что чудом остались живыми. Лица наших спутников мужчин были полны скорби, а китаянка поминутно вынимала из сумки носовой платок и вытирала слезы. Должно быть, ей стоило больших трудов сдерживать себя, чтобы не разрыдаться.

После осмотра лагеря нас провели в комендатуру и показали сплетенные из кожи и проволоки плетки, которыми администрация лагеря наказывала непослушных узников. Провинившиеся ложились на скамейку и обхватывали ее руками. Руки привязывались ремнем. Во время порки заключенные должны были сами громко, вслух, подсчитывать число ударов.

— Какой ужас! — воскликнула китаянка, прикоснувшись пальцами к толстому жгуту, который не раз ходил по человеческому телу.

— Никакого ужаса нет! — ответил ей джентльмен в синем берете с гладким холеным лицом. Он захлопнул блокнот, спрятал его в карман и затянулся дымом толстой сигары.

Все смотрели на него: одни с недоумением, другие с возмущением, а он, ничуть не смущаясь, продолжал:

— Здесь нет никакой сенсации. Самая обыкновенная жестокость врага.

С этими словами он вышел из барака и направился к своей машине.

По приезде в Таллин этот же самый журналист попро-

сил устроить ему встречу с пленными немецкими солдатами и офицерами. Он долго и тщетно добивался от них признания, что немецкий гарнизон сдал Таллин без боя по причине «стратегического сокращения фронта», о котором в последнее время твердил Геббельс, пытаясь оправдать поражение фашистской армии.

* * *

На следующий день мне пришлось покинуть Таллин. Мы шли дальше с нашими наступающими войсками к островам Эстонии — Муху, Даго, Эзель.

Но однажды, улучив момент, я все же вернулся в Таллин. И конечно, первым долгом пришел в наш дом, который уже давно разминировали. Так же, как до войны, здесь опять были парткабинет и библиотека.

Правда, зал еще пустовал. Койки убрали, а стулья, должно быть, не успели приобрести.

Совершенно ясно, что я первым долгом бросился к нашему с Цехновицером потайному шкафу. Увы! Он оказался пуст. Даже полочка, где стояли книги, выломана.

Ко мне подошел майор, как выяснилось, назначенный заведовать парткабинетом, и с хозяйским видом строго спросил:

— Что вам надо?

Я рассказал, что́ меня интересует. Майор сразу подобрел и проникся сочувствием.

— Тут находилась омакайтсе[1], — сообщил он. — А от них ничего хорошего ждать не приходится.

— Омакайтсе? Что-то первый раз слышу такое слово.

— Это тот же кайтселийт, — пояснил майор. — Только под другой вывеской. Все годы верой и правдой они служили фашистам.

Майор провел ладонью по лицу и задумался. И вдруг его хмурое лицо сразу преобразилось.

— Знаете что, надо поспрашивать людей. Вот, например, тут ко мне заходила одна эстонка. Просилась на работу. Говорит, что она была уборщицей до войны, во время войны и до самого нашего отступления. Может быть, она что-нибудь скажет. Вы ее случайно не знаете?

Как же не знать! Я сразу вспомнил старательную, тру-

[1] Омакайтсе — буржуазно-националистическая военная организация, существовавшая в Эстонии во время фашистской оккупации.

долюбивую женщину, которую Орест Вениаминович никак не мог вызвать на разговор.

— А где она? Адрес есть?

— Идемте в кабинет. Адрес ее записан.

Майор вручил мне адрес, и я сразу же направился разыскивать далекую улицу Роо.

Нашел двухэтажный деревянный дом с винтовой лестницей, какую уже не встретишь в здании современной постройки. Мне открыла дверь та самая женщина, которую я знал во время обороны Таллина.

— Вы меня помните?

Она утвердительно кивнула головой и сказала:

— Заходите.

Я вошел в маленькую, скромно обставленную, но блиставшую чистотой комнатку и начал объяснять причину моего появления: не знает ли она, куда могли деться бумаги, которые мы оставили в стенном шкафу.

Она на минуту исчезла и вернулась, неся в руках старую плетеную корзинку. Порывшись в ней, она достала с самого дна мои записки.

Я не знал, как ее благодарить. А она стояла смущенная и тоже не знала, что ей делать.

ОН БОЛЬШЕ НЕ БЫЛ СОЛДАТОМ

В один из январских дней 1945 года в Таллине я получил письмо от Всеволода Витальевича Вишневского, в котором вместе с дружескими словами были присущие ему восторженные и вдохновенные строки:

«Мы все пережили... Все выдержали... Наступил канун великих событий. Надо быть там, впереди, чтобы своими глазами увидеть Победу».

И хотя на дворе была добрая русская зима со снежными сугробами, основательными холодами, от письма Вишневского повеяло теплым весенним ветром.

Волновала уже одна мысль о том, что наши войска в Восточной Пруссии — этом осином гнезде немецкой военщины.

Балтийский флот наступал вместе с армией, помогая добивать немецкую группировку на «либавском пятачке». Моряки поддерживали наши войска с моря в направлении на Клайпеду, Кенигсберг, Пиллау.

Вечером мы выехали на фронт, оставляя затемненные улицы Таллина. Синие фары бросали бледный свет на

гладко укатанную зимнюю дорогу. За ночь мы проехали Ригу, а утром увидели почти дотла разрушенный немцами Шауляй. Одни трубы поднимались над землей, как памятники тем, кто прожил здесь долгую жизнь.

На перекрестках появились указатели дороги на Клайпеду, в которой сидели еще немцы, но чувствовалось, что их дни сочтены. Потом указатели со словом «Клайпеда» встречались на нашем пути каждые 15—20 километров.

По всем признакам ощущалась близость фронта, часто над нашей головой появлялись самолеты и завязывались воздушные бои.

Наконец мы добрались до большого литовского села Калвария, с традиционным распятием Христа у въезда в село, с бревенчатыми домами, напоминающими русскую деревню.

По селу ходило много военных. И это понятно: в ту пору здесь находился штаб 1-го Прибалтийского фронта и командующий фронтом генерал Баграмян.

Попасть к нему на прием было очень просто. Он так же, как и все, жил в избе, разделенной на две половины — приемная и кабинет. Он сидел за столом, плотный, кряжистый, с гладко выбритой головой, маленькими, аккуратно подстриженными черными усиками, и два маленьких уголька — в глазах с лукавой усмешкой.

Перед ним на обычном колченогом деревянном столе одна на другой лежали несколько карт, испещренных красными и синими значками. Настроение у него было прекрасное в связи с победами наших войск, в том числе и частей его фронта, прорвавшихся в Восточную Пруссию и овладевших городом Тильзитом.

Баграмян сказал:

— Это доблесть сорок третьей армии. Вчера в двух местах она форсировала Неман и ночью штурмом взяла город.

— Так что сегодня Москва будет вам салютовать? — спросил я, на что Баграмян довольно решительно заявил:

— Воюем не мы, а солдаты. Им слава и московские салюты им. У немцев паника, — продолжал он. — Раньше они кричали, что русские исчерпали все свои резервы. Теперь ударились в другую крайность. На все лады трубят о прорыве своей обороны, ссылаются на колоссальные силы русских, кричат, что-де русские применили самые мощные в мире танки «ИС» — в шесть раз сильнее лучших

немецких танков. Вот какую песенку запели! И оно понятно, надо же как-то оправдать свое поражение.

Меня интересовало общее положение на фронте и, в частности, на участке Клайпеды и Либавы.

— Есть основание полагать, что немцы будут благоразумны и заранее уйдут из Либавы, а не уйдут — попросим, — сказал Баграмян, и глаза его еще больше сузились, в них можно было заметить глубокую иронию. — Вы поезжайте в Палангу. Там наши моряки. И ждите событий. Правда, Паланга сейчас меж двух огней находится. Но зато оттуда вы живо доберетесь до любой части.

На этом наш деловой разговор закончился. Генерал Баграмян встал, прошелся по комнате и спросил меня:

— Вы не слышали, к нам в плен попал ваш коллега?!

Взглянув на меня и, должно быть, заметив на моем лице недоумение, Баграмян добавил:

— Да, да, мы взяли в плен немецкого журналиста, военного корреспондента газеты «Нейе Цейтунг» Курта Эбера.

И генерал рассказал, как это случилось. Части 51-й армии вели бои с блокированной либавской группировкой. Глубокие снега мешали применить танки. Авиация тоже не могла действовать из-за густого тумана, уже много дней закрывавшего землю. Воевала матушка-пехота и артиллерия. Особенно тяжелый бой разгорелся севернее местечка Скуодаст за овладение лесным массивом. Тут действовали с нашей стороны только разведчики и штурмовые группы с малокалиберной артиллерией. Немецкие «кукушки» сидели на деревьях и прятались в кустах. Нашим было трудно пробираться, утопая в снегу. И все же лес площадью в 8 квадратных километров они прочистили основательно и захватили около двух тысяч пленных. Среди них оказался и немецкий журналист Курт Эбер.

Я выслушал рассказ генерала Баграмяна и собрался уходить.

— Вам нужна какая-нибудь помощь? — спросил он.

Я сказал, что мне хотелось бы на короткое время где-то присесть, чтобы написать материал, и, кроме того, я попросил разрешения передать его в редакцию по «бодо» или «ВЧ». После этого я освобожусь и смогу поехать в Палангу.

— Ступайте к разведчикам, скажите, что я приказал вас устроить, — сказал Баграмян.

Адъютант привел меня в просторный дом, где не было никого, кроме пожилого угрюмого подполковника. Он подбирал какие-то бумаги, завидев меня, на минуту оторвался от своих дел и сказал, что я могу сесть за любой из трех свободных столов этой походной канцелярии.

Я разложил свои записи. Кроме собственного блокнота передо мной лежало несколько писем немецких солдат из полевой почты противника, захваченной во время наступления, и очень интересный дневник немецкого майора. Он покончил жизнь самоубийством, поняв, что для Германии война проиграна. Этот дневник вместе с трупом майора нашли наши разведчики в одном из освобожденных литовских сел.

Я писал не поднимая головы и не замечая, что происходит вокруг. В избу заходили какие-то люди и о чем-то беседовали с подполковником, но я к их разговору не прислушивался.

Вдруг подполковник подошел ко мне и сказал:

— Извините, вам, наверное, будет интересно поговорить с этим пленным? — И он показал на немца в офицерской форме, сидевшего на самом кончике стула.

Я сразу понял, что это и есть тот самый журналист, о котором рассказывал мне генерал Баграмян.

Мы подошли к нему. Он вскочил.

Это был сравнительно молодой, но уже лысеющий человек небольшого роста, с детскими, припухлыми губами и серыми глазами навыкате, прикрытыми квадратными роговыми очками.

— С вами хочет поговорить представитель нашей военной печати, — сказал подполковник по-немецки.

Курт Эбер слабо улыбнулся и заморгал рыжеватыми ресницами.

— Как вы попали в плен? — спросил я.

— Случайность, чистая случайность: меня подвело зрение. Близорукость — скверная штука, и к тому же я плохо знаю топографию. Нас так обстреливали. Это был форменный ад! Я бежал куда глаза глядят, хотел укрыться и не заметил, как оказался у русских.

— Вы сожалеете об этом?

— Конечно. Случилась большая неприятность. И для меня, и для моей семьи.

— Но вас могли убить, и это было бы гораздо хуже.

— Трудно сказать, что лучше, что хуже, — ответил он с грустной улыбкой. — Я ведь понимаю, что меня все равно расстреляют.

— Вы говорите вздор. Никто не собирается вас расстреливать, — сердито отозвался подполковник. — Ведь вам уже это объясняли.

Курт Эбер недоверчиво взглянул на него и опустил голову. Дальше наш разговор носил чисто профессиональный характер. Подполковник вернулся к своим делам, а мы с Эбером присели на скамейку. Я интересовался, давно ли он стал журналистом, в каком жанре работает, на какие темы чаще всего пишет, на каких участках фронта бывал за последнее время. Он охотно и обстоятельно отвечал на все вопросы. Это позволило мне обратиться к нему с несколько неожиданным предложением:

— А вы не могли бы написать нам статью о положении либавской группировки?

— Мог бы, пожалуй. Но вас моя статья не устроит. В вашей газете ее не опубликуют.

— Не будем гадать об этом. Думаю, что все зависит от того, как она будет написана.

Он задумался и, помедлив, ответил:

— Ну что ж, можно попробовать.

Я предложил ему снять шинель, вырвал из блокнота несколько листов и уступил часть стола. Эбер сел, долго думал, держа в руках вечное перо, временами его губы двигались, он что-то про себя бормотал. Потом перо быстро забегало по бумаге. Но я успел закончить свою корреспонденцию и отправить ее прежде, чем Эбер протянул мне три страницы, исписанные мелким почерком.

Мы с подполковником прочитали его статью. Это был набор фраз, ничего не добавлявших к тому, что уже было известно о либавской группировке немцев. К тому же в нескольких местах были одни пустые слова из геббельсовского арсенала.

— Да, мы этого не напечатаем, — сказал я. — Это просто плохо написано. Будем говорить честно. Здесь нет ни одной мысли, ни одного живого образа, ни одного факта. Все это легко написать и не побывав на «пятачке». А кроме того, неправда, что солдаты вашей либавской группировки «полны энтузиазма». Где уж там! Я могу доказать вам обратное. Познакомьтесь хотя бы с этим документом.

Я протянул ему дневник майора-самоубийцы. Эбер

стал читать запись за записью, страницу за страницей. Мы разговаривали с подполковником, но я видел, как захвачен был дневником Эбер. Он побледнел, а во время чтения последней записи, в которой майор, прощаясь с товарищами, сообщал о своем решении застрелиться, губы Эбера задрожали. Казалось, он вот-вот расплачется.

Он молча вернул мне тетрадку, и в этот момент я почувствовал, что ему стало неловко, стыдно. Быть может, даже не передо мной, а перед своей собственной совестью. Несколько минут длилось молчание. Затем Эбер поднял голову, посмотрел на нас и сказал:

— Я бы хотел еще кое-что написать... Только... не для газеты.

— Пожалуйста, — согласился подполковник и, посмотрев на часы, добавил: — Сейчас вам принесут ужин, поешьте, а потом пишите сколько угодно.

Вскоре ему принесли котелок щей и миску гречневой каши. Мы собрались в штабную столовую. Уходя, подполковник сказал:

— Мы оставим вас одного. Пишите, никто вам не будет мешать.

— Вы не боитесь, что я убегу?

— Никуда вы не убежите, — усмехнулся подполковник. — Изба охраняется. Сколько времени вам потребуется?

— Могу я писать до двенадцати?

— Да.

— Этого мне вполне достаточно.

В начале первого мы подошли к избе и заглянули в окно. В комнате висело облако дыма. Ужин так и остался нетронутым. Немец сидел без мундира. Во рту у него торчала сигарета. Глубоко затягиваясь, он пускал под потолок струйки дыма и провожал их сосредоточенным взглядом. Затем снова начинал писать.

Мы вошли в избу. Вид у Эбера был утомленный и голос дрожал.

— Прошу извинить, я еще не кончил писать. Я сам не думал, что это так затянется, — сказал он, стараясь понять, верим мы ему или думаем, что он обманывает нас, пытаясь оттянуть время.

Мы заявили, что оставляем его на всю ночь. Теперь он может писать хоть до утра, если хочет.

Ночевал я у начальника разведки, в избе, стоявшей

через дорогу. Мы долго не ложились спать — разговорились о прошлом, о мирной жизни. Несколько раз мой хозяин подходил к окошку и, увидев, что в избе напротив все еще горит лампа, и Эбер все еще сидит за столом, говорил:

— Пишет!

Утром, зайдя в комнату, мы увидели такую картину: немец сидел, положив руки на стол и уронив на них голову, спал, тяжело дыша, губы его вздрагивали и шевелились. Должно быть, и во сне он не мог успокоиться.

Я тронул его за плечо. Он открыл глаза и несколько секунд не мог понять, что с ним происходит. Наконец, придя в себя, он протянул мне стопку исписанных листочков и сказал:

— Я закончил это только под утро. Прочитайте, пожалуйста.

Вот что было написано на этих листочках:

«Быть может, в последний раз я берусь за перо. Берусь для того, чтобы сказать правду. Чтобы перед самим собой, перед своей совестью признаться, в каком мире фантастической лжи мы жили все это время.

Я беру в руки это перо для того, чтобы зачеркнуть все, что было написано мной ранее. Я хочу сказать «нет» своему прошлому, которого уже не вернешь, не переделаешь. Не возвратишь того летнего дня 1934 года, когда я впервые переступил порог редакции газеты «Нейе Цейтунг». Я нес в руках свернутую тетрадку и в ней все мое тогдашнее достояние, все, чем я был тогда богат и счастлив, — мои стихи. Они были нежны и искренни, мои первые опыты. Даже сейчас, через столько лет, мне кажется, что там были неплохие стихи. Может быть, не вполне оригинальные, но, право же, неплохие. Да разве могли они быть другими? Ведь они были посвящены любви!

Протянув тетрадку редактору газеты, я ожидал одобрения. Я надеялся на успех и тогда, когда глаза редактора, прочитавшего первое стихотворение, удивленно уставились на меня. От робости и смущения я не мог объяснить, что первое стихотворение — это только вступление, а настоящий разговор о любви пойдет дальше. Однако никакая робость и никакое смущение не могли лишить меня надежды на успех. Ведь успех мне был так нужен!..

Конечно, Эльза и так верила в мой талант. Но ведь для того чтобы жениться, мало одного таланта, нужны еще

деньги. А успех — это деньги! Вот почему он мне был так нужен.

Успех — это мое счастье, мое будущее. Кажется, редактор не понял этого. Откинувшись на спинку кресла, он спокойно созерцал меня.

— Да, молодой человек. Вы, конечно, не лишены способностей... — На этом месте он сделал паузу. — Но на что тратите вы свои способности, свою энергию? На что, позвольте спросить вас? — Резким, порывистым движением он поднялся с кресла, подошел к окну и отдернул штору. — Взгляните сюда! Вы видите на улице марширующих солдат. Вы слышите их чеканную поступь. Это поступь истории! Вы видите — там, далеко, дымятся трубы заводов и фабрик, там среди шума и грохота создаются новые машины — машины будущего. И вот здесь, в сердце Германии, рождается будущее всего человечества. Ваше будущее, молодой человек! И если вы хотите приблизить это прекрасное будущее, пишите обо всем этом, пишите о нашем великом народе, который освободит весь мир.

Я не знаю, был ли этот человек убежден в том, что он говорил, или он произносил эти слова «по долгу службы», за деньги. Но как бы то ни было, он делал свою работу добросовестно.

Я вышел из редакции. По улице, разморенные июльской жарой, действительно маршировали солдаты. Была ли в их чеканном шаге «поступь истории» — этого я не знал. Мне она не была слышна.

На другой день я пошел в другую редакцию. Там другой человек, менее заинтересованный, усталыми глазами просмотрел мои стихи и, напряженно морща лоб (будто старался что-то припомнить), начал говорить мне приблизительно то же, что и его коллега.

Так было в течение целого года во всех редакциях, в которые я обращался. Одни поучали меня с бо́льшим пафосом, другие — с меньшим, но суть дела от этого не менялась.

Наконец я написал первые стихи о «новой Германии». Я принес их в «Нейе Цейтунг», и мой знакомый редактор, прочитав их, поздравил меня с успехом. Вот оно желанное слово: «Успех!» Я писал еще и еще. Постепенно моя работа стала нравиться мне самому. Я начал выступать

со статьями и, кажется, почувствовал себя убежденным в «великой миссии», возложенной на наш народ.

На улицах грохотали барабаны, по радио, не переставая, звучали воинственные мелодии, люди — многие, во всяком случае, — жили в каком-то непонятном возбуждении. И я писал приветственные стихи, обращенные к нашему будущему.

На фронт я пошел под звуки тех же самых барабанов. И вдруг все смолкло. Это случилось в заснеженных полях России. Не звучал больше барабанный бой в разгоряченных головах моих товарищей. Стояла ужасная, пугающая тишина. Пугающая и в то же время... желанная. Да, да, желанная! Мели снега, завывал ветер. Мы оказались одни, сами перед собой, один на один со своей совестью. Когда радио начинало кричать, его попросту выключали. Люди захотели тишины, которой не знали чуть ли не двадцать лет. Люди хотели слушать эту тишину и слушать самих себя. Зачем они пришли в эту чужую, непонятную страну? Кого они должны «освободить» здесь, за что они проливают кровь? Все это казалось таким ясным в Германии — все, о чем вопило радио, кричали газеты, возвещали ораторы. И все развеялось в прах.

Мели снега, завывал ветер, и каждый думал о доме. Я вспоминал Эльзу, свою уютную квартирку, перебирал в памяти прошлое. «Если вы хотите приблизить это прекрасное будущее...» Нет, я не хотел такого будущего.

В Либаве большая группировка наших войск попала в окружение. Наверно, это было самым ужасным из всего, что я когда-либо видел. Мне удалось выбраться из этого «котла», но через несколько дней я попал в плен. Я, пожалуй, даже рад этому — что бы со мной ни сделали. Я радуюсь, что вышел из этой бессмысленной кровавой игры. Потому что каждый человек должен жить во имя счастья, во имя будущего, но только во имя действительно прекрасного будущего. А у нас его нет!

Многие из нас уже давно начали понимать это: война в России отрезвила нас. Но мы не только боялись говорить об этом друг с другом — мы и самим себе боялись признаться в крахе своих иллюзий.

Как заведенный автомат, я повторял до сегодняшнего дня всю ту ложь, которой мы жили столько лет. Но, видимо, чаша уже была полна: последняя капля переполнила ее; я не хочу и не могу больше лгать!

Быть может, в последний раз я берусь за перо. Берусь для того, чтобы самому себе признаться в трагедийной развязке. Для того, чтобы сказать людям, что истинно прекрасное будущее только в их руках. И что добывается оно совсем не так».

Я читал записки Курта Эбера и чувствовал, что каждое слово написано кровью сердца. Кое-где, возможно, ощущалась выспренность, но — тут уж ничего не поделаешь! — таков был, видимо, его стиль.

— Подпишите! — сказал я и протянул Эберу последнюю страницу его записок.

Он вынул из кармана вечное перо и подписался.

До сих пор помню его возбужденное лицо и глаза, смотревшие теперь смело и уверенно. Помню еще, что, подписавшись, он стал медленно надевать шинель. Впрочем, он уже больше не был солдатом...

«НАСТОЯЩИЙ СУВОРОВ»

Зимним утром я приехал в Палангу, и мне сразу приглянулся этот живописный курортный городок с прямыми улицами, невысокими домиками, затерявшимися среди таких же невысоких пушистых сосен с мягкими эластичными иглами. Дальше, за домиками и парком, бежали одна за другой, взбирались на песчаный берег и откатывались холодные волны Балтики.

Казалось что война не коснулась этого тихого уголка. Здесь не было домов-скелетов. Дети катались по улицам на финских санях. Но это была только внешняя сторона, за которой скрывалось много истинных трагедий, разыгравшихся здесь во время трехлетней оккупации.

Летом преуспевающие немцы приезжали сюда отдыхать. Они жили на широкую ногу в пансионатах и санаториях, где не хватало только птичьего молока. Литовцы же голодали, не получая даже того минимума продуктов, который полагался по карточкам. Приглядываешься к ребятам, что сейчас резвятся на улицах, и видишь худые лица, с синевой под глазами, некоторые дети в ботинках невообразимой величины — явно с маминой или папиной ноги.

Многие семьи лишились отцов или матерей, угнанных в Германию и пребывающих теперь в неизвестности. Жители Паланги считали дни и часы до конца немецкой оккупации. В самый последний день, когда уже доносился гром

нашей артиллерии, несколько тысяч человек спрятались в подвалах городской кирки. И когда появились наши автоматчики, в кирке зажглись огни; храм наполнили звуки органа, верующие начали торжественную службу в честь победы советского оружия.

Паланга сегодня оказалась меж двух боевых участков: с юга — Клайпеда, еще занятая немцами; с севера — Лиепая, либавско-тукумский «пятачок», где находится крупная вражеская группировка, осажденная со стороны суши нашими сухопутными войсками, блокированная с моря подводными лодками, торпедными катерами и балтийской морской авиацией.

Аэродромы морской авиации находятся здесь, и на протяжении дня балтийские летчики по многу раз наносят противнику «визиты вежливости», контролируют порты Лиепая и Клайпеда, поджигают, топят немецкие корабли. Только ночью, и то далеко не всегда, гитлеровцам удается пройти незамеченными и доставить своим осажденным войскам боеприпасы.

Ненастная погода! Угрюмое серое небо нависает над землей. Сырой снег валит крупными хлопьями. В воздухе промозглая сырость, какая обычно бывает осенью или ранней весной. Порывы острого, колючего ветра доносятся с моря и обжигают лицо.

Командующий военно-воздушными силами, невысокий грузный генерал Самохин, несколько раз в день выходит из штаба, всматривается в небо и негодует:

— Чертова погодка! Хороший хозяин собаку не выгонит!

Он долго стоит возле домика, устремив в небо суровый взгляд, и, должно быть, очень сожалеет, что природа не подвластна воле генерал-полковника Военно-воздушных сил.

Но зато для пехоты и артиллерии такая погода — не помеха. По шоссе в направлении Клайпеды двигаются войска. Это самый верный признак близкого наступления на этот порт, за который немцы держатся «обеими руками». Клайпеда связана с Восточной Пруссией не только самым коротким морским путем, но также узенькой полоской земли — стокилометровой косой Куришен-Нерунг. Там хорошие шоссейные дороги, которые сейчас используются для снабжения немецких войск, осажденных нами в Клайпеде.

* * *

Рано смеркается в зимнюю пору. Не успеешь оглянуться, как наползает темнота. Сначала смутно вырисовываются силуэты домиков и низкорослых сосен. Они похожи на медвежат, поднявшихся на задние лапы. Потом дома, деревья, люди — все сливается в густую черноту настороженной и тревожной тишины, нарушаемой лишь морским прибоем и отдаленными раскатами орудийных выстрелов.

В этот поздний час мы приехали на командный пункт батальона, разместившийся в землянке, недалеко от главного шоссе.

— К нам приходят гости только в темноте, — говорит худенький и тщедушный человек, командир батальона капитан Гладких. — Вокруг нас все деревья в щепы превратились. Такая шикарная аллея была, и всю немцы снарядами исковыряли, — с горечью и досадой добавил он.

— Ну ничего, деревья вырастут, товарищ капитан,— вставил веселый круглолицый солдат с родинкой на щеке.

— Скоро не вырастут! — авторитетно возразил капитан. — Надо не меньше пятидесяти лет, чтобы такие дубы поднялись. Вот тополя растут очень быстро, но и умирают скорее, чем, скажем, дуб или клен.

Я поинтересовался, откуда капитану известны такие тонкости по части древонасаждений.

Он рассмеялся:

— Так я же по гражданской специальности лесничий. Да и вырос в лесных местах. Может, слышали — есть такой старинный городок Галич, недалеко от Костромы. Природа у нас богатая, леса непроходимые, озеро.

Я обрадовался и схватил капитана за руку.

— Значит, земляк!

— Какое совпадение! — удивился он.

Мы стали вспоминать наш тихий городок и, перебивая друг друга, говорили о галичском озере, богатом рыбой, о валах, пересекающих город, — старинных укреплениях, построенных против татар, — о холме Шемяки и еще о многом, что бывает так дорого с детских лет.

На нас были обращены любопытные взгляды всех обитателей землянки. И особенно прислушивался к нашему разговору ординарец командира батальона Федя Грудкин, тот самый круглолицый солдат с родинкой на щеке и веселыми задорными глазами.

— Давайте подышим свежим воздухом,— предложил капитан. Мы вышли и, пока стояли в темноте, обдуваемые холодным сырым ветром, капитан поведал мне, что там, в Галиче, на улице Свободы, осталась его семья. Уже после его ухода на фронт родилась дочка, которую назвали Лидочкой. Ему очень хочется ее увидеть, но война беспощадна, на каждом шагу смерть стережет.

— Впрочем, я верю в свою счастливую звезду,— сказал капитан.— Тем более, что у меня есть надежный друг и телохранитель — Федя Грудкин. Хотя и молод, а заботится обо мне, как отец родной. Недельки две назад попали мы под такой огонь, что земля ходуном ходила. Федя навалился на меня всем своим телом и говорит: «Товарищ капитан, я вас прикрою. Вам сейчас никак нельзя выбыть из строя». И представьте, не успел он досказать свою мысль, как — бух! — снаряд совсем близко. Осколки во все стороны полетели, и Феде моему в ногу залепило. А не будь его, черт знает чем бы дело кончилось.

Вдруг дверь землянки отворилась, и мы услышали голос Феди:

— Товарищ капитан, вас срочно требуют.

Мы спустились в землянку, капитан взял телефонную трубку. Лицо его сразу стало серьезным и озабоченным. Он слушал и односложно отвечал: «Есть! Есть! Есть!»

Положив трубку, он объявил, что в семь утра артиллерия откроет огонь по укреплениям противника, его батальону поставлена задача: первым ворваться в предместья Клайпеды.

Остаток ночи он был поглощен делами, разговаривал с командирами рот, отдавал распоряжения, что-то проверял. Не раз он возвращался к карте и внимательным взглядом рассматривал передний край обороны противника: траншеи, огневые точки. Их необходимо было захватить в первый же час наступления! Дальше на карте протянулась еще одна немецкая оборонительная линия — внешние обводы города, особенно густо насыщенные огнем.

А в стороне от всех, стараясь никому не мешать, на патронном ящике сидел Федя Грудкин. Лицо его теперь было тоже напряженным. Мне хотелось поближе узнать Федю, я присел рядом с ним и спросил, давно ли он служит в этом батальоне.

— Без малого год. После госпиталя сюда прислали.

Сам-то я моряк, балтиец, с линкора «Марат». Осенью сорок первого добровольцем вызвался на сухопутный фронт — Ленинград защищать. С тех пор в пехоте. С этим другом не расстаюсь, — продолжал Федя, погладив ложе автомата, лежавшего на его коленях. — Три раза ранили. Первый-то раз я в госпиталь угодил, а потом уж старался, чтобы дальше санбата не отправляли. Подлечишься малость — и обратно к себе в батальон. Так до Клайпеды и дотопал.

— По флоту не скучаете?

— Нет, привык. На корабле свои прелести, тут — свои. Там стреляешь — и не видно в кого. А тут бой так уж бой! Немцы у тебя как жуки на сковородке. — Федя понизил голос до шепота и добавил, глядя на комбата: — Кроме всего прочего, своего капитана я ни на кого не променяю. Это же особенный человек. Вы не смотрите, что он такой худенький, а посмотрели бы в бою — настоящий Суворов! — добавил Федя и с теплотой в глазах посмотрел на своего командира.

Капитан тем временем закончил разговор с командирами рот и поднялся:

— До артиллеристов хочу дойти...

— Есть, до артиллеристов! — весело повторил Федя. Одним взмахом набросил шинель, автомат повесил на грудь и пошел вместе с капитаном.

Минут через сорок они вернулись.

— Все в порядке, — удовлетворенно проговорил Федя и, поставив на печурку чайник, принялся открывать консервы, резать хлеб. Через несколько минут он объявил:

— Прошу харчить!

Никто из нас не спал в эту ночь, а как только стала рассеиваться темнота, мы услышали басовитые голоса наших орудий. Они вели огонь через нашу голову с такой силой, что до моего слуха отчетливо доносились взрывы снарядов.

Капитан Гладких стоял, сжимая пальцами телефонную трубку, и его тело напоминало туго натянутую струну. Он вызывал свои подразделения:

— «Буй»! Это говорю я, «Кострома». Доложите обстановку. Так... Алло, «Галич»! «Галич»? Говорит «Кострома». Доложите обстановку.

Он молча слушал, и только чуть подрагивавшее колено и две резко обозначившиеся складки на переносице выдавали его нервозность.

Я смотрел на капитана, прислушивался к его чуть приглушенному голосу, следил за нервными движениями его пальцев, сжимавших трубку, и мне казалось, что именно в эти минуты я все больше и больше начинаю понимать характер своего земляка — человека, быть может, не из храброго десятка, но умеющего владеть собой и в минуты опасности действовать так, как требует обстановка и повелевает долг воина.

— Хорошо идут! Заняли первые траншеи! — произнес капитан вслух, и лицо его просветлело. Но тут же оно снова нахмурилось: — Там, говорите, дзот? Давайте его координаты. Шестнадцать двадцать шесть? Есть! Сейчас дадим туда огонь! Только вы не торопитесь, не лезьте пока в самое пекло, а то вместе с фрицами накроетесь.

Координаты дзота сразу были переданы артиллеристам. И тут же капитан спросил своего начальника штаба:

— На новом НП связь готова?

— Так точно! — ответил тот.

— В таком случае, вы пока оставайтесь, а я буду перекочевывать вперед.

Он поднялся, свернул карту, положил ее в полевую сумку, повесил на грудь бинокль и направился к выходу, сопровождаемый своим неизменным телохранителем Федей Грудкиным.

— Ну, пока, земляк! — сказал мне капитан. — Теперь встретимся в Клайпеде. Осталось взять внешние обводы — и мы будем там!

И мы действительно там встретились в тот самый час, когда немцев выбили из города на косу Курише-Нерунг, отделенную от порта лишь небольшим проливом. Со злобой и остервенением, бессмысленно они обстреливали оттуда город артиллерийским и минометным огнем. На улицах грохотали взрывы. Клубы кирпичной пыли взвивались над домами. Поминутно раздавались свистки регулировщиков, которые останавливали прохожих и предлагали укрыться в подъездах домов. Но время было дорого. Несмотря на артиллерийский обстрел, войска двигались по центральной улице. Они спешили вперед, чтобы с наступлением темноты форсировать пролив, неожиданно

для немцев выбраться на косу и отрезать им путь отступления к Кенигсбергу.

Я смотрел на бойцов, устало шагавших с автоматами на груди, обходивших свежие воронки, перебиравшихся через развалины. И вдруг заметил круглое, как солнышко, сияющее лицо Феди Грудкина и рядом с ним худенькую, затянутую ремнем фигурку капитана Гладких. Увидев меня, он улыбнулся, поднял над головой руку и протянул ее вперед, давая понять, что здесь все сделано, теперь идем дальше. До встречи в Кенигсберге!

В КВАДРАТЕ «267»

Всю зиму велась борьба на дальних подступах к Кенигсбергу, а в начале апреля, с первыми лучами весеннего солнца, с первым теплым ветерком, загудела-застонала земля. Воздух раскалялся и дрожал. Подобно молниям, сверкали вспышки орудий, обстреливавших Кенигсберг, и тысячи самолетов сбрасывали на него бомбы. Даже за десятки километров этот город казался сплошным адом. Вероятно, в таком виде рисовалось «светопреставление» нашим богобоязненным предкам. Серо-бурый дым поднимался высоко в небо, стелился по земле, плыл над дорогами и хуторами.

Все теснее и теснее сжималось кольцо вокруг зловещего гнезда прусской военщины.

С наблюдательного пункта, разместившегося в одном из хуторов на крыше господского дома, через стереотрубу я видел красные островерхие башенки, продырявленные снарядами. Дальше лежал огромный город с артиллерийскими заводами «Остверке», с судостроительной верфью «Шихау», с сотнями крупных и мелких предприятий, с гаванями, вокзалами, электростанциями. Город, в котором многие годы гремели победные марши и слышались призывы: "Дранг нах Остен». Сейчас этот город был охвачен огнем и дымом.

«На нас двигаются апокалипсические полчища, — истерически вещала кенигсбергская радиостанция. — Нам остается победить или погибнуть».

Но никакие заклинания уже не могли спасти столицу Восточной Пруссии. Бои перекинулись в предместья Кенигсберга, и дни его были сочтены.

* * *

На оперативной карте, с которой уже несколько суток не разлучался начальник штаба полка, красные стрелы упирались в одну точку. Это был форт Шарлоттенбург — один из пятнадцати фортов, прикрывавших внешний обвод Кенигсберга. Он стоял в глубине леса, окруженный широким рвом с водой, и мешал нашим войскам двигаться вперед. Его нужно было взять во что бы то ни стало... И как только стемнело, солдаты осторожно поползли к каналу, окружавшему форт, спустились в воду и поплыли. Немцы не сразу их обнаружили, а потом было уже поздно. Наши солдаты закрепились под стенами форта и блокировали его со всех сторон.

— Представьте,— рассказывал мне начальник штаба,— нашелся отчаянный парнишка, забрался на стену и красный флаг укрепил!.. Гитлеровцы бесновались, а сделать ничего не могли, так и сидели под нашим флагом, пока не пришлось им белый выкинуть. Потом форт взяли, командир полка говорит: «Узнайте фамилию этого головореза, представьте его к ордену Красного Знамени». Но, знаете, наступление идет круглые сутки, работы у нас по горло, так и не выяснили, кто он такой. Сказывали, будто у парня под гимнастеркой полосатая тельняшка. Морская душа, как говорится. Но у нас таких было немало.

— А где же теперь это подразделение? — спросил я начальника штаба. Он показал на карту Кенигсберга.

— Два часа назад этот батальон переправился через канал Ланд Грабен и теперь ведет наступление вот здесь, в квадрате двести шестьдесят семь, недалеко от зоопарка.

Я нашел этот квадрат на своей карте и поспешил за нашими наступающими войсками.

Продвигаться было нелегко, бой за Кенигсберг с каждым часом разгорался все сильнее. В жестокой битве отвоевывался дом за домом, квартал за кварталом.

Укрывшись за баррикадами, фашистская артиллерия стреляла по районам, уже занятым нашими войсками. Из окон жилых домов вели огонь вражеские автоматчики и снайперы. Кругом все гудело, грохотало, тонуло в огне и клубах черного дыма.

В подъезде мрачного серого здания я увидел бойцов, укрывавшихся от осколков снарядов.

— Не знаете, товарищи, где тут ближайший командный пункт?

— Какую вам часть? — спросил молодой солдат.

— Да все равно...

Неопределенный ответ смутил их, они переглянулись. «Что, дескать, за тип такой интересуется КП?»

— Вы кто будете? — уже совсем другим, строгим голосом спросил меня все тот же солдат.— Ваши документы!

— Военный корреспондент, — ответил я, показывая удостоверение.

Он внимательно прочитал, сравнил мое лицо с фотографией и, возвращая удостоверение, сказал миролюбиво:

— Извините за недоверие... Война! Ничего не поделаешь!

— Правду говорят, товарищ корреспондент, что скоро война кончится? — вдруг спросил степенный, пожилой солдат.

— Вот возьмем Берлин, тогда и войне конец.

— А сколько до него, проклятого, осталось?

— Километров пятьсот,— ответил я.

— Это уж, можно считать, недалеко, — сказал солдат, и его глаза сразу повеселели.

Он выглянул на улицу, огляделся по сторонам и предложил:

— Давайте я вас доведу до капэ. Только держитесь поближе к стенам.

Через несколько минут мы вбежали в какой-то двор и по узенькой лестнице спустились в подвал. После яркого дневного света я вначале не мог ничего разобрать. Тут было немало людей. За столиком, освещенным свечами, сидело несколько офицеров. Присмотревшись, в одном из них я узнал своего земляка — комбата Гладких. Мы встретились взглядами, на минутку он оторвался от дел, протянул руку и вместо приветствия, будто продолжая недавно прерванный разговор, сказал:

— Вот видишь, дошли до Кенигсберга!

И тут же снова подошел к столику с картами и продолжал руководить боем. Теперь в его распоряжении был не только телефон, но и рация. И каждые несколько минут являлись связные.

— По приказанию лейтенанта Зубова докладываю: дом тринадцать занят!

Дом тринадцать обводился на карте красным карандашом.

На пороге появился еще связной:

— В квадрате двести восемнадцать противник перешел в контратаку. Хочет окружить взвод старшины Видяева и отрезать от нашей роты.

От этой новости лицо капитана потемнело.

— Попросите на поддержку танк,— бросил он одному из офицеров. Тот отошел в глубину подвала, где сидела радистка. Вернувшись через несколько минут к столу комбата, офицер доложил:

— Танк вышел.

На протяжении всего дня штаб батальона жил настолько напряженной, тревожной жизнью, что было не до еды, хотя давно уже прошло время обеда. За весь день я не услышал ни одной шутки, ни одного слова, не относящегося к делу.

Когда наступил вечер, стрельба немного стихла. Реже стали появляться связные.

— Что ж, пора поужинать! — сказал капитан Гладких.

— А заодно уж и пообедать, и позавтракать,— добавил кто-то из офицеров.

В разгар ужина в подвале появился Федя Грудкин, с которым мы успели подружиться за несколько часов встречи под Клайпедой. Он влетел вихрем, в плащ-палатке, с автоматом на груди. Шапки на нем почему-то не было, растрепанные волосы спадали на лоб. Вытянувшись перед капитаном, он доложил:

— Ваше приказание выполнено. Зоопарк обследован, могу подробно сообщить, где что находится и какие там у противника силы.

— Садись ужинать, морская душа. Заодно и о деле поговорим.

И, кивнув на Грудкина, сказал мне:

— Теперь он у нас командир отделения разведки. Вы бы взяли его на карандаш. Не слышали, какой номер он отколол при штурме форта Шарлоттенбург? Насчет флага?

— Мне рассказывали в штабе полка. Только там не знали его фамилии.

— Знают уже. Я сообщил.

Через некоторое время капитан отставил тарелку, облокотился на стол и спросил Федю:

— Так что там, в зоопарке-то, докладывай!

— Никаких особых укреплений нет. Зато артиллерийский кулак у них — дай боже... Вот я приблизительный план набросал.— Федя передал комбату чертежик.— Здесь у них противотанковые пушки, здесь минометы. А сколько там разных животных!

— Зверей, что ли? — уточнил капитан.

— Вот именно, зверей. Один стоит — ростом выше дома. Потом смотрю — не двигается. Любопытство меня разобрало, что за чудовище такое. Пробрался поближе, гляжу, а это скелет мамонта. В заградах там разные козочки бродят, на островке тигры. Кругом водяной ров, им никак не вырваться. А налево клетки со львами. Рычат — аж душа в пятки уходит!

— Хищников нечего бояться, — добродушно заметил капитан, пряча в свой планшет Федин чертеж. — Запомни раз навсегда: если ты не будешь трусить, лев на тебя никогда не бросится. Он уважает смелого человека.

— Откуда вы знаете, товарищ капитан? — заинтересовался Федя.

— Чудак человек, да об этом еще у Брема сказано,— сказал комбат.

Федя удивленно посмотрел на капитана и, должно быть, в первый момент хотел его о чем-то спросить, но постеснялся и вскоре незаметно исчез.

Почти всю ночь в штабе готовились к новому дню, и слово «зоопарк» не сходило с уст хозяев-пехотинцев, и гостей-артиллеристов, и танкистов, явившихся сюда, чтобы уточнить кое-какие детали взаимодействия.

Тем временем Федя вернулся в свою «штаб-квартиру» из четырех комнат, брошенную неизвестными хозяевами. Пока что здесь разместились его разведчики. Федя погрузился в мягкое кресло. Он неподвижно сидел и раздумывал над тем, как будут брать этот проклятый зоопарк. Конечно, можно попросить помощи у артиллеристов, достаточно нацелить туда «катюши», и от парка останется одно воспоминание. Но, к примеру сказать, звери! Они ничем не виноваты. Они собраны со всего земного шара, даже из Африки, наверно, есть отдельные представители. За что они должны страдать? Чем плохо, если после войны в Кенигсберге уцелеет зоосад? Сколько сюда будет

приходить детишек! Возможно, и он, Федя, останется жить в этих краях, женится и будет показывать зверюшек своим ребятам.

Во время его раздумий в комнату несколько раз заглядывали солдаты, но, заметив, что Федя Грудкин сидит, опустив голову, решили: вздремнул человек, пусть отдохнет малость. Однако Феде было вовсе не до отдыха. Разные мысли теснились у него в голове и не давали покоя. Он встал, раскурил трофейную сигарету и вышел к своим друзьям.

— Завтра утречком, — сказал он, — наш батальон должен пройти зоопарк, а там немецкая артиллерия и, кроме того, хищники.

— Какие хищники, фрицы, что ли? — спросил солдат.

— Да, нет. Звери — хищники. Львы там в клетках. Понятно?

— Ну, львы похуже фрицев,— отозвался все тот же солдат.

— Ничем не хуже,— возразил Федор и строго, назидательным тоном, добавил: — Запомни одно: если человек не трусит, идет прямо на льва, лев никогда не тронет человека.— И с важностью знатока добавил: — Вы разве не знаете о львах? О них еще Брем писал...

Все молчали, мысленно соглашаясь с неизвестным для них Бремом. Но молодой солдат не унимался и спорил:

— Одно дело ваш, как там его зовут, Брем, что ли. А другое дело львы. Ты попробуй с ними побеседовать. Дескать, так и так, я к вам от имени товарища Брема, а они тяпнут тебя за одно место — и будь здоров, расти большой.

Все засмеялись.

— Меня не тяпнут, будь уверен! Я все продумал, — с загадочной улыбкой проговорил Федя.

И действительно, у него созрел свой план.

Задолго до рассвета Федор Грудкин вместе с радистом пробрались в зоопарк и устроились в бетонном подвальчике, расположенном под клеткой льва. Федя решил, что это самая подходящая позиция для наблюдений: в подвальчике, под самым потолком, было два окошка, выходивших на широкие аллеи. Обзор местности что надо!

Было относительно тихо. Только изредка раздавались выстрелы да вспыхивали ракеты. Даже не верилось, что еще несколько часов назад недалеко отсюда кипел бой,

била артиллерия, минометы, и звери в ужасе метались по клеткам. Сейчас все притихло, замерло в настороженном ожидании.

Федор с радистом время от времени подходили к оконцам, смотрели в ночь, прислушивались к отдаленным выстрелам, приглядывались к вспышкам ракет, нетерпеливо ожидая рассвета.

И вот уже понемногу растворялась чернота, небо стало темно-синим, потом поголубело. Обычно в этот ранний час в парке, наверно, просыпались птицы и наполняли воздух своим неугомонным щебетом. Но какие птицы могли уцелеть в этом аду? Все они давно разлетелись из Кенигсберга.

А небо все светлело. Минут двадцать — тридцать было совсем тихо. Но короткая передышка кончилась, и снова послышались автоматные очереди. Их тут же перекрыли басовые голоса пушек, где-то вдали пронеслись огненные залпы «катюш».

Бой разгорался уже поблизости от зоопарка, который стоял на пути наших войск, мешал им овладеть центром города.

Батальон капитана Гладких наступал со стороны площади, немцы вели огонь из глубины зоопарка.

Испуганные животные ломали заграждения, метались по аллеям и лужайкам, нередко попадая под пули. Из подвала видна была убитая зебра, лежавшая посреди аллеи. Неподалеку от бассейна с бегемотом разорвался снаряд. Несколько осколков впилось в тело животного, и вода окрасилась кровью. Бегемот высунул из воды морду и завопил.

Федя по рации держал связь с командиром батальона. Он сообщал обо всем, что было в поле зрения. В глубине парка он заметил желтые вспышки и сказал радисту:

— Передай, в квадрате сто восемь орудия противника ведут огонь.

Наши снаряды просвистели и взорвались в парке, но не там, где стояли немецкие пушки, а гораздо ближе к наблюдательному пункту Феди.

— Недолет двадцать... четырнадцать...— быстро, почти задыхаясь, проговорил он. И с новой силой просвистели снаряды, гулко прозвучали взрывы. Все содрогнулось, и выше деревьев взлетели комья земли вместе с обломками орудий. Федя не удивился этому. Он знал: когда на

огневой позиции приготовлен боевой комплект снарядов, прямое попадание вызывает взрывы потрясающей силы. От детонации прокатываются десятки повторных взрывов, уничтожая все, что есть поблизости.

Эта вражеская батарея была единственным серьезным препятствием, мешавшим овладеть зоопарком. Капитан Гладких со своим батальоном подошел уже вплотную к парку. Он тоже слышал взрывы, но не был уверен, что накрыта та самая батарея, которая до сих пор мешала продвижению. Теперь, узнав от Феди по радио, что батареи больше не существует, Гладких отдал второй роте приказание втянуться в парк и прочистить его «огневой метелкой».

— Наши пошли! — сказал радист, глядя на Федю блестящими от возбуждения глазами.

— Что еще сообщают?

— Больше ничего.

Но уже никаких сообщений и не требовалось, потому что как раз в эту минуту донеслась знакомая дробь советских автоматов. А в следующий момент откуда ни возьмись перед Фединым наблюдательным пунктом появились немцы с минометами. Они засуетились, готовя огневую позицию. Их торопил долговязый ефрейтор в очках, с пистолетом в руке. Его длинная, тощая фигура металась за оконцем, прямо перед глазами Феди, который с трудом сдержал себя, чтобы не срезать ефрейтора одной короткой автоматной очередью.

«Но чего этим достигнешь? — трезво рассуждал разведчик.— Только выдашь себя и погибнешь не за понюх табаку. А надо дело делать, надо помочь своим».

Всем сердцем Федя чувствовал, что наши приближаются. И вместе с тем он понимал, что, если сейчас немцы откроют минометный огонь, наше наступление застопорится.

Очереди автоматов и пулеметная трель были все ближе.

Немцы успели поставить плиту, над ней выросла труба миномета, и с противным завыванием в воздух полетели мины. Они падали и рвались где-то совсем недалеко. К тому же перед глазами Феди, мимо второго оконца, пробежали еще несколько десятков немецких солдат. Они пробежали перед самой клеткой, Федя видел их ноги, обутые в грубые кованые ботинки. Видно было, что некоторые из них залегли за деревьями с гранатами в руках.

Мысль о том, что немцы устроили засаду, встревожила Федю. «Как бы не перебили ребят!» — подумал он. Связаться с комбатом по радио больше не удавалось. В это время над головой у наших разведчиков раздался рев льва.

Немцы в горячке сначала не поняли, откуда исходит рев, а увидев голодного льва в клетке, быстро успокоились и больше не обращали на него внимания.

Тогда Федя Грудкин оставил радиста в подвальчике, а сам осторожно поднялся по ступеням и оказался в узком коридоре, через который они проникли сюда ночью. В коридор выходили двери из клеток с хищниками — тяжелые, окованные железом, закрытые на крепкие чугунные засовы. В конце виден был выход, который вел прямо в аллею, где залегли немцы. Дверь наружу была открыта.

Федя остановился возле двери в клетку, посмотрел в маленький глазок: лев беспокойно метался, шерсть на нем взъерошилась, он тряс богатырской гривой, бил хвостом.

Двумя руками Федя отодвинул засов, с усилием открыл тяжелую дверь и спрятался за ней.

Теперь дверной глазок был обращен в сторону коридора. Федя, не отрываясь, смотрел в него. Несколько секунд лев не появлялся. Затем он вышел в коридор и в нерешительности остановился. Постояв секунду-другую, лев бросился к выходу в парк. Федя облегченно вздохнул — его расчет оправдался! Он снова кинулся в подвал и прильнул к оконцу.

Увидев выскочившего на середину аллеи льва, фашисты в испуге бросили пулеметы, миномет и ринулись врассыпную. Лев и не думал их преследовать; почуяв воду, он устремился к бассейну. Гитлеровцы бежали не оглядываясь. Только долговязый ефрейтор не растерялся. Спрятавшись за дерево, он выстрелил, когда лев пробегал совсем рядом с ним. Зверь взвился на задние лапы и тут же свалился.

Федя, не выдержав, тоже выстрелил. Фашист упал в нескольких шагах от льва, уткнувшись носом в землю и выронив пистолет.

Маленькое происшествие со львом внесло суматоху в боевые порядки немцев. Это помогло батальону капитана Гладких захватить ключевые позиции, а к вечеру полностью очистить от немцев Кенигсбергский зоопарк.

Известие об этом необыкновенном случае облетело наши войска. Федя Грудкин был вызван к командующему армией и получил из его рук сразу две боевые награды: и за форт и за зоопарк.

ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ

Много дней спустя, уже после взятия Кенигсберга, когда в самом городе и вокруг него установилась совсем мирная жизнь, я ехал по заданию редакции в одну воинскую часть.

На перекрестке нашу машину остановила регулировщица. Шофер высунулся и вопросительно взглянул на нее.

— Извините за задержку. Не захватите ли по пути вот эту гражданочку? — обратилась к нам розовощекая девушка в шинели и аккуратной пилотке, держа в руках желтый и красный флажки.— Ее надо подвезти до лагеря репатриируемых.

Мы согласились. Машина тронулась, я обернулся, мне хотелось разглядеть эту «гражданочку». Сдвинутый на глаза темный платок, поднятый воротник огромного, явно с чужого плеча пальто лишали возможности определить ее возраст. Кто она? Молодая женщина? Старуха? Как она попала сюда, в глубь Восточной Пруссии? Что здесь делала?

Однако она угрюмо забилась в угол машины, судорожно прижимая к груди какой-то большой сверток, и держалась отчужденно, как видно вовсе не собираясь вступать в разговор.

Мы с шофером тоже молчали.

На одном из поворотов машину основательно тряхнуло. Наша попутчица схватилась рукой за переднее сиденье и уронила сверток. Он развернулся, и я увидел на сером одеяле великолепную розовую куклу, ее нежное лицо, в вечной улыбке раздвинутые губы и неправдоподобно синие глаза. Я еще не успел осмыслить всей нелепости появления этой куклы здесь, в насквозь пробензиненной, пропахшей гарью машине, как увидел худую ручонку, рванувшуюся к упавшей кукле.

В этот момент платок сдвинулся назад и на меня глянули детские глаза. Я не мог разглядеть, какого они цвета, красивые или нет. Я понял только, что это глаза ребенка. Впрочем, в этих глазах не было той наивности, той

доверчивости, какую мы привыкли видеть у наших детей. Нет, эти глаза глядели сурово и строго, но была в них поразительная чистота, никакими страданиями не затемненная, которую способны пронести через все испытания только дети.

— Как тебя зовут? Кто ты такая?

Девочка завернула куклу в одеяло, молча прижала ее к себе и отвернулась. Я задавал ей еще несколько вопросов, пытался любыми способами вызвать ее на разговор, но все было бесполезно.

Она молчала, платок съехал на сторону, рассыпались волосенки, сосредоточенно смотрели куда-то вдаль чистые строгие глаза.

У лагеря репатриируемых мы остановили машину. Девочка вышла, не сказав ни слова, и побрела к воротам, крепко прижимая к груди куклу.

В потоке бесконечных встреч и все новых впечатлений я скоро забыл об этой девочке и, разумеется, мог больше никогда не вспомнить о ней, если бы не случай, происшедший недели через полторы.

Вместе с другими журналистами я попал как-то в трехэтажный дом с большим количеством служебных кабинетов, с просторными демонстрационными залами.

Этот дом хранил воспоминания о международных ярмарках, которые не раз устраивались в Кенигсберге. Они назывались «зелеными неделями» и привлекали много промышленников, фермеров, торговцев, коммивояжеров, съезжавшихся со всех концов мира. Станки и машины, скот и потребительские товары — все, что производила Германия, было широко представлено на ярмарке.

«Зеленые недели» занимали солидное место в бюджете Восточной Пруссии.

После начала второй мировой войны немцы уже не торговали ни станками, ни породистым скотом. У немецких бюргеров появилась новая специальность, они превратились в торговцев рабами. Кенигсберг стал невиданным в мире рынком невольников, согнанных с оккупированных земель Советского Союза, Польши, Франции и многих других стран.

Чуть ли не каждый день в Кенигсберг приходили эшелоны, состоящие из вагонов для скота. Вокзалы оцеплялись жандармерией, с вагонов снимали пломбы, и начиналась разгрузка невольников. Этот «товар» принима-

ли не по именному списку, а по количеству голов, как некогда принимался на ярмарке породистый тильзитский скот.

Лагеря, в которых содержались рабы до того, как их продадут, всегда были переполнены, и добрая половина привезенных для продажи людей неделями ютилась под открытым небом. Приезжая в лагерь, фабрикант или помещик часами осматривал одного человека за другим с ног до головы, отбирая самых здоровых. Сколько тут было слез и трагедий! Матери разлучались с детьми, сестры с братьями.

И когда «хапуны» (так назывался транспорт, перевозивший рабов) скрывались за воротами лагеря, горе людей было еще больше, потому что они знали: их оставили на голодную смерть.

Жизнь больного человека не стоила здесь ломаного гроша. Официальная такса существовала только на здоровых людей: десять марок — за взрослого, шесть марок — за подростка.

Мы могли не узнать всех тайн этого дома, торговавшего «живым товаром», если бы имели дело только с картотеками и папками дел. Но удалось найти и вызвать для беседы кое-кого из персонала кенигсбергской «биржи труда» во главе с ее директором Карлом Зулле, который лично ведал продажей иностранных рабочих.

Это был маленький, плюгавый человек с бритой головой и хитрыми глазами. Беседа с нами, советскими журналистами, не доставляла ему, конечно, никакого удовольствия, но он был подчеркнуто вежлив и любезен. Сотрудники называли его «доктор Зулле». Он очень быстро сделал карьеру. В начале войны был всего-навсего мелким чиновником в министерстве труда, затем в гитлеровской печати стали появляться его статьи о целесообразности применения труда «иностранных рабочих» в германской промышленности и сельском хозяйстве; в эту пору он начал готовить диссертацию на ту же самую тему и готовился получить ученую степень. И уже как большого знатока его назначили директором «биржи» в самый крупный центр рабовладения — Кенигсберг.

Не задумываясь, он называет цифру: «Двести пятьдесят тысяч». Да, четверть миллиона человек прошли через кенигсбергскую «биржу» за один только последний год. Он на память знает: среди невольников было 90 тысяч по-

ляков и 75 тысяч русских, остальные — французы, бельгийцы и представители других национальностей. Он только не может сказать, сколько из них погибло. «Подобной статистики не велось».

— Я полагаю, что не очень много, — говорит он. — Десять — пятнадцать процентов.

Но тут же выясняется, что на судостроительную верфь «Шихау» и в мастерские военного снаряжения еженедельно посылалось до сорока процентов на пополнение взамен умерших, покончивших жизнь самоубийством и арестованных за участие в забастовках.

Нас удивило одно обстоятельство: каким образом сравнительно небольшой аппарат Карла Зулле управлял четвертьмиллионной армией рабов? Зулле поспешил внести ясность. Теперь нечего таить, и он честно сознался, что существовала целая сеть тайных и явных агентов, подсылавшихся в лагеря и на предприятия под видом таких же рабов. Через них и получали сведения о готовящихся забастовках или побегах. Зачинщики обычно расстреливались, все остальные, причастные к этому, шесть недель отсиживали в карцере на хлебе и воде, затем возвращались в штрафной лагерь, и там их морили голодной смертью.

— Кто должен нести ответственность за все это? — спросили мы.

Хитрые глаза Зулле потускнели. Он тихо ответил:

— Мне трудно об этом судить.

Нашу беседу прервал один из работников политотдела армии, хорошо знавший немецкий язык. Он положил на стол объемистый том в коленкоровом переплете и пояснил, что это «научный труд», обнаруженный в личном сейфе Карла Зулле.

Мы не без интереса перелистывали страницы. Множество схем, диаграмм, таблиц, фотографий представителей разных наций, людей разных возрастов, различного роста, комплекции, но все были худые, истощенные, с глазами, полными тоски.

Вдруг я увидел фотографию той девочки, которая вместе с куклой села в нашу машину на перекрестке и промелькнула, как сотни других людей, встречавшихся мимолетно. Ее сфотографировали во весь рост, как солдата, застывшего навытяжку по команде «Смирно». Только теперь я узнал, кто она такая: Нина Мурашкина, 13 лет,

белоруска, работала у прусского помещика три года (значит, с 10 лет), доила коров, ухаживала за скотом, была обучена немецкому языку и не имела права говорить по-русски. Здесь же можно было прочесть такой «научный» вывод Карла Зулле: «В целях приближения рабочих к сельскохозяйственному производству есть смысл, чтобы они жили летом на сеновале, а зимой в коровниках, чтобы они говорили на немецком языке и поменьше общались с русскими».

Я долго смотрел на фотографию знакомого мне ребенка и думал о тысячах таких же русских детей, которых «изучал» Карл Зулле, выясняя, каким способом из них можно выжать все соки жизни...

СЛУЧАЙ В СВИНЕМЮНДЕ

Мы продвигались вдоль побережья Балтийского моря все дальше и дальше на запад. Наша армия и флот занимали такие важные порты, как Гдыня, Данциг, Штеттин.

Теперь нас, журналистов, очень интересовал порт Свинемюнде. Это была крупная военно-морская база германского флота, в частности подводных лодок.

По нескольку раз в день мы звонили офицерам оперативного отдела штаба фронта и спрашивали:

— Как обстоят дела со Свинемюнде?

Нам терпеливо отвечали, что Свинемюнде скоро будет в наших руках.

Но однажды дежурный офицер оперативного отдела ответил, что наши войска уже вошли в Свинемюнде. Когда? Мы почувствовали себя сконфуженно, послышались взаимные упреки: как же можно так отстать от жизни?! Но делать было нечего. Теперь надо было думать о другом: как быстрее оказаться на месте, чтобы своими глазами увидеть этот город и дать в газету хотя бы короткую оперативную корреспонденцию.

Нас отделяло от Свинемюнде порядочное расстояние: километров двести — двести пятьдесят.

Подсчитав возможности машины, я пришел к выводу, что может выручить только самолет. Пошел к командующему ВВС и выпросил у него самолет У-2, на котором я уже не раз летал с шеф-пилотом командующего Масленниковым, маленьким пареньком, которого по внешнему виду можно было легко принять за мальчика.

Летал он виртуозно, над самой землей, переваливая через лес и кустарники. Это был не полет, а какая-то стремительная, захватывающая дух поездка по воздушной дороге, когда как-то по-особому ощущаешь быстроту движения и даже рождается спортивный азарт, свойственный гонщикам.

Мы вылетели в очень хорошую погоду и, вероятно, часа полтора шли над сушей, а затем на горизонте показалась широкая полоса воды. Масленников повернулся ко мне и крикнул: «Смотрите, там море!»

Он стал набирать высоту, и тогда я уже совершенно отчетливо увидел большой город, раскинувшийся на берегу моря, разделенный на две части широким каналом.

Перед вылетом мы с Масленниковым условились, что он сядет где-нибудь в черте города, а то не раз мы садились на полевой аэродром и много времени приходилось попусту тратить, пока доберешься до нужного места.

В этот раз Масленников очень быстро сориентировался и стал планировать, куда бы вы думали? — На пляж!

И впрямь, трудно было отыскать более удачную посадочную площадку. Перед нами лежала широкая, гладко укатанная полоса светло-желтого цвета. Лучшего аэродрома не придумаешь.

Сели мы замечательно. Самолет пробежал несколько десятков метров, остановился, Масленников сбавил обороты мотора и крикнул что-то вроде: «Слезай, приехали!» Я отстегнул пояс, выбрался из кабины и спрыгнул на песок. Осмотревшись, увидел на берегу высокие здания гостиничного типа и перед ними какие-то временные сооружения вроде бараков или палаток военного образца. Там стояли пушки и бродили люди в мундирах мышиного цвета.

Это неожиданное зрелище произвело на меня странное впечатление. Я посмотрел на Масленникова, он к тому времени заглушил мотор, но еще оставался в кабине. По выражению его лица я сразу понял: тут что-то неладно.

— Слушайте, куда мы попали? — спросил я.

— Не знаю, вам виднее, — ответил Масленников. В этот момент впервые он был похож на взрослого человека.

Для меня и для Масленникова было совершенно очевидно, что это немцы. Наше появление с неба показалось им тоже более чем странным, и они весьма уверенно шагали к нашему самолету.

Честно говоря, я очень растерялся и не представлял себе, что будет дальше. Но дальше сами обстоятельства заставили найти выход из этого пикового положения.

Когда несколько немцев подошли к нам вплотную, я спросил их на немецком с примесью нижегородского:

— Дизе ист штадт Свинемюнде?

— Я... я... — ответили они.

Тогда я спросил, где их командир.

Кто-то из них побежал к палаткам, и через несколько минут к самолету подошел офицер с гладким, холеным лицом, в мундире, расшитом серебром, со множеством знаков отличия.

Он вытянулся в струнку и сказал примерно так:

— Господин полковник! — хотя я был всего лишь капитан. — Воинская часть гарнизона Свинемюнде готова к капитуляции.

Я ответил «Зер гут» или что-то в этом роде и с независимым видом добавил:

— Пока вы можете быть свободны.

Тогда фашистский офицер спросил:

— Вы не желаете покушать?

Я заявил, что мы кушать не собираемся, и дал понять, что разговор окончен. Он скомандовал что-то солдатам, козырнул, и они быстро исчезли.

А мы остались вдвоем в полном неведении, что делать дальше.

Масленников предложил, поскольку наших здесь нет, во избежание недоразумений, немедленно отсюда улететь.

Мы кое-как развернули самолет против ветра. Я повернул винт. Мотор сразу заработал. Мы оторвались и, ориентируясь по карте, полетели в то место, где находился штаб армии, которая вела наступление в этом районе.

Это было очень близко, буквально в десяти минутах полета от Свинемюнде. Мы сели возле какого-то маленького городка, и я очень быстро нашел штаб армии и стал подробно рассказывать обо всем, что с нами произошло. Заодно я пожаловался генералу, что это недоразумение произошло с нами из-за неосведомленности оперативного отдела штаба фронта.

Генерал рассмеялся и сказал:

— Никакого недоразумения тут нет. Наши войска действительно уже с утра в Свинемюнде. Только, понимаете, там мост разрушен, и мы не можем перебраться на пра-

вую сторону, пока не будет готова переправа. Во всяком случае, вам сегодня здорово повезло: принимали капитуляцию целого гарнизона, — сказал он. — И я надеюсь, что когда-нибудь вы напишете об этом занятном случае.

РОДНАЯ БАЛТИКА

С непостижимой быстротой летит время. Даже не верится, что миновало 18 лет со дня нашей победы.

Много лет я не был на Балтике, которая стала для нас родной. Мы отдали ей свои лучшие молодые годы, и жалеть об этом не приходится хотя бы потому, что война на Балтике была для многих настоящей школой жизни. Здесь мы испытали горечь отступления и радость побед, познали, что такое дружба, научились любить и ненавидеть.

И теперь всякий раз при встрече со знакомыми местами испытываешь чувство новизны и необыкновенной радости...

Ранним утром поезд подходит к пригородам Таллина. За окном мелькают железнодорожные будки, шлагбаумы, заводские корпуса, аккуратные деревянные домики. Белые, синие, голубые, они то видны вдали от железной дороги, то оказываются так близко, что можно отчетливо разглядеть детей, высунувшихся из окон и приветливо машущих руками.

— Граждане пассажиры! Поезд прибывает в столицу Эстонской республики — город Таллин, — объявляют по радио.

Выходим на маленькую привокзальную площадь. Взору открываются широкие, ветвистые дубы, обступившие зеркальный пруд. Чуть дальше тянется длинный земляной вал, когда-то солидное укрепление. А над ним, точно скалистая круча, нависает зубчатая крепостная стена Вышгорода с башней «Длинный Герман», которая видна отовсюду. Предание говорит, будто здесь, на Вышгороде, похоронен сказочной силы богатырь Калев — родоначальник эстонского народа.

Все это совершенно не похоже на привычный городской пейзаж. Порой кажется, будто видишь театральную декорацию для спектакля из времен средневековья.

Зато в глубине города картина совсем иная: рядом с крепостными стенами, поросшими зеленым мхом, с домами, увенчанными башенками и шпилями, соседствуют новые, современные здания. По узким извилистым улицам идут машины, автобусы, льется шумный людской поток.

В разных концах города дымят трубы заводов и фабрик. Электрические моторы, ткани, радиоприемники, трикотаж, мебель таллинского производства хорошо известны в нашей стране. Тут спокойная седая древность отходит назад и уступает дорогу сегодняшнему дню, бурной, неутомимой жизни большого советского города.

Справедливо считается, что родина — не то место, где человек родился, а то, где он нашел себя. Таллин стал родиной для многих, кто в дни суровой опасности связал свою жизнь с флотом, кому довелось сражаться у древних стен города, под свист бомб и снарядов прорываться на кораблях в Кронштадт, недели и месяцы проводить в борьбе и лишениях.

Теперь, много лет спустя после великой победы, одержанной над немецко-фашистской армией, когда становится ясно значение каждого этапа на пути к разгрому врага, мы понимаем роль, которую играл Таллин в 1941 году, и отдаем дань уважения людям, принявшим на себя первые удары гитлеровских орд.

Много волнующих воспоминаний связано у меня с Таллином. Они с удивительной ясностью всплывают в памяти всякий раз, когда, приехав сюда, я иду по его своеобразным улицам, мимо крепостных стен и старинных зданий, как будто сложенных из гранитных глыб.

После войны в Таллине, как, впрочем, и в других городах нашей страны, появились новые дома, скверы, памятники.

В этом, казалось бы, нет ничего необычного. Но один из новых памятников Таллина по-особому дорог, он имеет символическое значение. Проходя мимо него, люди молча снимают шляпы и склоняют головы.

Он стоит в центральной части города, среди зелени и цветов. Гранитный постамент, и на нем высится фигура бойца в плащ-палатке. За спиной у него автомат, в руке каска, суровое лицо, полное скорби, обнаженная голова склонилась над братской могилой.

Всякий раз, когда я приезжаю в Таллин и смотрю на этот простой и скромный монумент, мои мысли возвра-

щаются к незабываемым дням 1941 года и людям, отдавшим жизнь за нас всех, за счастье наших жен и детей. Появляется чувство острой, незатихающей боли, которое очень точно выразил поэт Александр Прокофьев:

Из Таллина шли корабли к Ленинграду,
Их грозная доля вела.
И, минных полей разбивая блокаду,
Прорвались не все вымпела.
Простились давно мы с друзьями своими,
Но мнится мне, будто вчера
Балтийские волны сомкнулись над ними,
Промчались, подняв кивера.
И слышу я их нестихающий рокот,
И вижу, как звезды горят
Над вечной могилой, большой и глубокой,
В которой товарищи спят.

Да, давно мы простились со своими друзьями, но не забудем их. Никогда не забудем! И не только образы погибших приходят мне на память. Я вспоминаю живых участников обороны Таллина. Их много. Они живут в разных концах нашей страны; одни продолжают оставаться на военной службе, другие сразу по окончании войны ушли в запас и сейчас заняты мирным трудом.

Долго я не знал, где капитан «Казахстана» Загорулько и что с ним. Но однажды раздался телефонный звонок, я взял трубку и услышал совсем незнакомый голос:

— Не узнаете? Это ваш старый знакомый Загорулько. Мне говорили, что вы пишете книгу о Таллине, и я зачем-то понадобился вам.

— Совершенно верно. Нам нужно повидаться, и как можно скорее.

— Что ж, не возражаю. У меня есть время, покуда мое судно на ремонте.

— Какое судно? «Казахстан»? — спросил я.

— Нет, что вы. Я теперь на другом судне, — ответил Загорулько.

В тот же день вечером у меня сидел еще сравнительно молодой человек в капитанской форме с золотыми нашивками на рукавах и рассказывал, что с ним было после нашей первой встречи:

— Когда мы пришли из Таллина, я еще долго находился в Ленинграде, потом послали на север. Там воевал, а теперь, как и до войны, служу в Балтийском морском пароходстве капитаном «Сергея Кирова».

— А где же ваш «Казахстан»? — спросил я.

— «Казахстан» уже не существует, — с печалью ответил Загорулько. — Он плавал на севере. Несколько лет назад вышел в рейс, и все было хорошо, а ночью в тумане капитан не заметил льдину. Она, подлая, и пропорола корпус. Образовалась большая пробоина. Трюмы заливало с катастрофической быстротой. Никакие помпы не могли откачать воду. Команда спаслась на шлюпках, а корабль пошел ко дну.

Вспоминая о «Казахстане», Леонид Наумович даже изменился в лице, точно частицу сердца вырвали у него из груди.

Потом он долго рассказывал о своих плаваниях в Китай, Индию и другие страны:

— Бывает, по полгода находимся вдали от Ленинграда: сами знаете, сейчас наше правительство завязывает торговые отношения со всеми, кто хочет торговать.

Как ни увлекательны были рассказы Загорулько о его плаваниях и встречах с разными людьми в разных концах мира, а все же как-то само собой получалось, что мы возвращались к воспоминаниям о войне, не торопясь перебирали в памяти события и людей, знакомых нам по трагическим дням 1941 года.

— Жив ваш чудо-лейтенант? — спросил вдруг Загорулько.

Я не сразу понял, о ком идет речь.

— Ну, тот самый, что командовал ветераном Балтики?

— Амелько?

— Да, да, Амелько. Помню, что-то созвучное с моей фамилией.

Я рассказал о своей недавней встрече в Москве с Николаем Николаевичем Амелько. Теперь он вице-адмирал. В 1956 году окончил с отличием Высшую военную академию и командует Тихоокеанским флотом.

— Растут люди. Подумайте, в войну был всего-навсего старший лейтенант, а сегодня занимает такой пост... Уважаю всех, кто стремится вперед, — с гордостью проговорил Загорулько.

После встречи с Загорулько нашлись и другие участники обороны Таллина, о которых много лет не было ни слуху ни духу.

Сама жизнь свела меня с этими людьми.

Однажды в Доме офицеров я заметил полную румя-

ную женщину с гладко зачесанными волосами и аккуратно уложенными косами. Она была в военно-морской форме, с погонами подполковника медицинской службы.

Когда мне назвали имя этой женщины, я искренне обрадовался. Татьяна Ивановна Разумова. Так вот где нас свела судьба! Сколько лет я знал ее заочно! Сколько раз записывал в дневнике рассказы о ней! И наконец представился случай повидаться.

Мы знакомимся. Татьяна Ивановна — простой, скромный человек, очень смущается, когда я напоминаю, как она спасала на плотике раненого моряка, а потом служила в ленинградском военно-морском госпитале, и как раненые после излечения, вернувшись на фронт, писали на снарядах: «За нашего доктора Разумову».

— Все это уже история, — говорит она. — С тех пор наша жизнь ушла далеко, и от тех дней остались только воспоминания.

— А дружба?

Татьяна Ивановна улыбнулась:

— Дружба, конечно, живет.

— Вы встречаете друзей военных лет?

— Как же! — оживилась моя собеседница. — Кое-кто из врачей служит со мной, с другими переписываюсь. Да вот только вчера получила такое письмо, что читала и плакала.

Я попросил разрешения ознакомиться с этим письмом. Татьяна Ивановна вынула его из бокового кармана кителя и протянула мне.

Инженер-капитан второго ранга Любко, бывший инженер-механик с тральщика, каким-то образом узнал адрес Татьяны Ивановны и прислал большое, теплое, дружеское послание. Он вспоминал тот день, когда врач Разумова после ночного плавания в открытом море перевязывала раны, накладывала шины, делала уколы и спасла десятки жизней.

Письмо заканчивалось такими словами:

«...Я часто вспоминаю Вас — веселую, симпатичную девушку, совсем не похожую на серьезного, строгого врача, и рассказываю своим друзьям о Вашем подвиге. Конечно, за это время Вы, вероятно, повзрослели и стали солиднее, но я не сомневаюсь, что Вы остались таким же благородным человеком и точно так же отдаете все свои силы медицине...»

12*

После войны я не нашел в Таллине Шувалова, Амелько, но случайно встретил других моряков, которые защищали этот город в 1941 году, вместе с нами прорывались из Таллина в Кронштадт, продолжали борьбу в осажденном Ленинграде и вернулись сюда в победном 1944 году.

Как-то я просматривал флотскую газету «На вахте» и обратил внимание на небольшую заметку, в которой рассказывалось о том, что на таллинском заводе «Вольта» строятся электродвигатели для волжских и Каховской гидроэлектростанций и что среди строителей этих машин больших успехов достиг новатор производства, участник боев за Таллин, бывший балтийский моряк Виктор Сукристик.

Я прочитал заметку, отложил в сторону газету и подумал: «А ведь мне приходилось встречать человека с такой фамилией. Только где и когда?»

В памяти промелькнуло много событий, пока припомнился первый день освобождения Таллина, когда торпедные катера ворвались с моря в Минную и Купеческую гавани, и на пирсы, охваченные огнем и дымом, высадился десант.

Мы с трудом пробирались среди исковерканных башен и гусениц фашистских танков, разбитых орудийных стволов, скелетов обгорелых автомобилей — среди всей этой беспорядочной массы техники, приготовленной гитлеровцами для эвакуации на острова и уничтоженной нашими бомбардировщиками и штурмовиками.

Было очень странно в этой обстановке увидеть вдруг новые зенитные орудия, жерла которых смотрели в небо, и матросов, разгружающих ящики со снарядами.

Вся эта картина изумила нас. Ведь только что освобожден город, а наши зенитчики уже тут как тут.

Мы подошли к матросам и с искренним удивлением спросили:

— Вы как сюда попали, друзья?

— С армейцами пришли. Зенитчикам всегда положено быть первыми, — пояснил нам шустрый худощавый матрос. — А вдруг воздушный налет?

— Ну, какие теперь налеты, — пренебрежительно заметил мой спутник. — Немцы отсюда еле ноги унесли.

— Не скажите. На войне всякое бывает, — продолжал матрос. — Мы в Ленинграде, на Косой линии, всю блокаду стояли. Многому научились. Бывает тихо-тихо. И вдруг пи-

кировщики. Только успевай поворачиваться. А зазевался, прошляпил — угостят, не возрадуешься.

— Здесь не Ленинград, и времена другие, — пытался возразить мой спутник, но матрос с ним не соглашался:

— Хоть и времена другие, а все равно надо глядеть в оба!

Матрос вынул кисет с махоркой, свернул козью ножку и стал нас угощать, рассказывая:

— В сорок первом году мы как раз из Купеческой гавани последними уходили, а теперь первыми пришли в ту же гавань.

Слушая рассказ матроса, глядя на его улыбку, мне казалось, что он как бы олицетворяет ту большую радость возвращения в Таллин, которую сегодня испытывает весь наш Балтийский флот.

И когда мы уже распрощались и пошли вперед, по направлению к городу, нам вслед снова послышался тот же голос:

— Если нигде не устроитесь, тогда прошу к нам ночевать. Договорились? Я вас жду! Спросите Виктора Сукристика. Не забудьте фамилию — Сукристик!

И теперь, прочитав заметку в газете, я вспомнил моряка-зенитчика и поспешил на завод «Вольта». Но Сукристика в цехе не оказалось. Он был в отпуске, причем ему осталось отдыхать еще несколько дней.

— Лучше всего зайдите к нему домой. Он живет рядом с заводом. Может, случайно и застанете, — посоветовала мне табельщица.

Я подхожу к большому новому дому, который еще в строительных лесах: кругом лежат доски, песок, известь...

Поднимаюсь на самый верхний этаж. Позвонил. Двери открывает широкий в плечах молодой человек, в голубой шелковой безрукавке. Его каштановые волосы зачесаны назад.

— Вам кого? — спрашивает он.

— Товарища Сукристика.

— Сукристика? Так это я самый и есть! Заходите, — приветливо приглашает он.

Хозяин дома держит в одной руке молоток, в другой гвозди. Он с трудом вспоминает о нашей встрече в день освобождения Таллина.

— А-а-а! Да-да! Было такое дело. — Он несколько растерялся от неожиданности и, глядя на молоток и гвозди, спешит мне объяснить:

— Новую квартиру получил. Недавно въехали. Все еще обстраиваемся. Жена с детьми гостит у родителей, а я тут порядок навожу.

Молоток и гвозди он кладет в передней на стол и приглашает меня в маленькую чистую комнату, где стоит круглый стол, покрытый скатертью, несколько стульев и комод, заставленный семейными фотографиями.

— После войны, как только демобилизовался, меня в Таллин потянуло. Женился. Потом ребята появились. Вот и зажил оседлой жизнью. Глубокие корешки пустил.

— А почему именно в Таллин? — спрашиваю я.

Сукристик замялся:

— Это трудно даже объяснить. Куда же нам ехать, если тут оставлена частица каждого из нас?

Сукристик снимает со стены и протягивает мне фотографию двух забавных пухлых мальчуганов с громадными бантами на груди.

— Посмотрите на моих птенцов. Уроженцы Таллина. Коренные жители Эстонии. Будущие моряки.

Мы беседуем, и я узнаю, как Сукристик демобилизовался, поступил на завод и работает по своей прежней гражданской специальности слесаря-ремонтника.

Первое время трудно было, руки совсем отвыкли от ремесла. К новому человеку приглядывались: что за парень.

До поры до времени никто не знал всех возможностей Сукристика. Его способности раскрылись, когда коллектив таллинского завода «Вольта» получил ответственный заказ на электродвигатели.

Весь заводской коллектив жил этим событием. Составлялись планы, графики, по-новому расставлялись силы. Все было как на фронте, в канун большого сражения.

Впервые за свою историю завод «Вольта» получил задание такой важности. Даже в лучшие для буржуазной Эстонии времена завод пробавлялся мелкими заказами. Все дорогостоящее оборудование доверялось изготовлять шведским или немецким фирмам.

А тут вдруг такой заказ.

Сукристика пригласил к себе главный инженер завода

и объявил, что назначает его бригадиром слесарей-ремонтников.

В адрес завода приходили контейнеры со станками московского завода «Красный пролетарий». Их нужно было быстрее смонтировать и пустить в ход.

Демобилизованный моряк Виктор Сукристик почувствовал в эти дни, что он снова боец и что сейчас нужны те же самые качества, какие требовались во время войны. Он первый среди слесарей-ремонтников начал уплотнять свой рабочий день.

Если смонтировать станок за шестнадцать часов считалось на заводе законом, то у человека, который ведет счет времени на минуты, совсем другие понятия. Сукристик вместе с двумя помощниками поначалу установили станок за девять часов, вызвав удивление окружающих. Но это еще не предел. Скоро Сукристик «уложился» в семь часов, потом — в пять и, наконец, — в четыре часа.

В три с лишним раза быстрее стала монтировать станки на заводе «Вольта» бригада бывшего балтийского моряка. Работа Сукристика получила похвальную оценку даже у старых производственников, требовательных и придирчивых. Они говорили: «Морская хватка дает себя знать».

Но это, пожалуй, неточно. Дело не только в «морской хватке».

Оправдала себя четкая и продуманная система работы, когда весь нужный инструмент у тебя под руками и каждый член бригады выполняет работу по своим способностям. Сказалось то, что принято называть культурой труда, которую принесли на завод бывшие воины.

Люди с острым, наблюдательным глазом, присматриваясь к Сукристику, подмечали: «Работает он не столько руками, сколько головой».

И верно, прежде чем приступить к установке станка, он продумывал всю работу до мельчайших деталей. Гибкий и сообразительный ум, опыт и находчивость приходили ему на помощь.

Так было, например, с установкой пресс-автомата. Пришла на завод огромная махина, запакованная в ящик, — высотой в 5 метров, весом в 25 тонн. А грузоподъемность заводского крана всего 10 тонн.

Как тут быть, чтобы агрегат поднять «на попа», доставить в цех и там установить? Задача со многими неиз-

вестными. Сукристику пришлось поломать над ней голову, и он все-таки ее решил. Точно рассчитал, как с помощью все новых и новых подкладок пресс будут быстро поднимать, как затем его поставят на рельсы и доставят в цех. Наконец, бригадир Сукристик хорошенько обдумал множество деталей, связанных с установкой пресса на месте. Всю сложную операцию бригада провела за восемь часов.

Это один из доброй сотни случаев, когда бригада Сукристика скоростными методами устанавливала мощные прессы, присланные из Барнаула и Таганрога, агрегатные станки для обработки станин электромоторов с маркой завода имени Орджоникидзе, автоматические линии для обработки валов и многое другое оборудование, сделанное в различных концах нашей страны и прибывшее для обновления старого завода «Вольта».

На заводе стали поговаривать: «У матросов работа горит», — имея в виду не только Сукристика, но и второго члена его бригады Михаила Вилкова и других демобилизованных балтийских моряков.

Вилков во время войны тоже служил на Балтике, на подводных лодках, принимал участие в потоплении нескольких вражеских кораблей. А когда демобилизовался, стал раздумывать над тем, что делать дальше. Случайно на заводе встретил Сукристика и услышал бодрые слова:

— Приглашаю к нам в бригаду. Специальность — дело наживное.

Вилков понял, что здесь, на заводе, он и впрямь приобретет хорошую специальность.

И как в годы войны, когда не раз проявлялась верная и преданная, щедрая и бескорыстная морская дружба, так и сейчас, с первой встречи она сблизила и прочно связала бывших матросов. Виктор Сукристик терпеливо обучал торпедиста Вилкова новой специальности, передавал ему свой годами накопленный опыт, вместо отдыха сидел с ним часами над книгами и чертежами, добиваясь того, чтобы у молодого рабочего во всем была полная ясность.

Вилков оказался прилежным и любознательным учеником, проявлял большую тягу к техническим знаниям и быстро пошел в гору.

Бывший торпедист, еще совсем недавно подходивший к станку так же робко и неуверенно, как в свое время Сукристик, работал теперь ловко; можно было подумать,

будто он с ранних лет на заводе. В успехах ученика — труд и опыт учителя, который протянул руку бывшему моряку, помог ему овладеть гражданской специальностью, дал ему путевку в жизнь.

Они стали большими друзьями, и не только на заводе, но и дома, в театре, кино — везде вместе, всюду неразлучны. Рука об руку они идут по жизни, как шли в годы войны сотни и тысячи советских воинов, однажды встретившихся на пыльной дороге, поделивших между собой последнюю щепотку табаку, подружившихся в бою и навсегда связавших свои судьбы.

Впрочем, Михаил Вилков не единственный, кому коммунист Сукристик помог в трудную минуту.

Как-то поздно вечером к нему на квартиру явился незнакомый человек в бескозырке и матросской шинели без погон. Переступив порог, он широко улыбнулся и спросил Сукристика:

— Не узнаешь?

Сукристик действительно не узнал и долго всматривался в молодое лицо, пока вспомнил матроса Павла Анкудинова, с которым в 1941 году, в дни обороны Таллина, вместе служил на тральщике.

— Как ты меня нашел? — заинтересовался Сукристик.

— Очень просто, по газетам, — ответил Анкудинов и вынул из кармана газету со статьей и портретом Сукристика. — Прочитал и обрадовался. Думаю: «Ну, значит, наши ребята и на гражданке не подкачали. Дай зайду к Сукристику. Может быть, вспомнит, посоветуюсь, что делать, как быть...»

Приезд старого знакомого превратился в событие для всей семьи. Разговор продолжался за чаем. Жена Сукристика хлопотала, радуясь гостю не меньше, чем ее муж. Двое малышей тоже сидели за круглым столом и, вытаращив глазенки, изучали незнакомого дядю.

Как водится, сперва вспомнили общих друзей, дни, пережитые вместе, а потом зашел разговор и о планах на будущее.

— Планы у меня самые простые, — пояснил Анкудинов, — устраиваться на работу. Только не решил, остаться в Эстонии или ехать на родину.

— Конечно, оставайся здесь, — горячо поддержал Сукристик. — Работы на всех хватит. Ты посмотри, что делается в Таллине! Производство расширяется. Кругом

идет строительство! И везде позарез нужны люди. Опять же, связи с флотом не потеряешь. Ко мне почти каждую субботу с корабля гости приходят. Хотя мы с тобой и не по форме одеты, а всегда матросами себя считать будем. Ведь правда? — весело спросил Сукристик и посмотрел на свои сильные, мускулистые руки.

— Правильно говоришь, — заметил Анкудинов. — Только куда я денусь? Ведь я весь тут. Ни кола ни двора у меня нет. Чемодан да шинель — вот и все мое хозяйство.

— Насчет этого не беспокойся, — прервал его Сукристик. — Поступишь к нам на завод, а жить будешь у меня. Понятно? Что я тебе койку поставить не могу? — обиженным тоном проговорил он. — Поработаешь на заводе, зарекомендуешь себя с хорошей стороны — и комнату получишь. Всему свое время. Москва тоже не сразу строилась.

— Конечно, оставайтесь у нас, не стесните, всем места хватит, — тепло и сердечно проговорила жена Сукристика.

Так в разговорах они незаметно просидели до поздней ночи. Анкудинов остался у друга ночевать, а утром они вместе пошли на завод в отдел кадров. С этого дня Павел Анкудинов стал работать на заводе. Долгое время он жил у Сукристика. Жил не как квартирант, а как родной человек. После каждой получки он всегда пытался внести свой пай в уплату за квартиру и питание. Но Виктор Сукристик всякий раз возвращал деньги обратно:

— Я зарабатываю около трех тысяч рублей, — говорил он. — Неужели ты думаешь, что не могу тебе помочь как моряк моряку в трудную минуту?

В сердечной обстановке, при дружеской поддержке Сукристика Павел Анкудинов тоже нашел свое место в новой для него гражданской жизни.

* * *

Мы долго сидели в тот вечер, вспоминая прошлое. Виктор Сукристик много рассказывал мне о заводе, о семье, о своем увлечении спортом и особенно футболом. В конце нашего разговора он откровенно сказал:

— Вот видите, живу не плохо. Квартиру дали. На заработок жаловаться не могу. А все-таки чего-то не хва-

тает. — Он на минуту задумался и продолжал: — Без корабля скучно. Сколько лет прошло, а что значит привычка! Недаром говорят: «Привычка — вторая натура». Как придут ко мне в гости флотские ребята, у нас в семье настоящий праздник. А долго не приходят — тоскливо делается. Иной раз не терпится — беру сыновей и едем в Кадриорг к памятнику «Русалка». Смотрю на корабли, и зависть берет. Остался бы я после войны на флоте, сейчас небось был бы мичманом. Ну, да ладно, раз уж так все случилось. Поработаю на заводе. Может быть, мои шпингалеты когда-нибудь моряками станут.

И он еще раз с нежностью посмотрел на фотографию двух пухлых мальчуганов с черными бархатными бантами на груди.

БАЛТИЙСК

В наши дни при одной мысли о Балтике перед глазами встает уже не только Таллин, но прежде всего новая морская столица — город Балтийск, в прошлом Пиллау, аванпорт крупной немецкой военно-морской базы Терпалки — Ислихберга, где стояли надводные корабли, подводные лодки, откуда выходили они для пиратских действий в Финском заливе.

После войны Балтийск отстроился и похорошел. Из одного конца города в другой протянулся широкий Гвардейский проспект. Манит к себе густая зелень Матросского парка. Над гаванями видны мачты крейсеров, миноносцев и других кораблей. В темноте зеленые и красные огоньки непрерывно мигают на фарватере. И поверх этих огоньков солидно, не спеша, проплывает широкий луч маяка. Он стоит добрым вестником у морских ворот города-крепости, встречает корабли, возвращающиеся с моря, и провожает их навстречу шторму и сердитой балтийской волне.

Я приехал в Балтийск 28 августа. Для меня это символическое число — день моего рождения. Хотя по всем документам и значится, что я родился 9 мая 1911 года, но у меня уже давно сложилось такое ощущение, будто настоящее мое рождение произошло 28 августа 1941 года, когда мы сражались, погибали и просто чудом снова вернулись в жизнь.

Мы взрослеем, мужаем и, что скрывать, стареем. Многое с годами проходит и забывается, но, чем дальше уходят пережитые нами трагические события первых недель войны, тем острее они воспринимаются, тем с большей силой волнуют наш разум и наши сердца.

По пути к морю на одной из улиц я встретил знакомого торгового моряка, капитана Балтийского морского пароходства. Высокий тучный человек в форменной фуражке с кремовым чехлом, в кителе с золотыми нашивками на рукавах, он шел не торопясь, раскуривал трубку, осматривался по сторонам и казался праздным туристом среди шагавших мимо строгих, подтянутых военных моряков.

Девять месяцев подряд он находился в плавании. Где только не побывал за это время! В Индии и Египте, Ливане и Сирии... Теперь зашел в Калининградский порт, сдал грузы и решил побывать в Балтийске, в гостях у двоюродного брата — военного моряка. Да вот досада! Не застал его дома. Вместе с семьей брат уехал в отпуск на юг, небось купается сейчас в Черном море.

— Я решил не терять времени, посмотреть, как выглядит Балтийск. Интересный город! Помесь немецкого с нашенским, советским, — пробасил он и, узнав, что я иду к морю, охотно согласился составить мне компанию.

Не спеша мы прошли весь Гвардейский проспект, то и дело останавливаясь, осматривая новые, светлые, обращенные к солнцу, двух- и трехэтажные домики с балконами и садиками, а также очень своеобразные старинные постройки в готическом стиле с крутыми черепичными крышами, островерхими башенками и неизменными петушками на самом шпиле.

Потом нам надоело ходить, мы сели в автобус и доехали до маяка, где, собственно говоря, и кончается суша.

В этот вечерний час по набережной прогуливались люди, на бетонной стенке, свесив ноги к воде, с серьезным, сосредоточенным видом сидели в один ряд ребятишки; каждый держал в руках удочку и не спускал глаз со своего поплавка. Не в пример им, взрослые рыболовы с размаху забрасывали лесу спиннинга, пристраивали удилище и преспокойно курили.

Мы прошли в самый конец набережной и тоже уселись на бревнах. Все небо было в красивых оранжевых сполохах. Мы любовались закатом и бесконечной синевой воды.

Капитан рассказывал мне много интересного о своем последнем рейсе, о восторженных встречах торговых матросов с нашими друзьями в Индии, Египте и других странах.

— Совсем не то было в Западной Германии. Нас там сразу как ушатом холодной воды окатили, — с горечью сказал он.

И вспомнил, как недавно они пришли в крупный портовый город. Первыми появились на пароходе таможенные чиновники, проверили документы и приступили к осмотру судна.

Не было такого уголка на корабле, куда бы они ни сунули свой нос. Излазали все трюмы, ощупали каждый тюк и ящик. Заглянули даже на камбуз, в буфетный ящик кают-компании, хотя отлично знали, что, кроме вилок и ножей, там не могло быть ничего другого.

«Нас нигде так не проверяли, — сказал я им. — Ни в одной стране, даже в Америке».

«А мы вас слишком хорошо знаем», — с явной иронией ответил мне чиновник с морщинистым лицом и бородавкой на щеке.

Меня возмутила такая развязность.

«Я вижу вас первый и, надеюсь, последний раз в жизни», — заявил я ему.

«Это еще совсем неясно, — ответил он. — Я тоже думал, что никогда с русскими большевиками не встречусь. А вот началась война, меня призвали из запаса, и я руководил минными постановками в Финском заливе. Перед уходом вашего флота из Таллина три тысячи мин поставил. Надеюсь, помните, ваши корабли горели, как фейерверки».

Мне хотелось дать ему по морде. С трудом сдержался и только сказал:

«Мне кажется, что сегодня этим не стоило бы хвастать».

«Отчего же не похвастать! — притворно улыбаясь, проговорил он. — Ведь мой опыт при мне остался и, возможно, еще пригодится нашему отечеству».

Я понимаю состояние капитана, когда он видел перед собой матерого гитлеровца и сознавал, что именно этот негодяй сделал все, чтобы пустить ко дну транспорты с ранеными, женщинами, детьми, эвакуировавшимися из Тал-

лина, — и сотни беспомощных людей по его вине похоронены в море.

— Такого типа в концлагере держать, а он, видите ли, официальная персона-грата, — с возмущением заключил капитан, набил трубку, закурил и долго-долго смотрел вдаль.

Мы оба молчали, и я подумал о том, что совсем недавно прошла большая, жестокая война. Наша страна и наш народ спасли мир от фашизма, и, казалось бы, мы завоевали право жить спокойно, без тревоги за завтрашний день, за будущее наших детей и внуков. И вот мир снова в опасности! На него покушаются империалисты, в борьбе с которыми уже было пролито так много народной крови. Они подняли голову во многих странах. И, конечно, прежде всего в Западной Германии — на родине фашизма.

— Так-то обстоят дела, — совсем невесело проговорил капитан и смолк.

Я тоже молчал, вспоминая книги, прочитанные в последнее время, и среди них мемуары гитлеровских генералов и адмиралов, много раз битых и все еще бряцающих оружием. Впрочем, от этих произведений порой не отличишь и книги наших бывших союзников, описывающих вторую мировую войну в таком виде, что не можешь понять, принимали мы в ней участие или только войскам Англии и Соединенных Штатов Америки принадлежит честь разгрома гитлеровской Германии.

— Вы случайно не читали мемуары англичанина Питера Скотта «Битва в узких морях»? — спросил я.

— Нет, а что, интересные? — оживился капитан.

— В них получается так, будто судьбы войны решались на море британским флотом. О нашем участии в войне буквально ни слова.

— Ну, это не удивительно. Они все так пишут, — откликнулся капитан.

К счастью, «у лжи ноги коротки». И тот же самый Питер Скотт во многом не может свести концы с концами.

Он утверждает, что в 1940 году и первой половине 1941 года немецкая авиация наносила большие потери английскому судоходству, но затем, дескать, англичане стали так сильны в воздухе, так запугали немцев, что те даже боялись появиться, не то чтобы атаковать и топить английские корабли.

Но кто сегодня не знает, что как раз в эту пору — во второй половине 1941 года — основная масса немецкой авиации была связана боями на Восточном фронте и военно-воздушным силам Германии было тогда не до английских кораблей. Факты говорят сами за себя: с сентября 1939 года по май 1941 года потери англичан составляли 1448 потопленных единиц, а уже в июле 1941 года, как отмечает сам Питер Скотт, потери судоходства резко уменьшаются: в этом месяце было потоплено 35 английских транспортов, в августе — 22 транспорта, а в ноябре всего 12 транспортов.

Кто же отвлек силы фашистской авиации, миноносцев, подводных лодок — уж не Питер ли Скотт со своими прибрежными силами?!

До самой темноты сидели мы на берегу моря и говорили о том, что тревожит сейчас честных людей всего мира.

Тем временем подул ветерок, стало свежо, холодные волны неслись к берегу, с силой ударялись и дробились о бетонную стенку. Я смотрел на их пенистые гребни и думал о многом трагическом и прекрасном, что довелось нам всем на этом море увидеть и пережить.

СПУСТЯ ГОДЫ...

Один мой товарищ, тоже литератор, вернувшийся из поездки на флот, рассказывал, что ему было очень странно видеть новые корабли и встречать новых людей, потому что решительно все напоминало ему об Отечественной войне.

— Я оказался в плену прошлого, — сказал он.

Должен признаться, что подобное ощущение было и у меня. Встреча со знакомыми местами и людьми вызвала много близких сердцу воспоминаний.

Прошлое вторгалось в настоящее. Увиденное и пережитое много лет назад вдруг вставало перед глазами с новой необыкновенной силой.

Я поднимался по крутому трапу на крейсер «Свердлов». Навстречу мне шел небольшого роста инженер-капитан 1 ранга с лицом мудреца и по-мальчишески веселыми, жизнерадостными глазами. Мы встретились взглядами и сразу узнали друг друга.

— Сколько лет, сколько зим! Какими судьбами?! — воскликнул он с искренней радостью в голосе и, повер-

нув обратно на корабль, повел меня по длинному лабиринту коридоров в каюту.

Приятно было встретить человека, которого я хорошо помнил еще со времен первой блокадной зимы в осажденном Ленинграде, когда балтийские моряки своими силами ремонтировали корабли.

Худой, истощенный, сколько находчивости проявлял в ту пору старший инженер-лейтенант Борис Гуз — командир котельной группы на крейсере «Киров». Помню, он был озадачен: где достать трубки пароперегревателей для всех шести корабельных котлов? Недолго думая, решил устроить своеобразную экспедицию моряков по темным холодным цехам и заводским складам.

Они отбрасывали лопатами сугробы снега, наметенные через разбитые окна цехов, и отрывали какие-то жалкие, покрывшиеся льдом обломки металла.

В одном цехе Гуз посветил фонариком, взял лопату, копнул снег — и своим глазам не поверил: в куче железа валялись тысячи необходимых трубок.

Это было только начало работы по ремонту котлов, которая предстояла морякам.

В цехе не было ни тепла, ни света, ни станка, необходимого, чтобы согнуть найденные трубки. Но зато были прекрасные люди — старший специалист Коковцев, матросы Суханов, Беленя, Василенко, Муравьев, с которыми служил и дружил Борис Гуз.

Они нашли станок и стали действовать. Температура была 25 градусов ниже нуля. От холода застывало колесо станка. Тогда под станком разжигался костер. Работа продолжалась до тех пор, пока не были согнуты все трубки.

А потом возникла новая проблема — как доставить трубки на корабль? И тут моряки нашли выход из положения: наспех сколотили несколько деревянных саней, и через Неву, между заводом и крейсером, начал регулярно курсировать небывалый грузовой поезд.

Приступили к монтажу трубок. На первых порах дело не клеилось. Не умели обращаться с пневматическим инструментом. Сколько раз матросы выбирались из тесного коллектора и в сердцах бросали инструмент: «Ничего не выйдет! Что сделаешь, в такой дыре никак не повернуться».

Тогда сам Борис Гуз забирался в коллектор, примерялся и находил удобное положение для работы. Чтобы

сэкономить время, моряки по молчаливому уговору до обеда не выходили из котельной и даже отменили перекур.

Когда в котле установили первые две трубки, на корабле была большая радость.

— Лиха беда начало! Теперь дело пойдет, — говорил Гуз.

Темпы работы все время нарастали, к концу недели моряки устанавливали по 25 трубок в день.

Я вспоминаю тот самый день, когда все трубки наконец были смонтированы.

На гидравлические испытания пароперегревателей в котельной собралось много народу.

Командир корабля подошел к исхудавшему, бродившему, как тень, Гузу и спросил:

— Ну, как вы думаете, выдержат испытание?

Гуз, покраснев, ответил:

— Честное слово, товарищ командир, сегодня я чувствую себя как школьник перед экзаменом.

Маленький и худощавый, в эти минуты он и впрямь был похож на школьника.

В котлы начали подавать воду. Стрелка манометра медленно пошла в сторону, отмечая возраставшее давление.

— Двадцать атмосфер есть! — сообщил Гуз. — Нажмем еще?

Стрелка пошла дальше. 22 атмосферы! До рабочего давления оставалось еще три атмосферы.

— Продолжать испытания! — командовал Гуз, не отрывая глаз от приборов.

Наконец давление было доведено до нормы. Командир корабля подошел сперва к Гузу, затем поочередно ко всем старшинам, матросам и крепко пожал им руки.

— Теперь мы с вами, друзья, готовы к новым походам! — сказал он, и в его словах можно было заметить гордость за своих подчиненных и прежде всего за молодого, но уже опытного инженер-механика Бориса Львовича Гуза.

Мне невольно пришел на память этот эпизод сейчас, когда мы зашли в маленькую, просто обставленную каюту, и Борис Львович снял фуражку с золотым орнаментом на козырьке, по-хозяйски уселся в кресло, и я увидел, что время делает свое дело: посеребрились виски моего друга, а лицо по-прежнему молодое, глаза задорно блестят.

Как и прежде, чувствуется в нем огонек, который помогает людям переживать любые удары судьбы, побеждать все физические и духовные недуги.

Я поинтересовался, как сложилась его жизнь после войны.

— Обыкновенно, — шутливым тоном ответил он. — Служим отечеству, и все тут.

И он стал рассказывать, как после службы на «Кирове» его назначили старшим инженер-механиком нового большого корабля, который строился у него на глазах и при его участии. Этот корабль вошел в состав соединения.

— Хозяйство у нас большое и беспокойное. Оно требует высококвалифицированных специалистов. Офицеров с инженерным образованием нам дают училища. Старшин готовят специальные школы, а классных специалистов воспитываем сами на кораблях. Они — сила, управляют техникой, от них все зависит в нашем деле.

Борис Львович пригласил меня посмотреть новую учебно-тренировочную станцию живучести, созданную по его проекту.

Осматривая эту станцию, я услышал шум, напоминающий водопад, и спросил у Гуза, что это значит. Он подвел меня к задраенной переборке, и через стеклянный глазок я увидел каскады воды, пробивавшиеся в отсек. Несколько матросов быстрыми, стремительными движениями сооружали деревянные подпоры, накладывали пластырь, вели отчаянную борьбу с потоками воды, рвавшимися внутрь корабля.

— Тут все делается по-настоящему — и пробоины, и напор воды, как бывает в бою, когда снаряд попадает в корпус корабля, — пояснял Гуз и, глядя на свои ручные часы, отмечал те немногие минуты, в течение которых были сооружены подпоры, и вода больше не свирепствовала, ее обуздали быстрые и умелые руки. Тонкими, едва заметными струйками она пробивалась в отсек, но еще через несколько минут и этим струйкам был закрыт доступ внутрь корабля. Заработали помпы, быстро откачали воду. Тогда отдраили дверь, и из отсека показался старшина, одетый в резиновый костюм, а за ним потянулись матросы, получившие сегодня первое, почти боевое крещение.

В это время явился рассыльный и сообщил, что Гуза срочно вызывает начальник штаба соединения.

Борис Львович попрощался со мной и ушел, а я остался среди матросов, которые только что на наших глазах так умело, энергично боролись за живучесть корабля.

Мы стали знакомиться. Оказалось, что это все молодежь, по первому году службы. Я о многом их расспрашивал; они охотно все объясняли и показывали. Только один совсем юный паренек, с посиневшим лицом и толстыми губами, держался в стороне и не принимал участия в нашей беседе.

Заметив его, старшина крикнул:

— Анденов! А ты что стоишь там раком-отшельником?!

Паренек смутился и подошел к нам.

Старшина объяснил, что это украинский тракторист из колхоза. — Молодой, удалой, — добавил он.

— Откуда же вы знаете, что удалой? — спросил я.

— В деле проверен, — важно проговорил старшина.— Он хотя и мало служит, а побывал уже в Голландии. На походе самостоятельно нес вахту.

Анденов был сам не рад такой популярности и старался спрятаться за спины товарищей.

Вечером мы с ним встретились в кубрике, что называется, с глазу на глаз, и здесь по-настоящему состоялось наше знакомство.

Теперь, наедине, Анденов был много смелее и охотно рассказывал мне короткую историю своей службы на флоте.

Меньше года назад он приехал в гарнизон и первый раз в жизни увидел не на картинке бескрайнее море, над которым чаще всего нависают тучи, и оно хмурится, отливая тяжелым цветом свинца.

Он поднялся на корабль, его провели в кубрик, и вначале ему пришлась не по вкусу жизнь, расписанная по часам и минутам. Только люди ему понравились с первого взгляда — такие же молодые матросы. Они охотно приняли Анденова в свою дружную семью.

Началось знакомство с техникой, совсем непохожей на трактор КДП-35, с которым Анденову приходилось иметь дело у себя на Житомирщине, в колхозе «Червоний Жовтень». После самого обыкновенного движка в родном селе Староселье он впервые увидел на корабле турбины и электростанции большой мощности.

Прослужить на корабле год — это много и вместе с тем мало. Все зависит от старания и добросовестности. Анатолий Анденов обладал и тем и другим. Он нашел себя в профессии машиниста-турбиниста и вскоре уверенно нес вахту у турбогенератора, откуда подается ток во все уголки плавучей крепости.

Наставник его, медлительный и тяжеловесный старшина Николай Переведенцев не раз мог убедиться, что Анатолий Анденов человек внимательный и на него можно полностью положиться.

Но поход в Голландию был своего рода испытанием даже для старшины, не говоря уже о молодых матросах.

Отряд кораблей вышел из Балтийска в теплый июльский день, когда светило яркое солнце, небо и море, против обыкновения, отливали синевато-голубой лазурью.

Анатолий Анденов не видел, что делается там, наверху, — над ним не голубело небо, к нему не проникали солнечные лучи. Он заступил на ходовую вахту. Глаза его следили за приборами, а уши прислушивались к работе механизма, как к биению своего собственного сердца.

Крейсер «Свердлов» в охранении двух эскадренных миноносцев шел вперед. Милю за милей отсчитывали приборы. С каждым поворотом гребных винтов корабли удалялись от родных берегов.

За кормой остались проливы. Пройдя более чем тысячу миль, отряд подошел к берегам Голландии, и над головой Анатолия Анденова прогремел 21 выстрел — салют наций. В ответ послышались раскаты береговой батареи.

Корабли входили в порт Роттердам, приближаясь к длинному причалу. Анденов только что сменился с вахты и вышел на верхнюю палубу. Он увидел сотни людей с цветами, которые стояли на причале и приветствовали советских военных моряков.

В эти дни Анатолий Анденов вместе со своими друзьями ходил по улицам Роттердама, ездил в Гаагу, осматривал там музей, исторические места и, даже не зная языка, при помощи одних жестов объяснялся с людьми, обменивался с ними открытками и значками.

Быстро пролетело время. И снова прозвучала привычная команда: «По местам стоять, с якоря и швартовов сниматься!» На причальной стенке играл оркестр, и так же, как при встрече, стояли взрослые с детьми и размахивали платочками, выкрикивали какие-то малопонятные,

но дружеские слова. Всего этого Анатолий уже не видел, потому что он снова нес походную вахту у турбогенератора, работавшего все с таким же четким ритмом.

В ненастный день, когда сгустились тучи и море было темно-серого цвета, корабли входили в свою базу. Чайки проносились низко над водой и протяжными, заунывными криками наводили тоску. И все же при одной мысли о том, как хорошо возвращаться к себе домой, хотелось петь и плясать. Но строгая обстановка никак к этому не располагала, лишь кто-то из моряков вспомнил и продекламировал вслух лирические строки: «И дым Отечества нам сладок...»

Анатолий Анденов стоял на палубе, смотрел на маяк, знакомые домики Балтийска и думал о письмах, которые, по всей вероятности, пришли из родных мест.

— И представьте, мои думы сбылись, — сказал он. — В Балтийске меня ждали письма от мамы из колхоза и от братишки — он в армии служит. За год службы на флоте я привык к дисциплине, обзавелся новыми товарищами, — продолжал Анденов. — Только, откровенно сказать, по дому скучаю. Целый год в разлуке. Хоть бы одним глазом посмотреть, что там делается.

— Кто же у вас там остался? — поинтересовался я.

— Мать, сестренка, бабушка. Это формально. А неформально — все ребята и девчата села Староселья, мои школьные друзья. Эх, съездили бы вы туда, — сказал Анатолий с такой душевной страстью, что в эту минуту мне и в самом деле захотелось побывать у него на родине.

— Ваша мать колхозница? — спросил я.

— Она агроном, колхозный голова, — пояснил Анатолий и тут же поспешил разъяснить: — По-украински так называется председатель колхоза.

Пока я жил на корабле, мы часто встречались с Анатолием Анденовым. Несмотря на различие в возрасте, у нас находилось много общих интересов и всегда было о чем поговорить. Мне нравилась природная скромность и некоторая застенчивость сельского паренька — это чувствовалось даже по манере тихо говорить, чтобы не обращать на себя внимание. В наших беседах, длившихся подолгу, он часто и с какой-то особой нежностью вспоминал мать, которая после гибели отца на войне рано овдовела и, как выражался Анатолий, «на своем горбу

подняла всю нашу ораву». И в моем воображении рисовалась, быть может, не такая пожилая, но преждевременно состарившаяся женщина.

— Что вы, она у нас боевая, — с жаром проговорил Анатолий. — Нам всем очко вперед даст.

Как-то, зайдя в редакцию флотской газеты «Страж Балтики», я рассказал о своей дружбе с матросом Анденовым и о том, что его мать председатель крупного украинского колхоза-миллионера. Редактор газеты, капитан 1 ранга Долгов, сразу оживился, его внезапно осенила идея:

— Хорошо бы вам поехать, посмотреть, что за колхоз, и написать в нашу газету обо всем, что вы там увидите. Ведь это будет интересно не только Анденову, но и многим морякам.

Я сразу принял предложение редакции и поспешил на корабль.

Услышав, что я еду на Украину, Анатолий раскраснелся, замигал своими длинными ресницами и, должно быть, никак не мог поверить моим словам.

— Вот хорошо! — сказал он. — Увидите много интересного и письмо землякам от меня передадите.

Тут же мы пошли в корабельную библиотеку, разыскали карту и стали составлять самый короткий и быстрый маршрут моего предстоящего путешествия.

ВДАЛИ ОТ МОРЯ

И вот я в купе скорого поезда, смотрю на проплывающие леса, степи, домики и мысленно представляю встречу с матерью Анатолия Анденова и его родными местами.

В моем воображении рисуются поля, залитые солнцем, белые украинские хаты, которых я никогда не видел, и еще многое, с чем связано в нашем понятии слово «Украина».

Но это были иллюзии. А в действительности все обстояло совсем иначе. Я попал в осеннее ненастье. Над полями нависали тучи. Днем и ночью, почти не переставая, хлестал противный дождь. Трудно было поверить, что это Житомирщина в сентябре, когда, по словам старожилов, стоят жаркие, сухие дни и чуть прохладные бархатистые ночи, освещенные мягким голубоватым светом молодого месяца.

Грузовое такси, увязая в грязи, с трудом добралось до села Староселье. Вместе со своими попутчиками я подошел к кирпичному дому с вывеской «Правление колхоза «Червоний Жовтень».

У крыльца стояла маленькая, плотная, круглолицая женщина в платке, плаще и резиновых сапогах.

Должно быть, приняв меня за какого-нибудь районного или областного работника, она показала на небо, затянутое тучами, и в сердцах сказала:

— Якый же бис правыть небесною канцеляриею. Щоб вин подох, проклятый!

Я сразу догадался, что это и есть колхозный голова — Надежда Ивановна Анденова, и поспешил обрадовать ее.

— Вам живой привет с Балтики!

— Невже ви од сына?! — воскликнула она, и ее озабоченное лицо сразу повеселело.

Я протянул письмо Анатолия.

— Славный подарок вы мне привезли, — сказала она й повела меня в дом.

Мы зашли в правление, где по случаю плохой погоды собрались бригадиры и колхозные активисты. Все, должно быть, заметили, что Надежда Ивановна преобразилась, но не понимали, в чем дело, и смотрели на нее любопытными глазами.

— Письмо от сыночка получила, — объявила она, обращаясь к высокому и плотному мужчине с протезами, который стоял, опираясь на костыли. Оказалось, что это секретарь колхозной партийной организации Степан Ковальчук. Он тоже обрадовался неожиданному известию, присел на скамейку и сказал:

— Ну-ка, давай читай, что там наш моряк сообщает.

Надежде Ивановне не терпелось узнать, как там сын, привык ли к военному делу или все по дому скучает. И когда я сказал, что скучает, у Надежды Ивановны на глазах показались слезы. Тогда я поторопился перевести разговор на другую тему и стал рассказывать о последнем походе балтийских моряков в Голландию.

— Знаю, всэ знаю, — перебила меня Надежда Ивановна. — З цым походом у нас справжний анэкдот выйшов.

И рассказала, как однажды рано утречком шла она по полю, а навстречу ей бригадир тракторной бригады Евгений Фоменко. Ни с того ни с сего протягивает руку и говорит: «Поздравляю, Надежда Ивановна, ваш Толя

ушел с визитом дружбы в Голландию». Она удивилась и спрашивает: «Откуда ты знаешь?» — «По радио слышал», — отвечает он. «Неужели Толя такая важная персона, что о нем сообщают по радио?» — говорит Надежда Ивановна. «Да нет, не о нем лично. О крейсере «Свердлов» передавали по радио. Ну, а ваш Толя ведь на нем служит?!» — смеется Фоменко. Надежда Ивановна, конечно, потом следила по газетам за этим походом, каждую заметочку читала и перечитывала.

— Хватит байки рассказывать. Мы хотим послушать, что моряк пишет, — с нетерпением повторил Ковальчук.

Надежда Ивановна надела очки и стала читать вслух послание сына, то и дело останавливаясь и вставляя от себя по-украински острые слова, от которых слушатели заливались хохотом.

Когда письмо было прочитано, колхозники обступили меня, и посыпались вопросы о Балтике, о крейсере «Свердлов», о Толе Анденове. И по тому, как внимательно слушали меня люди, я понимал, что они крепко помнят своего земляка и рады случаю что-нибудь узнать о его жизни.

Глядя на людей, собравшихся вокруг меня, Ковальчук сказал:

— Хорошо, що идэт дождь, все одно никто на поли нэ робыть, а то лыхо було бы. — И, посмотрев на Надежду Ивановну, добавил: — Народ наш интересуется не только сухопутными, а и морскими делами.

И впрямь, во время нашего разговора в правление колхоза приходили все новые и новые люди. Письмо Анатолия передавалось из рук в руки, и колхозники, забыв, зачем пришли, включались в общий разговор.

Наконец Надежда Ивановна объявила, что пора обедать, и пригласила меня к себе домой перекусить.

После обеда Надежда Ивановна снова ушла в правление, а я остался отдохнуть с дороги.

Вернулась она, когда уже стемнело, и снова полилась наша беседа о флоте и ее Анатолии, о делах колхоза, о ненастной погоде и о многом другом, о чем говорят люди, хотя встретившиеся и впервые, но сразу почувствовавшие доверие друг к другу.

Мы сидели далеко за полночь и никак не могли наговориться. Впрочем, за это время несколько раз наш разговор прерывался неожиданными визитами.

Первым появился молодой парень в ватнике, брю-

ках-галифе, резиновых сапогах и фуражке армейского образца, с козырька которой стекала тонкая струйка воды. Он зашел в кухню, поздоровался и сел в уголке у печки, должно быть, на свое излюбленное местечко.

— Познакомьтесь. Это дружок Толи, наш тракторист Петро Девятко, — объявила Надежда Ивановна. — Танкист, недавно отслужил в армии и вернулся в колхоз.

— Не я один вернулся, — добавил Петро. — Все ребята из армии приезжают домой и работают в колхозе. За первое полугодие у меня набежало 330 трудодней. А наш трудодень теперь богатый, в два раза больше, чем получали при Анатолии.

— Так что теперь не одни старики в колхозе? — спросил я.

— Что вы! — с удивлением проговорил Петро. — Нынче все десятиклассники в колхозе остались: кто на молочной ферме, кто на тракторе. Народу хватает. А те, кто было уехали в город, обратно приезжают. Вот, к примеру, Яремчук. Сколько лет в городе на стройке работал, а нынче с семьей домой вернулся, хату себе построил, телку в рассрочку дали. Опять колхозником стал.

Я вспомнил, что при нашем прощании на корабле Анатолий просил узнать, кто теперь сидит за рулем его трактора.

Оказывается, место Анатолия поначалу занял Петро Девятко, а потом прислали в колхоз новый трактор, и Толину машину он уступил своему младшему брату Ростиславу Девятко и его другу Леониду Якубовскому.

— Передайте Толе, что его трактор в полном порядке. Мы за ним следим. Эта машина еще поработает, дождется своего хозяина.

В разгар нашей беседы открылась дверь и на пороге появилась женщина в плаще и шерстяном платке.

Надежда Ивановна бросилась к женщине, помогая ей раздеться:

— Як цэ вы в такый дождь, Клавдия Ивановна? — сказала она.

— Плыла, точно по морю, — ответила Клавдия Ивановна. — Хотелось узнать, как там мой ученик.

Мне ничего другого не осталось, как по меньшей мере в десятый раз снова начать рассказ о Толе Анденове.

Клавдия Ивановна Балахнева смотрела на меня вни-

мательным взглядом, стараясь запомнить все, что я говорил. Не перебивая меня, она лишь одобрительно кивала головой, а когда я кончил рассказ, она сделала свой короткий вывод:

— Так я и думала: Анатолий будет полезным и дельным человеком...

Пожалуй, эти слова старой учительницы были лучшей аттестацией для юноши, начавшего большую жизнь.

— Я письмо написала. Передайте, пожалуйста, Толе, — сказала Клавдия Ивановна, вручила мне конверт и стала поспешно собираться, объяснив, что у нее целые горы непроверенных тетрадей.

Вместе с ней поднялся и собрался уходить Петро Девятко, но на пороге встретился со своими друзьями, которые пришли к нам, чтобы услышать живое слово о Толе. И так эти простые задушевные беседы продолжались до глубокой ночи, пока не спохватились, что завтра рано вставать и пора уже расходиться.

* * *

Несколько дней, проведенных мной в колхозе, были полны ожидания хорошей погоды. И тракторы, и уборочные машины, и люди — все находились в готовности, как на фронте в канун большого наступления. Дело было только за погодой.

И наконец в одну из ночей поднялся сильный ветер, разогнал тучи, и к утру над полями заголубело небо. Надежда Ивановна встала чуть свет и отправилась на поле.

Увидев издали Петра Девятко, она крикнула ему веселым голосом:

— Эй, Петро, пора працюваты!

И в ответ послышался такой же веселый голос:

— Есть працюваты, Надежда Ивановна!

Петро поправил выбившийся из-под фуражки чуб, подошел к трактору и скомандовал по привычке опытного танкиста:

— Заводи моторы!

Мотор заурчал. Петро ловко сел за кермо, включил скорость, и трактор потянул комбайн вперед по полю, которому конца и края не видно.

Я собирался обратно на Балтику, открыл свой чемодан и, к большому удивлению, обнаружил там какие-то

странные свертки. Развернув один из них, я увидел, что это кусок шпига.

— Повезить на корабль, — сказала Надежда Ивановна. — Хай морячкы покоштують нашэ украиньске колгоспнэ сало.

Все мои попытки освободиться от этого груза, доказать, что на флоте шпиг не в диковинку, ни к чему не привели.

— Це мий подарунок. Визмить, будь ласка, и не перечьтэ, — настаивала она.

Пришлось подчиниться.

Перед самым моим отъездом к нам в хату приходили девушки и парни — друзья и соученики Анатолия, просили ему кланяться и оставляли белые треугольнички, внутрь которых были вложены письма.

Надежда Ивановна провожала меня до станции. Когда мы расставались, она наказала:

— Скажить Толе, як тильки збэрэм урожай, я прийду до ньего. Хочу своимы очамы Балтыку побачыть.

Я долго смотрел из окна вагона на уплывающий перрон и маленькую женщину, которая стала для меня новым другом...

БУДНИ НА КРЕЙСЕРЕ «КИРОВ»

Находясь на флоте, я однажды получил конверт и в нем пригласительный билет на корабельный праздник Краснознаменного крейсера «Киров». Признаюсь, этот билет с золотым тиснением доставил мне много радости. Я долго не выпускал его из рук, рассматривая изображенный на нем хорошо знакомый силуэт крейсера, и в моей памяти снова встали давно виденные, по всей вероятности, запечатлевшиеся на всю жизнь картины: таллинский рейд, окутанный дымом пожаров, и то исчезающий, то снова выступающий сквозь пелену дымов грозный и внушительный корабль, похожий на крепость, желтые вспышки на борту и рев орудий. Потом — заснеженные палубы в суровую пору блокады Ленинграда, в валенках и тулупах зенитчики, находящиеся в готовности днем и ночью. И, наконец, дни нашего наступления, орудийные раскаты «Кирова», от которых в домах на набережной Невы не только дрожали, но даже вылетали стекла.

С крейсером «Киров» связана не только история города-героя Ленинграда в самые трагические дни его бытия, не только боевая жизнь всего Балтийского флота, но и наши личные судьбы. Если бы он не прикрывал нас в те памятные сутки похода из Таллина в Кронштадт, многие корабли и многие люди давно бы покоились на дне моря.

Вот почему приглашение на «Киров» было для меня теперь большим желанным событием.

И ничего, что мне пришлось отмерить сравнительно далекий путь. Занятый мыслями о предстоящих знакомствах и встречах с новыми людьми, я даже не заметил, как поезд пробежал все это расстояние.

Я прибыл на корабль солнечным утром, когда он был пленительно красив, украшенный развевавшимися по ветру флагами расцвечивания. Вступив на палубу, я испытал то волнующее чувство, которое свойственно человеку, когда он после долгих лет разлуки возвращается в родную обитель.

Живо и весело прошел на корабле этот день: приехали шефы, произносились горячие речи, на полубаке выступали артисты, матросы перетягивали канат. Словом, был праздник как праздник. Понятно, в такой день было не до знакомств и разговоров. Все это предстояло в ближайшие дни.

Меня поместили в свободную офицерскую каюту, и началась жизнь, от которой я отвык после войны, — с боем склянок, дудками, пронзительными звонками учебных тревог.

* * *

Утром над головой раздается оглушительный топот ног по железной палубе, словно стук отбойных молотков. Это верный признак того, что сигнал побудки уже был.

В каюте появляется матрос Виктор Шендяпин. Он в холщовом рабочем платье и синем берете, а в руках щетки и тряпки.

— Разрешите произвести приборку? — спрашивает он.

И принимается за дело: старательно протирает пол, драит медяшку, пыль снимает так осторожно, чтобы ни одну пылинку на пол не обронить, манипулирует крани-

ками и бачок умывальника наполняет водой. Затем переходит к койке, и по кислому выражению его лица можно догадаться, что мой метод застилать кровать пришелся ему не по вкусу. Он застилает ее по-своему, я бы сказал, с особым шиком, чтобы подушка находилась внутри постели, оставаясь незаметной, а поверх одеяла белела аккуратная каемка простыни.

Работая с увлечением, он в то же время посматривает на мой пиджак, должно быть пытаясь догадаться, что это за новый пассажир прибыл.

Наконец он обращается ко мне тоном гостеприимного хозяина:

— Как вам нравится у нас на корабле?

— Я тут не впервые, — говорю ему. — С вашим кораблем мы старые знакомые. Еще во время войны встречались.

— Ах так?! — произносит он с удивлением. — Вы давно на флот прибыли?

— Месяца полтора назад.

— Я тоже недавно, — говорит он. — Мы сами из Пензенской области, вместе с братцем служили: Он в запас ушел, а я ему на смену. Поначалу все получилось так: приехал он в отпуск в наши пензенские края, где моря нет, одна речушка и та в жару высыхает. Много рассказывал про Балтику, говорил — почетная служба на Краснознаменном корабле. Мне и захотелось к нему на крейсер, не мог дождаться призыва, а когда годы подошли, меня вызвали на комиссию, вот тут я военкома и попросил, чтобы на Балтику к брату послали. Мою просьбу уважили, и прибыл я в учебный отряд. Как полагается, прошел обучение, а когда стали по кораблям расписывать, попросился на «Киров». Объяснил все по-честному, дескать, там брат командиром отделения служит. И опять повезло, попал в одну боевую часть с ним, под его, можно сказать, руководство. Год мы вместе служили, водил он меня по кораблю, все показывал, рассказывал, объяснял, что к чему... А пришло время, демобилизовался и все заведование в мои руки оставил. Пока справляюсь, помощи ни у кого не прошу. Служить не трудно, потому что у нас командир хороший, обходительный. Может, знаете старшину Железнякова? Давно на крейсере... Справедлив к людям: когда нужно, построже, а когда поласковее. Только никого зря не обидит и в обиду не даст.

Чуткий, душевный человек! Недавно у меня случился приступ аппендицита. В госпиталь отправили. Лежу в палате, скучаю, смотрю — командир с женой пришли меня навестить, как родные... Это меня особенно тронуло. Хочется служить как можно лучше, чтобы своего командира не подвести. Задумал я стать классным специалистом. Добьюсь своего, чего бы это ни стоило.

— Значит, службой довольны? — спросил я.

— Еще бы! Недавно в дальний поход ходили, аж до самого Северного моря. Тысячу восемьсот миль враз отмахали. Работали на совесть, старались, как могли...

Слушая матроса Шендяпина, я думал о том, что крейсер «Киров» — все тот же корабль, каким был в годы войны. И вместе с тем он совсем другой, хотя бы потому, что здесь почти не осталось ветеранов войны. Молодежь правит службу! Выросло новое поколение матросов, старшин, офицеров. Припоминаю инженер-механика корабля в годы войны. В то время эту должность занимал солидный капитан третьего или даже второго ранга в возрасте далеко за тридцать, теперь — капитан-лейтенант! Небось мальчиком в войну еще бегал и по складам читал слова букваря, а сегодня он маг и волшебник на корабле. Под его началом турбины, не уступающие по мощности Волховской гидроэлектростанции, и множество других механизмов, двигающих корабль, питающих энергией орудийные башни, торпедные аппараты и всю боевую технику.

Он невысок ростом, смуглый, как цыган, с аккуратно подстриженными черными усиками. Сидит в кают-компании, пьет чай и мучительно о чем-то размышляет. Все знают, что он думает о Ленинграде; его мысли в Инженерном училище имени Дзержинского, которое он кончал несколько лет назад, а теперь подал рапорт в адъюнктуру и попал, что называется, между двух огней: командующий флотом дал согласие на учебу, а командир корабля не хочет лишиться хорошего специалиста и не спешит отправлять его личное дело в училище.

— Пусть будет официальное приказание, тогда пошлю, — говорит он.

— Так вот же телеграмма из отдела кадров.

— Это согласие, а мне нужно приказание вас отпустить, — нарочито спокойным тоном объясняет командир корабля.

Между тем до начала приемных экзаменов осталось несколько дней. Инженер-механик, бедняга, мечется между молотом и наковальней. Бежит к телефону, охрип, пока дозвонился до отдела командных кадров, о чем-то просит, умоляет. А утром, взвинченный, готовый взорваться, как бомба, летит к командиру корабля все с тем же вопросом:

— Поступило приказание?

— Никак нет! — отвечает командир и в душе, конечно, радуется. Надо быть врагом самому себе, чтобы добровольно отпустить с корабля хорошего офицера.

— Как же быть? Экзамены начинаются, а я здесь! — вопрошает капитан-лейтенант, и в голосе его чувствуется отчаяние.

— Ничего, послужите еще годик, а потом я лично берусь доставить вас в училище и сдать под расписку, — отшучивается командир и тут же переходит на серьезный тон. — У нас и так много людей уходит. Поймите, корабль — живой организм, нельзя без специалистов оставить.

Однако на этом же корабле есть люди, судьбы которых не волен решать командир крейсера. Тут мало его власти. Как ни жаль, а приходится с ними расставаться.

Как раз сегодня экипаж прощается с ветераном войны мичманом Алексеем Ивановичем Воронцовым — немолодым, коренастым мужчиной с длинными, натруженными руками и высоким лбом, изрезанным морщинами.

Больше двадцати лет он отдал флоту и добрую половину из них прослужил на Краснознаменном крейсере «Киров». Сама судьба накрепко связала его с этим кораблем.

В памятный день нашего отступления из Таллина он служил на погибшем тогда миноносце «Яков Свердлов».

Не много моряков из команды миноносца остались в живых, и среди них посчастливилось спастись мичману Воронцову, назначенному затем на крейсер «Киров».

Героика мирных будней не бросается в глаза, часто ее даже не заметишь. Но она есть в жизни и учебе военных моряков. И то прекрасное, чем прославились многие воины, продолжало жить в делах мичмана Воронцова.

Сколько молодых людей прошло через его руки! Приезжали они с московских и ленинградских заводов,

из Донбасса и казахских степей. Разные были ребята: трудолюбивые и с ленцой, послушные и распущенные. Им нужно было привить уважение к строгой воинской дисциплине, познакомить с техникой, обучить боевому мастерству. Этим и занимался мичман Воронцов, спокойный и неторопливый, никогда не повышающий голоса. Он умел завоевать расположение молодых матросов, терпеливо, настойчиво воспитывать в них повиновение и старательность.

Между собой матросы называли его «наш мичман», «батя» и по-другому, но всегда любовно и уважительно, потому что не было среди корабельных старшин и мичманов человека, который так хорошо знал бы, из чего слагается искусство меткой стрельбы, и умел просто, доступно об этом рассказать. И не случайно вместе со своим учеником, матросом Фокиным, мичман Воронцов сделал ценное усовершенствование стреляющего приспособления; оба получили авторское свидетельство и награды.

Ох, как жаль расставаться с ним морякам! Да и самому Воронцову будет нелегко стать гражданским человеком: он без корабля что птица без крыльев.

И вместе с тем незыблемы законы жизни. Отслужил Родине — получай заслуженный отдых!

Слышится команда «Смирно!». Замер строй моряков. Командир крейсера выходит на середину, развертывает огромный лист с золотым тиснением и читает:

— «Дорогой товарищ Воронцов! В день Вашего увольнения в запас из рядов Военно-Морского Флота Союза ССР командование Краснознаменного крейсера «Киров» благодарит Вас за добросовестную службу».

И совершенно необычным для такого торжественного случая, совсем простым, дружеским напутствием заканчивается этот адрес: «Не забывайте о корабле, на котором Вы служили. Держите с нами связь. Пишите нам о своей жизни...»

За почетным адресом Воронцову вручается похвальный лист.

Мичман выходит на середину взволнованный и смущенный. Еще никогда за всю службу ему не приходилось стоять вот тут, рядом с командиром корабля, чтобы все взгляды были обращены только на него одного. Он в парадной тужурке, с орденами и медалями на груди.

Несколько минут стоит он растерянный, не зная даже, что сказать. Голос его дрожит от волнения:

— Сегодня я расстаюсь с вами, дорогие друзья, и уезжаю на родину. Но я подготовил себе смену и думаю, что мои ученики не подкачают.

Он ищет глазами своих преемников — старшину Попова, матроса Фокина. Но где тут кого-нибудь увидеть, если рябит в глазах от волнения и кажется, что строй моряков растянулся в десять раз длиннее, чем есть на самом деле.

— Ура мичману Воронцову!

Звуки оркестра сливаются с матросским «ура». На глазах мичмана слезы радости, на душе — горечь расставания.

Официальное торжество заканчивается. Но продолжение следует... После команды: «Вольно! Разойтись!», толпа матросов окружает Воронцова, и его руку жмут крепкие матросские ладони.

— Товарищ мичман! Тут вам маленький подарок от личного состава, — говорит старшина Попов, и откуда ни возьмись появляются настольные часы с короткой, дружеской надписью, выгравированной на самом видном месте.

— Да что вы, друзья, зачем такие подарки? — от удивления разводит руками Воронцов.

— Это чтобы вы не просыпали. Ведь там, дома, небось не услышите корабельную дудку!

— Услышу, услышу, — дрогнувшим голосом говорит Воронцов. — У меня дома все будет заведено точь-в-точь как на корабле.

С трудом пробивается он сквозь плотную стену матросских форменок и белых бескозырок, из-под которых смотрят полные тепла и сердечности черные, серые, голубые глаза сослуживцев — верных его друзей.

ЗАГАДКА НА КАМНЕ

Вот какую историю рассказали мне матросы крейсера «Киров».

...В кубрике учебного отряда Балтийского флота белорус из Гродненской области, щуплый и жилистый Федор Зубрик, матрос без году неделя, в первый раз заступал на дневальство. Надел на рукав повязку со

звездочкой, важно прошелся из одного конца кубрика в другой, заметил на полу брошенную каким-то разгильдяем бумажку, наклонился, поднял ее и положил в карман. Все хорошо знали, что командир роты очень ценит чистоту и строевую подтянутость. Поэтому Зубрик посмотрел на себя в зеркало и убедился, что форменка сидит хорошо, бескозырка тоже, бляха отливает золотом.

И все же тревожно было у него на душе. Думалось, вдруг явится кто-нибудь из начальства, не прохлопать бы, не растеряться, не забыть доложить, как положено по уставу.

Время шло, сумерки стали окутывать землю, а из начальства никто не появлялся.

Тогда Зубрик попросил своего сменщика: «Будь другом, посмотри за порядком, а я минуток на пять отлучусь...» И вышел во двор, к обрезу с окурками, свернул козью ножку, засыпал табачок, хранившийся еще из дому, и с удовольствием затянулся, выпуская над головой ровные колечки дыма.

Дурной пример заразителен. Вокруг обреза постепенно собрались и другие курильщики. Они сидели в кругу на старых замшелых камнях, что вросли в землю, образовав удобные сиденья, не хуже корабельных банок.

Завязался обычный веселый разговор, с шутками и солеными словечками. Один из матросов долго присматривался к ровному четырехугольному камню с хорошо обтесанными гранями и думал: «Ювелирная работа, кто бы это мог сделать?» Потом глаза его опустились ниже, и он увидел какие-то слова, высеченные на камне.

— Смотрите-ка, ребята, что за надпись такая?.. — воскликнул он.

Наиболее любопытные тут же поспешили к камню, наклонились и прочитали вслух: «Анатолий Кулиш».

От этого имени Зубрик даже вздрогнул, горячая волна прокатилась по всему его телу.

— Кулиш? — удивленно крикнул он, сорвался с места, подбежал к камню и повторил: — «Анатолий Кулиш».

Даже не верилось, чтобы тут, за тысячи километров от Казахстана, он услышал имя своего самого лучшего друга.

Зубрик вернулся на свой пост, но уже до конца дне-

вальства мысль об этом камне и об имени, которое на нем высечено, не давала ему покоя.

«Как же это могло случиться?.. — думал он. — Правда, у Тольки есть старший брат, может, он попал к нам на Балтику, вспомнил о брате и решил увековечить его имя на камне? А вернее всего, просто однофамилец. Ведь бывает сколько угодно — имя и фамилия одни и те же, а люди разные».

Казалось, эта последняя мысль его несколько успокоила. И все же, проводя длинную ночь за столиком, при входе в кубрик, прислушиваясь к сонному дыханию матросов, он продолжал думать об этой загадочной надписи и о друге своем, о многом, что с ним было связано.

Воспоминания начались с Училища механизации сельского хозяйства, которое в 1954 году кончал Зубрик. Сдавал последние экзамены, а в голове давненько засела одна мысль. И как только ему вручили удостоверение тракториста, он в тот же день прибежал в горком комсомола и спросил, протягивая документ: «А мне можно?» — «Конечно, — сказали ему. — Трактористы на целине самые нужные люди. Только не сдрейфь. На пустое место едете, как Робинзон Крузо».

В студеный день первый эшелон с комсомольцами прибыл в Кустанай. Ребята выходили из вагонов со своими чемоданами, мешками, рюкзаками и поеживались от холода.

«Привыкать надо, — говорили им местные старожилы. — В степи и вовсе закоченеть можно». Это была сущая правда. Но комсомольцев обмундировали хорошо, как бойцов на фронте. И они двинулись в небывалый поход, по пояс в снегу. Перед глазами не было ничего, кроме бесконечных снежных просторов, которым конца и края не видно. Сердитый ветер свистел и обжигал щеки, пальцы даже в меховых рукавицах стыли, деревенели, и только ноги, повинуясь сознанию, шли вперед и вперед.

Вдали слышался гул моторов, на снегу, точно спичечные головки, чернели тракторы. Их было больше сотни. Они двигались за людьми, по их следу.

Ночи проводили в палатках, раскинутых на снегу, обогревались у костров, а с рассветом продолжали путь, борясь с морозом и ветром.

Тут мало было одной отваги. Нет, здесь требовалось многое другое, чтобы в момент неимоверной усталости, когда кажется, что иссякли остатки сил и ты вот-вот упадешь в снег, заставить себя взбодриться и двигаться дальше. Пожалуй, только война, далекие походы, тяжелые, изнурительные бои могли идти в сравнение с этим первым штурмом снежной целины. И разве забудешь тех, кто шел рядом, кто в трудную минуту протянул тебе руку помощи.

Таким человеком был для Зубрика украинец из Кировоградской области Анатолий Кулиш — немного старше его по возрасту, физически крепкий, а главное, неугомонный, умеющий развеселить себя и всех окружающих.

С ним судьба и связала Зубрика. Связала крепкой дружбой, какая бывала между фронтовиками, которые шутя говорили: «Под одним богом ходим», а на самом деле никаких богов не страшились; чувство солидарности людей, поминутно рисковавших жизнью, сплачивало их в одну большую семью.

Впрочем, здесь тоже был фронт. Человек вступил в схватку с природой и так же, как на войне, рисковал самым дорогим — жизнью. Требовалось большое мужество, чтобы в минуты тяжких испытаний видеть перед собой большую благородную цель. Отступали, поворачивали обратно малодушные. Их были единицы. А армия шла вперед. И Зубрик с Кулишом были рядовыми этой несметной трудовой армии.

Они вместе проделали снежный поход. Все они делили пополам: еду, одежду и даже тепло своего тела. А потом остаток зимы жили в палатке, рядом спали, прижавшись друг к другу, обедали из одного котелка и жили надеждой на близкую весну.

Как только сошел снег, Зубрик и Кулиш сели за тракторы и уже по-настоящему пошли в наступление на эту богатую, переполненную соками жизни черноземную пустыню. Велика была радость, когда над землей заколосилась пшеница и вскоре машины, доверху груженные пахучим зерном, потянулись к элеваторам Кустаная.

На глазах у молодых друзей меняла облик эта еще недавно дикая земля. На ней вырастали жилые дома,

школы, больницы. И уже зазвучала гармошка, и далеко над степью понеслась песня о героях целины:

Поднимем, засеем целинные земли
Трудом комсомольских бригад!
И там, где природа забытая дремлет,
Пшеницей поля зашумят...

Нет, не сдались они перед трудностями, не дрогнули их сердца. Они прошли это горнило и вышли оттуда повзрослев, набравшись ума и опыта. Приехали мальчишками — стали мужчинами.

И, вероятно, никогда не расстались бы они, если бы не призыв в армию. А тут, дело известное, подошел срок 1936-му году, Анатолию Кулишу вручили повестку, и он отправился на призывной пункт. Думал, что́ оставить на прощание другу? Окинул глазами свои скромные пожитки и задержал взор на гитаре.

— Возьми, и пусть она тебя веселит, — сказал он, протянув Зубрику свою любимую спутницу, тихо зазвеневшую струнами.

Так они расстались и надолго потеряли из виду друг друга. Зубрик продолжал работать в целинном совхозе. Кулиш служил мотористом в электротехническом дивизионе Краснознаменного крейсера «Киров».

И вот однажды, как всегда точно по корабельному расписанию, в восемь десять по трансляции на крейсере «Киров» разнеслась команда дежурного офицера:

— Начать осмотр и проворачивание оружия и технических средств!

И во всех уголках корабля, где только есть оружие, какие-нибудь машины или приборы, закипела жизнь: осматривалась техника, прослушивалось все, что внутри машин, подобно тому, как врач прослушивает сердце больного. Прощупывались руками наружные детали. Словом, проверялось все сложное боевое хозяйство.

Медленно и плавно поворачивались и, точно повиснув в воздухе, проплывали орудия, закованные в башенную броню. Не спеша вращались тяжелые колеса турбин, насосов.

В помещении дизель-генератора становилось душно, хотя и работала вентиляция.

— Перерыв десять минут. Перекур! — объявил хмурый и вечно чем-то недовольный старшина.

Матросы обрадовались, полезли по трапу наверх, на ходу свертывая цигарки и торопясь как можно скорее выйти на верхнюю палубу вздохнуть полной грудью и всласть покурить.

И только один парень с упрямым выражением лица, которому были совсем не под стать красивые девичьи ресницы, оставался на месте и продолжал возиться с деталями своей машины. Он протирал их до блеска и любовался ими, как будто это не простой металл, а золото.

Увлеченный работой, он даже не заметил, как сзади подкрался его товарищ и крикнул:

— Подставляй нос!

Кулиш знал, что́ это значит, и послушно подставил нос, по которому несколько раз прошелся запечатанный конверт.

— Откуда? — спросил Анатолий. Не хотелось грязными, замасленными руками дотрагиваться до письма.

— Угадай, — засмеялся товарищ.

Анатолий взглянул на конверт — и от удивления застыл на месте:

— Не может быть! Я там ни одной живой души не знаю.

Торопясь вытер руки, взял послание и сразу узнал знакомый почерк своего друга с целины Феди Зубрика. «Как это он меня нашел?!» — подумал Кулиш, разворачивая письмо, и глаза его жадно побежали по строчкам.

«Дорогой Толя! Привет от земляка! Я учусь в учебном отряде, где и ты учился. Недавно стоял дневальным. Вышел покурить. Смотрю, на камне вырезано твое имя и фамилия. Я спросил старослужащих, не знают ли тебя. Говорят, был такой, на крейсер «Киров» отправили. Дали твой адрес. Вот я и написал...»

Тут-то Анатолий и вспомнил. Да! Действительно был такой случай! Однажды от нечего делать выдолбил он на камне свое имя и фамилию. Думал, может, кого из земляков с попутным ветром сюда занесет и узнают, что где-то на Балтике служит Анатолий Кулиш. Так оно и вышло.

За обедом об этом событии узнал весь кубрик, а вечером Анатолий получил внеочередное увольнение в город и разыскал своего закадычного друга. Они о мно-

гом говорили и долго смотрели один на другого. И обоим трудно было привыкнуть к тому, что они теперь не трактористы, а военные моряки.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Ранним утром туман над водой особенно густой. Он не вьется клубами, а стелется плотной непроницаемой стеной. Первые лучи солнца пробивают в этой стене бреши, и теперь туман клочьями висит в воздухе, льнет к корпусу корабля, цепляется за трап. Молодые парни шагают по трапу, поднимаются на борт крейсера «Киров». Их тяжелые шаги сотрясают трап, и клочья тумана, отрываясь, медленно скользят к воде, рассеиваются. Парни одеты в грубые рабочие форменки, тяжелые ботинки.

Первый раз в жизни они на прославленном корабле. И, конечно, сразу оробели, не знают, как себя вести, и больше всего боятся оконфузиться перед старослужащими, для которых крейсер давно стал родным домом.

Старшины показали молодым морякам расположение постов, рассказали о распорядке корабельной жизни, а вечером привели в клуб, где их встретил рослый капитан 3 ранга лет тридцати пяти, с мужественным, спокойным лицом. Серые глаза его смотрели пристально, испытующе, упругое тело и спортивная выправка подчеркивали натренированность и закалку.

Офицер поднялся на сцену, подошел к карте Финского залива и начал свой рассказ о боевом пути крейсера «Киров». Никаких бумажек в руках у него не было. И хотя он не обладал талантом оратора, тем не менее матросы слушали его с интересом, затаив дыхание.

Обращаясь к прошлому, к годам Отечественной войны, он приводил примеры героизма моряков-кировцев, и в его горячих словах ощущалась гордость за тех, кто служили на этом корабле и нередко ценой своей жизни завоевывали ему боевую славу.

Я смотрел на лицо офицера, очень знакомое по каким-то едва заметным приметам. И еще более знакомым показался мне его голос.

Каплунов? Да, это он! Сомнений быть не могло. После того как кончилась беседа с матросами, мы сидели в каюте Николая Сергеевича Каплунова, вспоминая

старую русскую пословицу, что гора с горой не сходится, а человек с человеком встречается часто.

— Наша с вами встреча — еще не самое удивительное, — заметил он. — Вы знаете, я встречал людей, которых считал давно погибшими, находил своих друзей, с которыми давным-давно разошелся и потерял следы.

Николай Сергеевич Каплунов сидел в кресле, немного наклонившись вперед и опираясь широкой ладонью о колено. Он говорил медленно и плавно. Не жестикулировал. Смотрел внимательно, словно изучал меня. Признаюсь, в этот момент я вряд ли был хорошим собеседником. Я слушал низкий спокойный голос Каплунова, смотрел на его мужественное лицо, на мелкие морщины у глаз, в которых залегла усталость, на лоб, молодой и чистый; на виски, темные, без единого седого волоса, и думал, что время идет... Мы часто думаем о времени, что оно идет быстро, удивительно быстро, а мы совсем не замечаем этого. Наверное, потому, что люди, окружающие нас, — наши друзья, знакомые, родные, и даже вещи, которые всегда рядом и к которым мы привыкли, меняются и стареют вместе с нами. Но вот я встретил человека, который изменился не на моих глазах, и, глядя на него, вспомнил о времени, потому что откуда-то из глубины прошлого на меня смотрело мальчишеское лицо.

— Э-э! Да вы меня совсем не слушаете!

— Нет, нет, Николай Сергеевич, я слушаю вас. Даже очень внимательно!

— Не меня вы слушаете, а собственные мысли. Я знаю это по себе. Когда человека много лет не видишь, так встреча с ним вызывает столько всяких мыслей, что с ними сразу и не справишься. Мы с вами ведь виделись на Черном море. Не так ли?

Да, мы встречались там в далекие огненные дни. В маленьком тесном блиндаже пахло сыростью, потом, мокрыми солдатскими сапогами. И вдруг все эти запахи сбил, уничтожил и остался властвовать один — запах ароматного флотского борща с мясным наваром. Его принес молодой парень в морской форме, неловко, боком ввалившийся в землянку. В руках у парня огромный бачок. Кто-то приподымает крышку — и моментально аромат борща распространяется по всей землянке, заби-

рается в самые темные углы. Растревоженные им люди, лежавшие на нарах, поднимают головы:

— Моряк пришел! Да не один — с обедом! Эй, ребята! Вставай! Харчить будем!

Бачок уже стоит на столе, сколоченном из неоструганных досок. К нему тянутся котелки. Кто-то греет руки о пузатый бок горячего бачка. О моряке, принесшем обед, забыли. Он стоит в стороне, улыбаясь смотрит, как огромный черпак поминутно погружается в бачок, и поддергивает рукой сползающий с плеча бушлат. Лицо у него доброе и очень молодое. Я обращаюсь к соседу:

— Что за парень?

— Да это Колька Каплунов. «Красную Звезду» недавно получил. Здоровый и лихой морячина.

Сосед наклоняется к котелку, морщит нос, вдыхает пар, крякает. Я хочу спросить, за что же получил этот молодой парень орден Красной Звезды и что значит — здоровый, но сосед уже отвернулся и занят только обедом. Я встаю и подхожу к моряку.

Так познакомились мы с Николаем Каплуновым. Знакомство наше было коротким, мы виделись один раз. Но Николай многое успел рассказать о себе.

Война застала его с братом Михаилом в Ростове, в техникуме морского флота. Люди жили в тревоге, особенно молодежи хотелось проучить фашистов, победно шагавших по Европе, а тут вместо фронта — учеба, вместо боя — аудитория, лекции. Хотели уже бросить техникум, да выручил отец, партизан гражданской войны. «Отец у нас человек правильный», — сказал Николай, чуть улыбнувшись, будто вспомнил что-то свое, мне неизвестное и недоступное. Отец поехал в Москву к Ворошилову и попросил послать на флот троих его сыновей — Николая, Михаила и Пётра. Так в 1941 году братья Каплуновы попали на Черноморье.

— Я никогда не плавал, к морю не привык, укачивало. Но какие тут привычки, когда в воздухе порохом пахнет, — рассказывал Николай. — Сражался под Одессой, под Севастополем, на Кавказе. В боях погибли братья Петр и Михаил. Эта весть ранила меня в самое сердце. Еще пуще озлился я на фашистов.

Я взглянул на Николая удивленно. В нем, на первый взгляд, не было ничего озлобленного, непримиримого.

Я вспомнил, как боком, смущенно втиснулся он в блиндаж и, улыбаясь, наблюдал за солдатами, разливавшими флотский борщ. Я вспомнил его лицо, доброе и наивное. Ни это лицо, ни улыбка не вязались с моим представлением о злости человеческой. Мое недоверие было очевидным, потому что Николай сказал:

— Не верите? Что вы так смотрите? Я ж не со всеми такой. Я с врагом... В бою.

Слово «в бою» он произнес крепко, энергично. В лице его появилась какая-то упрямая сила, и я вдруг подумал, что встретиться в бою с таким противником, пожалуй, страшно.

Николай мне не рассказал о том, за что он получил орден. «Чего тут рассказывать! Ничего особенного!» Про это «ничего особенного» мне рассказали его друзья, когда Николай, подтянув бушлат, проскользнул в узкую дверь и вышел из блиндажа. По-видимому, о подвиге его все хорошо знали, относились к этому словно к обычному делу, и никто ни разу не назвал это подвигом. Говорили о нем просто, обычными словами, какими мы сейчас говорим о том, что мой друг только что закончил новую книгу, а его сын, молодой парнишка, встал в этом году к станку...

Стояла холодная морозная ночь в канун Нового года. Где-нибудь в Сибири или на Урале люди собрались за праздничным столом и поднимали бокалы за победу, а в темном, беспокойном море, среди волн, шли корабли Черноморского флота — от крейсеров до юрких и быстроходных катеров. И где-то среди этих кораблей спешил к Керчи торпедный катер с первым броском десанта. В боевой рубке катера стоял юноша в резиновых сапогах и непромокаемом костюме. Из-под шерстяной шапки выбился темный вихор. Серые глаза блестели и выдавали волнение. Николай Каплунов знал, что от него сегодня во многом зависит успех высадки первой горстки людей.

Позади прокатились громы артиллерии, и над головой просвистели снаряды. Наши корабли открыли огонь.

Взмыли в небо немецкие ракеты, освещая море и корабли, приближавшиеся к Керчи. И словно не бывало этой глухой ночи, охваченной кромешной тьмой. От света ракет и трассирующих пуль стало светло как днем.

Крупные корабли остались позади, продолжая об-

стреливать берег, а катера вырвались вперед и шли к пирсам, лавируя между разрывами снарядов, уклоняясь от бесконечных трассирующих очередей, слившихся в один смертельный поток.

Волны разбивались о борт катера, крупные соленые брызги шлепали по бушлату, накинутому на плечи, и сбегали вниз широкими струями. Иногда они попадали в лицо, и тогда Николай ощущал на губах соленый вкус морской воды.

Волнение все больше охватывало Каплунова. То ли от холодной волны, то ли от страха у него леденели руки. Катера шли вперед среди рева орудий, завывания мин, захлебывающегося стрекотания пулеметов, среди беспрерывных вспышек ракет, бросающих на черную воду яркие холодные пятна.

Николаю больше всего хотелось, чтобы поскорее свершилось «это», чего он нетерпеливо ждал и ради чего он был здесь. Он думал о строжайшем наказе командира: «Людей надо высадить сухими». Наконец, когда катер совсем близко подошел к земле и ее полоска смутно проглянула в темноте, донесся громкий голос командира:

— Давай, Каплунов!

Вот он наступил, этот момент. Сейчас надо сделать шаг и спрыгнуть за борт. Но ноги вдруг стали свинцовыми. Ох, как трудно решиться ступить в черную воду!

Собрав все силы, Николай рванулся, взметнул послушное тело над бортом и почувствовал, как плещется у его груди волна. Тут же ему на плечо опустился трап.

Первым осторожно вступил на трап лейтенант морской пехоты, прошел несколько шагов и спрыгнул в воду там, где было совсем мелко. За ним так же осторожно на трап вступали солдаты.

— Быстрей, быстрей! — кричал Николай.

И солдаты уже бежали по трапу, позабыв о том, что у них под ногами не твердая палуба, а человек, живой человек, стоявший твердо и непоколебимо, как мост.

Больно ныло плечо. Доска вреза́лась в него все глубже и глубже... Застывшие ноги онемели.

Небольшая волна, оттолкнувшись от берега, бежала навстречу, захлестывала лицо, и Николай судорожно глотал соленую воду.

Перед глазами мелькали ноги, обутые в грубые кирзовые сапоги. Их было бесчисленное множество. Они гулко стучали о тонкий дощатый настил трапа. Они сменяли друг друга. Одни вышагивали по трапу и прыгали на берег, на смену им ступали на трап другие. Шершавые голенища иногда касались щеки Николая. Он вдыхал запах кожи, голова кружилась, тело уже перестало ныть, Николай просто не ощущал его. Затекли руки, вцепившиеся в грязные мокрые доски трапа. Ноги, ноги... .

Они сливались в его глазах в одну темную движущуюся массу.

Топот, топот...

Внезапно все стихло. Исчез топот. Только плеск воды, свист и шиканье пуль да далекие раскаты артиллерии. Николай не мог разнять затекших рук, шевельнуть ногой. Он даже не чувствовал, каким легким стал трап. Чьи-то сильные руки подхватили его и втянули на катер. И только когда катер отходил от берега, направляясь к Тамани за подкреплением, Николай медленно пришел в себя и постепенно осознал все, что с ним произошло...

Много дней спустя, когда отличившимся морякам вручали правительственные награды, командир катера поздравил Николая с получением ордена Красной Звезды и откровенно сказал: «Я тогда смотрел на тебя и думал: свалится парень, захлебнется, и где его найдешь среди этой заварухи?..»

Но Николай не свалился. Он выстоял и в ту памятную ночь, когда наши войска высаживали десант в Керчи, и в дни освобождения Севастополя, и когда торпедные катера лихо действовали на немецких коммуникациях в районе черноморских портов Сулины, Констанцы, Бургас.

...Сейчас я сидел с Каплуновым в его небольшой каюте. Яркий свет пробился через иллюминатор, упал неровными пятнами на лицо Каплунова, и оно внезапно приобрело напряженное выражение.

— Что вы так смотрите? Я здорово изменился? — спросил Николай Сергеевич. И когда я ответил, что действительно изменился он сильно, Каплунов вдруг неожиданно весело произнес:

— Еще бы не измениться. С окончания войны про-

шло уже сколько? Я окончил Военно-политическую академию имени Ленина, уже не первый год служу на крейсере «Киров», и было бы странно, если бы вы встретили прежнего Николая Каплунова.

— А как вы стали политическим работником? — спросил я.

Каплунов поднялся и подошел к иллюминатору. Теперь я видел только его широкую спину. Голос Каплунова звучал глуховато:

— Я потерял на войне двух братьев, многих друзей. Некоторые матросы умирали у меня на руках. После войны я стал иначе относиться к людям. Когда видел, как люди умирают у меня на глазах, я чувствовал себя виноватым перед ними. Конечно, я ни в чем не был виноват, но мне казалось, что я не все сделал для той жизни, которая от них навсегда уходит. С некоторыми из них я ссорился, спорил, как говорится, друг другу портили кровь. А для чего? Когда я видел, как слабеет дыхание и жизнь покидает человека, а я остаюсь жить, мне казалось, что я беру на себя все, что они не сделали. Эх! Да что говорить! Многое мы увидели и испытали на войне. И когда она кончилась, я твердо решил: пойду по «человеческой части». Буду политработником. И вот после академии я несколько лет служу на «Кирове». Замполит. Самая что ни на есть замечательная работа. И я ее, должен вам сказать, очень люблю. Возможностей тут непочатый край! Возьмите хотя бы воспитание на боевых традициях.

И Николай Сергеевич заговорил о том, как еще во время войны в газетах часто упоминался крейсер «Киров». Впрочем, тогда он бегло пробегал глазами такие статьи и заметки. Мало ли было героических кораблей на Балтике, Черноморском и Северном флотах, о которых писали и говорили. Не знал матрос Каплунов, что когда-нибудь окончит академию, и тем более не думал, что придет служить на этот прославленный корабль.

Но в жизни бывает много неожиданностей. Он оказался на «Кирове». Поток будничных дел не захлестнул его по самое горло, как это нередко случается с людьми на новом, незнакомом месте. С первых же дней он заинтересовался историей корабля, его пытливый ум старался заглянуть в прошлое и найти то, что полезно для воспитания молодых моряков. Увы, материалы о боевом

прошлом корабля оказались скудными: исторический журнал, грамота о награждении крейсера орденом Красного Знамени. Вот и все богатство. Скупые строчки документов не могли воссоздать картины минувших боевых лет. Мало показалось Каплунову. Досадно мало. И задумал он возродить боевую историю корабля. «Кто может помочь? — думал он. — Участники строительства крейсера «Киров» и те, кто служили на нем в те огненные годы. Но как их найти? Известно, что многие ветераны войны еще в 1945 году демобилизовались, ушли в запас, на гражданку, другие продолжают служить на флоте. Но где, на каких кораблях?» Этого никто не знал, не ведал...

Разыскать этих заслуженных людей было не по плечу одному человеку. Но разве Каплунов одинок?! Огонек, теплившийся в его сердце, зажег на это благородное дело коммунистов и комсомольцев. В разные концы страны полетели письма с корабля, а в ближайшие города и военно-морские базы — Ленинград, Кронштадт, Таллин — отправились посланцы крейсера «Киров». Если послушать, как они искали ветеранов войны, можно написать целую серию рассказов. Один за другим обнаруживались старые кировцы. Дал о себе знать слушатель Военно-морской академии имени Крылова капитан 2 ранга Александровский, бывший командир зенитного дивизиона. Прислал весточку инженер-капитан 1 ранга Борис Львович Гуз, служивший на корабле со дня его закладки и до последнего дня войны. Объявился бывший матрос Жукавин, который в сентябрьские дни 1941 года, во время больших налетов фашистской авиации на Кронштадт, своими руками выбрасывал за борт горящие снаряды.

Сначала приходили только письма, а вскоре и сами герои появились на корабле. И можно представить, сколько радости доставило морякам услышать из живых уст рассказы о Таллинском переходе, о днях блокады Ленинграда, о людях, совершавших боевые подвиги.

Николай Сергеевич Каплунов был одним из самых внимательных слушателей, он завел отдельную тетрадь и записывал туда все до мелочей, что узнавал о боевом прошлом крейсера «Киров». Со временем у него накопилось множество ценных материалов, которыми пользовался не только он один, но все агитаторы и пропа-

гандисты. Пользуясь этими материалами, он написал небольшую книжку о корабле. В библиотеке-читальне появился маленький музейный уголок, а в кубриках — выставки, рисующие боевой путь крейсера «Киров».

Прошлое существовало не само по себе, оно вторгалось в жизнь, быт и учебу молодых моряков и новым светом озаряло их настоящее.

Живя на крейсере «Киров», я по многу раз в день встречался с Каплуновым, но еще чаще наблюдал за ним со стороны. Я наблюдал за его беспокойной работой, связанной с людьми и потому требующей ума, сообразительности и большого внутреннего такта.

Мне приходилось бывать свидетелем многих встреч Каплунова с сослуживцами по самым неожиданным поводам. Нередко эти встречи начинались утром в кают-компании за стаканом чая.

Так было и в то утро, когда один из офицеров на корабле подошел к Каплунову, сел с ним рядом за стол и сказал голосом, в котором чувствовались нотки растерянности:

— У меня с матросом Шуровым беда. Совсем парень расклеился и потерял голову, ничего на ум не идет...

Каплунов взглянул на него вопросительно:

— А что такое?

— Влюбился парень по самые уши. — Офицер развел руками.

— А чего ж тут руками разводить. Влюбился — это хорошо. Это даже прекрасно! Тут надо радоваться, а не руками разводить. У человека сил прибавляется, когда он влюблен. Да что я вам рассказываю! Вы это, наверное, лучше меня знаете?

— Знаю. Не маленький. Но только, Николай Сергеевич, этот Шуров, ну, как бы вам сказать... Несчастная любовь. Без взаимности.

— Это печально, — сказал Каплунов и задумался.

— Страдает парень. За советом обращается, а я и сам не знаю, как ему поступить, — продолжал офицер.

— Пусть он зайдет ко мне после обеда. Что-нибудь придумаем.

С этими словами Каплунов поднялся и пошел в свою каюту, где его уже ждал секретарь партийной организации. Он положил на стол социалистические обязатель-

ства одного из подразделений. Каплунов читал их не торопясь, вдумываясь в каждую написанную строку и наконец сказал:

— Тут не все ладно. А где общественная работа, шефство, художественная самодеятельность? Да мало ли интересных, инициативных дел можно придумать. Вы ведь были на заводе имени Ленина и знаете, как там соревнуются цех с цехом, бригада с бригадой. Нам есть что позаимствовать у рабочего класса. Давайте-ка в ближайшее воскресенье пригласим на корабль комсомольскую бригаду Шуры Колотушкиной и поговорим с ними насчет соревнования. Позвоните им, скажите, что катер за ними пришлем, пусть только назначат время.

— Хорошая идея! — обрадовался секретарь.— Разрешите, я сейчас позвоню и доложу вам, как обстоит дело.

Едва он вышел из каюты, как во всех уголках корабля раздался звонок. Боевая тревога! Каплунов надел фуражку и бросился к трапу. До отбоя тревоги он не разлучался с командиром корабля. Вместе они обходили боевые посты, проверяли службу, замечали, где какие имеются еще «слабины», а потом долго беседовали. Это был не только служебный разговор, но дружеский совет двух людей, облеченных большим доверием, ответственностью и за несколько лет совместной службы научившихся с полуслова понимать друг друга.

Близился час обеда. После обеда Каплунов вернулся в каюту и вызвал вестового:

— Найдите матроса Шурова и позовите ко мне.

Через несколько минут перед Каплуновым стоял сухощавый парень. Он сел на диван рядом с Каплуновым и очень откровенно рассказал:

— На родине дивчина осталась, все три года переписывались, каждую неделю письма от нее получал, вот, убедитесь сами. — Он протянул пачку измятых, должно быть, не раз читанных и перечитанных листков, густо исписанных мелким почерком. — Жил надеждой, готовился, деньки до встречи считал, а в последние месяцы вовсе перестал получать письма, забеспокоился, думаю, может, что случилось, братуху своего запросил... Получаю ответ. «Твоя Люся просит сообщить: она здорова, недавно кончила техникум и еще просит тебя не торопиться, потому что у нее совсем другие планы... Хочет

выйти не за простого матроса, а за человека с высшим образованием...»

Кончил Шуров рассказывать свою историю и продолжал сидеть, опустив голову. Молчал и Каплунов. Потом он встал, прошел по каюте, остановился перед Шуровым и, глядя ему в глаза, сказал с досадой:

— Эх ты, тряпичная натура! Где твое мужское самолюбие? Люди гордятся службой на флоте. Моряк! Это, брат ты мой, самый уважаемый человек среди женского персонала, а ты, услышав такое, даже не обиделся.

— Не могу на нее обижаться. Я ее люблю, и никто мне ее не заменит, — ответил Шуров.

— А раз любишь, давай адрес, я напишу ей письмо.

Шуров охотно продиктовал адрес. После отбоя в каюте Каплунова долго горел свет. Он писал незнакомой девушке.

Я не знаю, что именно написал Каплунов Люсе Ивановой, но уверен, что он нашел какие-то ясные и доходчивые слова, тронувшие сердце этой девушки. Я убедился в этом, когда через некоторое время на «Киров» пришла телеграмма от Люси с просьбой разрешить ей приехать для встречи с другом. На борт корабля поднялась стройная светловолосая девушка, и, увидев, как озарилось счастьем лицо молодого матроса, подбежавшего к ней, я вспомнил слова Николая Сергеевича Каплунова о том, что отныне он посвятил себя самому благородному делу — работе с людьми. И я понял, что это не только слова, а смысл всей его жизни.

КОГДА ПОДНИМАЕТСЯ ФЛАГ

Минуты эти непередаваемо прекрасны. Бывалый ты моряк или первый раз в жизни оказался на корабле — в такие минуты в душе твоей поднимаются большие неведомые чувства и весь ты охвачен благородным порывом.

— На флаг и гюйс, смир-н-но-о!

Экипаж крейсера выстроился вдоль обоих бортов. Какие вдохновенные лица у моряков, стоящих в строгих шеренгах, словно рукой скульптора расставленных на громадном постаменте верхней палубы.

Дежурный офицер следит за бегом часовой стрелки, боясь упустить нужный миг. И вот он наступает, этот миг.

Бьют корабельные склянки. Их стеклянный звук разрывает тишину, плывет в воздухе; точно эхо, доносится встречный бой склянок с других кораблей, стоящих неподалеку. Звуки встречаются и тают в утренней прохладе.

— Флаг и гюйс поднять!

Играет горн. Все взгляды обращены к кормовому флагштоку, по которому быстро-быстро ползет бело-голубой флаг с изображением серпа, молота и ордена Красного Знамени — свидетель многих славных дел, которые свершались в дни войны и продолжаются сегодня наследниками боевой славы.

Глядя на флаг, поднявшийся на самый верх древка и привольно развевающийся на ветру, думаешь о тех, кто сражался под ним в суровую годину и кого нет среди нас. И видишь широкое, доброе, почти всегда улыбающееся лицо простого деревенского парня старшины Даниила Павлова, командира зенитного расчета, который во время самых крупных налетов вражеской авиации на Кронштадт вместе со своими бойцами денно и нощно находился на верхнем мостике и своим характерным, неторопливо окающим басом напоминал:

— Смотрите, ребята, не прозевайте немца!

И как раз в этот момент со всех сторон налетают пикирующие бомбардировщики. В городе, в гавани, на пристанях — грохот зениток и взрывы бомб. Небо в черных и белых клубках разрывов. Зенитчики в движении. «Огонь! Огонь! Огонь!..» — командует Павлов, но в шуме и грохоте тонут его слова, и только по резкому взмаху руки все само собой понятно.

Он раскраснелся, и еще резче его движения, потому что несколько самолетов держат курс прямо на корабль. Ведущий бросился вниз. Его встречают клубки разрывов. Из моторов вырывается пламя, черный дым прочертил след над гаванью, и самолет на полной скорости врезается в море.

— Один есть! — счастливо кричат сигнальщики.

— Старшине Павлову — ура!

И несмотря на то что бой продолжается, моряки силятся бросить взгляд на спардек, где у орудия по-прежнему стоит невысокий крепыш — герой сегодняшнего дня.

Он в предельном напряжении, пот заливает лицо, но какая может быть усталость в азарте боя,

Удары сотрясают море и землю. Точно из кратера, вырывается столб огня, и тут же его застилает густая завеса дыма.

Белые клубки вспыхивают перед самолетами, и немцы перестают охотиться за «Кировым». Получишь железный крест или нет — это еще неизвестно, а снаряд могут запросто влепить, и будешь похоронен здесь, на дне моря.

Наконец бомбардировщики исчезают и грохот орудий смолкает. Только бьют вдали зенитки, «провожая» самолеты, побросавшие бомбы в воду.

Старшина Павлов возбужден, никак не может прийти в себя, каждый мускул содрогается от нервного напряжения. Он смотрит на палубу, переводит взгляд на корабельный флаг и широко, во весь рот улыбается: «Жив наш голубок!»

Он вытирает пилоткой вспотевший лоб, и, притронувшись к зенитке, с которой облупилась краска, говорит:

— Ого, жарковато! Глядите, как ствол раскалился, вроде в печи побывал, — и, дружески протягивая свою ладонь матросам, добавляет: — Поздравляю, ребята! Только чтоб никакого зазнайства. Понятно? Он ведь запросто пожалует, и еще не один раз.

Никто не видел, как вечером после страдного боевого дня, пользуясь затишьем, Павлов сидел в старшинской кают-компании и, вырывая лист за листом из ученической тетрадки, что-то долго мучительно писал, зачеркивал и начинал снова.

Трудное было сочинение, хотя состояло оно всего из пяти-шести фраз.

С листиком в руке он пришел к командиру подразделения зенитчиков, капитан-лейтенанту Клименко и, заметно стесняясь, сказал:

— У меня к вам большая личная просьба.

Клименко насторожился. Слово «просьба» он первый раз слышал от Павлова, хотя служили они вместе давно. Это был всегда скромный, неприхотливый, «безотказный» старшина, и Клименко не знал случая, чтобы Павлов обращался к нему с просьбами, да еще личного характера.

Павлов показал заявление о приеме в партию и объяснил:

— Служу с вами не один год и позвольте по такому случаю просить рекомендацию. Время, сами знаете, какое. Может, еще хуже будет. Так что я хочу вместе с коммунистами, заодно...

Он не закончил свою мысль, но Клименко и без того все понял. Достаточно было посмотреть в открытое, честное лицо старшины, вспомнить всю его безупречную службу в мирные годы и то, как он со своим расчетом нес готовность и отбивал воздушные атаки в Рижском заливе, на Таллинском рейде и здесь, в Кронштадте, чтобы понять значительно больше, чем мог сказать Павлов в эти очень значительные для него минуты.

— Что ж, я приветствую ваше решение, — ответил обрадованный Клименко. — Вы, конечно, заслужили быть в рядах партии, и я дам вам рекомендацию.

Он тут же взялся за перо.

— За последние две недели я дал пятнадцать рекомендаций. Ваша шестнадцатая... Будьте здоровы и воюйте так же лихо...

— Постараюсь, товарищ капитан-лейтенант, — ответил Павлов, раскрасневшись не меньше, чем во время боя.

Ему хотелось сейчас обнять своего командира, да скромность не позволила. И он крепко пожал ему руку.

Наступала первая блокадная зима, а вместе с ней пришли холод, голод и тягчайшие испытания, которые были по плечу лишь сильным, закаленным людям, таким, как старшина Павлов. В лютые морозы в валенках, полушубках, шапках-ушанках зенитчики несли вахту на палубах и мостиках, осматривая пасмурное ленинградское небо и ожидая непрошеных гостей, а в часы отдыха заменяли пулеметы новыми скорострельными зенитными автоматами, которые дала страна военным морякам.

С первыми весенними днями немцы снова попытались уничтожить крейсер «Киров», пока он стоял закованный в лед.

И опять вокруг корабля выросла завеса огня. Орудийный расчет старшины Павлова вместе с другими зенитками сбивал с боевого курса фашистские бомбардировщики, заставляя их отворачивать от цели и бросать бомбы где попало.

В эти дни была отбита не одна атака с воздуха.

24 апреля 1942 года выдался совсем не весенний день: низко над городом висело серое, все в клочковатых облаках небо. Немцы обстреливали набережные Невы и район стоянки кораблей, а в полдень, скрываясь за облаками, со стороны Финского залива появились десятки вражеских самолетов. Они пересекли реку и, вывалившись из облаков, бросились в пике на крейсер «Киров».

Несколько сильных взрывов сотрясли корабль. В пламени и клубах густого дыма трудно было что-либо разобрать, но непрекращавшийся треск зенитных автоматов напоминал морякам, что корабль живет и сражается.

Да, он сражался, как мог. И старшина Павлов стоял на своем привычном посту, поглощенный боем, и выкрикивал одно слово: «Огонь!», пока осколок бомбы не сразил его насмерть. Но даже упал он на палубу с поднятой рукой, сжатой в кулак, как будто хотел в последний раз крикнуть что есть силы: «Погибаю, но не сдаюсь!»

Погиб старшина Павлов. Погибли другие кировцы. Но борьба продолжалась. Падал один, сраженный пулей или осколком бомбы, другой вставал на его место под бело-голубой краснозвездный флаг. Боевое оружие, как факел, передавалось из рук в руки...

Так и на этот раз, после больших потерь экипаж «Кирова» неожиданно получил пополнение. Откуда? Из далекого Казахстана, от своих шефов.

Проехав тысячи километров, пробравшись сквозь кольцо блокады, молодые казахи комсомольцы вышли наконец на широкую площадь перед Финляндским вокзалом. Они были одеты в пестрые ватные халаты, подпоясанные такими же цветастыми кушаками. Юноши считали себя самыми счастливыми на земле. Еще бы! Попасть в осажденную крепость, на флот, которым гордилась вся страна.

С уважением смотрели казахские парни на рослых подтянутых моряков, и не верилось, что пройдет совсем немного времени и они примут точно такой же бравый вид...

Командиры и старшины были требовательны к своим новым питомцам, которым нелегко было усваивать азы корабельной службы, привыкать к странному морскому языку: спальню называть кубриком, пол — палу-

бой, кухню — камбузом. Зато очень весело зазвучало любимое матросское словечко — «Полундра!».

С каждым днем и часом перед юношами открывался совсем новый мир — мир суровой морской службы.

Первое время они оставались в казарме и по макетам узнавали, какие существуют корабли, как они устроены, изучали уставы, наставления, учились строем ходить по мостовым Ленинграда. Но наступил день, и они поднялись на стальную палубу «Кирова», подошли к зенитной установке, которой в самые трудные дни блокады командовал старшина Павлов.

Теперь к станине этой зенитки была прикреплена маленькая серебряная дощечка, и на ней значились имена героев, отдавших свои молодые жизни в тот памятный апрельский день.

А над кораблем все так же развевался бело-голубой краснозвездный флаг, под которым просто и буднично вставали теперь молодые казахи.

Они заняли места у орудийных прицелов, их руки научились быстро подхватывать холодные тела снарядов и так же быстро посылать их в канал ствола. Каждый день слышались команды:

— Лево двенадцать, прицел три, огонь!.. Право десять, прицел два, огонь!..

До поры до времени это был условный «огонь», без выстрелов, без упорной борьбы с самолетами, клейменными свастикой, вьющимися над кораблем, как докучливые злые осы, в надежде больно ужалить.

Но пришел час, когда снова завыли сирены и в небе появились вражеские самолеты. Орудийный расчет, состоявший почти из одних казахов, умело и метко вел огонь, отбивая атаку за атакой, как герой старшина Павлов.

Прошел год, и в списке командиров зенитных автоматов появилась новая фамилия — Исмаилов. Высокий казах, во время войны закончивший учительский институт, здесь, на корабле, проходил свою первую жизненную школу. Он поднялся на голову выше своих сверстников и стал командиром орудийного расчета, притом лучшего на крейсере «Киров». Друзья теперь обращались к нему «Товарищ старшина» и докладывали по всем правилам устава.

И до самого конца войны сражался на крейсере «Киров» этот зенитный расчет, состоявший из молодых казахов. Они служили на корабле и после войны, оставив о себе самую лучшую память...

Смена смене идет — это закон жизни. Сегодня под Краснознаменным флагом крейсера «Киров» служат уже совсем другие парни. Порой они даже не замечают, что в их ратной учебе и труде есть частица вечного и нетленного, оставленного драгоценным наследством — героями Отечественной войны.

Где ныне Исмаилов?.. Возможно, в новой школе на целине обучает ребятишек русскому языку или в физическом кабинете объясняет им законы баллистики, которые ему знакомы не только по учебникам, но и по своему жизненному опыту. И наверняка рассказывает ребятам о Балтике и крейсере «Киров», куда он пришел безусым юношей и откуда уходил взрослым, мудрым человеком. Возможно, через несколько лет на корабль придут служить ученики Исмаилова, родившиеся после того, как отгремели залпы минувшей войны.

А пока эстафету принял старшина 1-й статьи Михаил Власюк, рослый сероглазый белорус из города Бреста. У него задумчивое лицо и медленная твердая походка.

— Я с детства военный, — говорит он. — Мальчишкой пришлось понюхать пороховой дым...

Это вовсе не шутка. Кто теперь не знает о героизме защитников Брестской крепости!

Тогда, в первые дни войны, мать Михаила Власюка, проводив мужа на фронт, осталась в осажденной крепости с тремя ребятишками, мал мала меньше.

Шестилетний Миша рано узнал жизнь без крова, без одежды, когда баланда из картофельной шелухи и овсяные лепешки были единственным питанием взрослых и детей. Он не знал детства с игрушками и развлечениями. Война отняла у него все радости и забавы, а после войны он окончил школу-семилетку, потом железнодорожное училище и вошел в трудовую жизнь.

В паровозном депо станции Лида рос и проходил настоящую жизненную школу помощник машиниста Михаил Власюк.

— Дельный парень! — говорили о нем старые рабочие.

Все видели, сколько старания проявляет он, ухаживая за своим локомотивом. А по экономии топлива с ним и вовсе трудно было соревноваться.

Неутомимый был юноша: вернется из рейса Лида — Вильнюс — Барановичи, поспит часа три и летит в депо, в комсомольский комитет, общественные дела вершить.

Вероятно, и до сих пор работал бы он в депо и, возможно, был бы уже машинистом. Но получил Михаил повестку из военкомата.

Попал он на Балтику, на Краснознаменный крейсер «Киров». И пошел дальше все тем же честным трудовым путем.

Впервые поднявшись на палубу и подойдя к орудию с серебряной дощечкой на броне, он прочитал фамилию Павлова. Когда узнал, кто был Павлов, задумался. Захотелось служить по-павловски — так, чтобы не уронить имени павшего героя Отечественной войны.

Поначалу его зачислили в орудийный расчет рядовым комендором-замочным. На помощь пришло старание. Через год он знал устройство орудия как свои пять пальцев. На тренировках действовал быстро — ни одного пропуска, ни малейшей заминки. Свою специальность изучил и к другим присматривался. Ведь не раз же случалось на войне, что один комендор убит, другой ранен, а бой идет и орудие должно вести огонь, не будет же враг передышку устраивать. И в такие критические минуты оставшиеся в строю должны быть готовы заменить своих товарищей. Понял это Михаил, научился наводить орудие, подносить снаряды, научился многому, что требуется от хорошего воина.

Не бывает так, чтобы труд и старания человека остались незамеченными. Власюк поднимался по служебной лестнице со ступеньки на ступеньку. И наступил день, когда командир корабля присвоил ему звание старшины и назначил командиром Павловского орудия.

И теперь случается так, что после трудового дня усталый приходит в кубрик Михаил Власюк, садится за стол, играет со своими матросами в шашки, и чудится ему, что откроется дверь, перешагнут через комингс незнакомые, но дорогие люди — широколицый, со светлой улыбкой старшина Павлов и смуглый, с раскосыми глазами казах Исмаилов — и спросят старшину Власюка:

— Ну как, ребята, служите?

И он с полным правом ответит за всех:

— Служим отлично!

БАЛТИКА ВСТРЕЧАЕТ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Старожилы крейсера «Киров» могут припомнить много торжественных событий, начиная с церемонии закладки корабля.

Давно это было, задолго до Отечественной войны. На заводском стапеле лежало несколько стальных листов, а вокруг них толпились люди, играл оркестр, и вся обстановка казалась необыкновенно праздничной...

Михаил Иванович Калинин положил между двумя стальными листами маленькую серебряную пластинку с названием корабля и датой его закладки, затем сказал, обращаясь к народу:

— Большому кораблю — большое плавание!

Были в истории крейсера «Киров» и другие столь же радостные минуты, например, когда над ним впервые взвился бело-голубой флаг Военно-морских сил или приехала в Кронштадт делегация из далекого Казахстана принять шефство над новым балтийским крейсером — первенцем советского судостроения, чтобы потом в течение десятилетий дружить с моряками, делить с ними горе и радости...

Теплый июльский день 1958 года тоже войдет в число этих памятных для корабля дат, как день дружбы с Чехословакией.

Если посмотреть на карту, то может показаться, что Чехословакия далека от Балтики, в действительности же она находится совсем рядом с нами, состоит в одной с нами братской семье.

Еще за несколько дней стали поговаривать о том, что на крейсер должны приехать гости из Чехословакии и вместе с ними Никита Сергеевич Хрущев. Морякам хотелось не ударить лицом в грязь. Они чистили, драили корабль, чтобы все блестело, как стеклышко.

Матросы, собравшиеся на баке покурить, интересовались:

— Кто в составе делегации?

Заместитель командира по политчасти капитан 3 ранга Николай Сергеевич Каплунов признался, что всех делегатов он не знает.

— Могу рассказать о президенте республики Антонине Новотном. Замечательный товарищ! Старый коммунист, подпольщик, многое в жизни испытал. Не один раз сидел в тюрьмах... Во время оккупации Праги немцы схватили товарища Новотного и бросили в концлагерь Маутхаузен. Но разве можно сломить таких людей! Он и там боролся с гитлеровцами. Конечно, мог погибнуть, если бы вовремя не подоспела наша армия.

— Я читал книгу Фучика, — сказал один за матросов. — Сильно написана. Главное, в тюрьме, перед самой казнью... Хорошо бы у нас на корабле уголок Фучика оформить. Он хотя и не был военным, но погиб, как настоящий герой на боевом посту.

— Верно! Толковая мысль! — подхватил Каплунов. — Давайте устроим в ленинской каюте уголок народного героя Фучика.

Тут в разговор вступил бритоголовый старшина:

— Мой старший брат освобождал Чехословакию от гитлеровцев. С тех пор он всегда чехов добрым словом поминает. Говорит, там почти все, старые и малые, по-русски понимают и любят нас, как родных.

— Ну, а как же, славяне все-таки, — заметил Каплунов.

Где бы в эти дни ни завязывался разговор — обязательно все сводилось к приезду чехословацких гостей: как они выглядят, что будут смотреть, чем интересоваться...

Пятого июля 1958 года трудно было пробиться сквозь массу людей, собравшихся в Ленинграде на Васильевском острове у пристани речного пароходства. Гостей ждал эскадренный миноносец, чтобы доставить в Кронштадт.

Ленинградцы и военные моряки сразу узнали невысокую плотную фигуру Никиты Сергеевича Хрущева. Вместе с ним был знакомый советским людям по портретам Антонин Новотный со своими спутниками.

Они вступили на борт миноносца, выслушали рапорт командира. В ту же минуту на фок-мачте корабля взвился штандарт президента Чехословацкой Республики, а на грот-мачте — алый Государственный флаг Союза ССР.

Слышится команда:

— Отдать швартовы!

Корабль отрывается от пирса и идет по направлению к Морскому каналу.

Свежий ветерок обдувает лица гостей, собравшихся на ходовом мостике. Впервые видят они те самые места, где шла борьба не на жизнь, а на смерть.

— Вот здесь, вдоль набережной Невы и у причалов Торгового порта, замаскированные сетками и зеленью, стояли наши боевые корабли во главе с крейсером «Киров», — говорит командир миноносца, показывая те места, которые постоянно обстреливались немецкой дальнобойной артиллерией. Но корабли, обросшие льдом, запорошенные снегом, точно погруженные в зимнюю спячку, в нужную минуту открывали ответный ураганный огонь по врагам, сидевшим у самых стен Ленинграда.

Миноносец выходит из Морского канала. Открывается панорама побережья Финского залива. С южного берега немецкие батареи прямой наводкой вели огонь по нашим кораблям, но те шли наперекор опасности, нагруженные боеприпасами и продовольствием, вот этим узким фарватером из Ленинграда в Кронштадт и из Кронштадта в Ленинград. Этим же путем наши подводные лодки выходили на широкие просторы моря и громили немецкие конвои...

Никита Сергеевич Хрущев, Антонин Новотный и все остальные гости слушают рассказ командира, взволнованно смотрят кругом и, вероятно, мысленно представляют всю тяжесть борьбы, которая выпала на долю города-героя.

Однако на рассказ осталось слишком мало времени. Впереди совсем близко раскинулся островок, увенчанный куполом собора, — наша грозная морская крепость Кронштадт. По кораблю разносится трель колоколов громкого боя, и вскоре слышна команда:

— По местам стоять, на якорь и швартовы становиться!

Там, у кронштадтских пирсов, видны корабли, украшенные флагами расцвечивания, и вдоль бортов протянулись ровные шеренги матросов: белая и черная кайма форменок и черных брюк...

Мелькают желтые огненные вспышки, и воздух сотрясает гул выстрелов приветственного салюта.

— Это кто стреляет? — спрашивают гости.

— Краснознаменный крейсер «Киров»! — поясняют моряки.

Миноносец подходит к пирсу, и люди, прибывшие из далекой страны, вступают на священную землю, во время войны изрытую бомбами, снарядами, но не покорившуюся врагу.

Гости обходят почетный караул, принимают букеты цветов, обнимаются с самыми юными моряками — нахимовцами и по длинной бетонированной стенке идут к героическому кораблю Балтики — крейсеру «Киров», который только что со стороны моря казался грозным и недоступным, стрелял так, что все кругом содрогалось, а сейчас похож на гостеприимного хозяина. Сотнями приветливых улыбок встречают моряки «Кирова» дорогих гостей.

Звучит рапорт дежурного по кораблю, и снова гости идут вдоль матросских рядов, сопровождаемые долгим и бурным, как накат волны, «урра-а-а!».

— Товарищ командир, познакомьте нас с вашим хозяйством, — говорит Никита Сергеевич и, обращаясь к гостям, добавляет: — Советую осмотреть этот корабль подробнее.

Они переходят из одного кубрика в другой — везде много света, воздуха, аккуратно заправлены койки.

— Теперь прошу в библиотеку, — приглашает командир. — У нас старейшая корабельная библиотека, тысячи разных книг для учебы и самообразования.

Гости осматривают стеллажи, заполненные книгами, каталожные ящички, подшивки газет и журналов.

— Посмотрите сюда! — сказал кто-то, в изумлении остановившись перед музейным уголком.

Все подошли к карте, на которой был вычерчен боевой путь корабля, к портретам моряков, погибших в боях за Родину. Гости осмотрели драгоценные реликвии, хранящиеся под стеклом на бархате, прочли грамоту Президиума Верховного Совета СССР: «За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками наградить крейсер «Киров» орденом «Красное Знамя».

Склонив головы, стоят чехи перед портретами моряков, на них смотрят из рамок молодые лица простых русских парней, отдавших свою жизнь за Родину, за счастье людей на земле.

Гости спускаются в корабельный клуб с киноэкраном и бархатными занавесями. Их удивляет, что на корабле есть своя типография и издается печатная газета.

— А откуда у вас наборщики, печатники? — спрашивают чехи.

— Матросы! Они у нас на все руки мастера, — говорит командир. — Стреляют из пушек и шьют костюмы. А как танцуют... Жаль, что вы у нас накоротке... Посмотрели бы нашу художественную самодеятельность. Любому Дому культуры не уступит.

Чехи живо реагируют на все, что им показывают.

— Я не прочь был бы пойти в матросы и служить у вас, будь я лет этак на тридцать моложе, — шутит Антонин Новотный.

Все возвращаются в кают-компанию. Никита Сергеевич встречает Антонина Новотного вопросом:

— В машинном отделении были?

— Не успел.

На лице Никиты Сергеевича добрая улыбка:

— Напрасно, — шутя замечает он. — Как же, бывший слесарь-механик и не посмотрел машину...

— Разве можно обойти все? Это же настоящий плавучий город, — разводит руками товарищ Новотный.

Гостям предстоит посетить еще и другие корабли. Но эти минуты встречи с кировцами настолько приятны, что им не хочется уходить...

— Приезжайте к нам в Чехословакию, — приглашает моряков товарищ Новотный. — У нас в каждой семье почитают советских воинов-освободителей. Что же касается нас лично, то, вернувшись домой, мы будем часто вспоминать о вашем славном городе-герое и вашем боевом корабле.

Командир крейсера протягивает президенту книгу почетных посетителей. Антонин Новотный достает вечное перо и делает в книге запись, которую потом читают и перечитывают моряки.

«Желаю товарищам с крейсера «Киров» успеха в боевой подготовке для защиты вашей Родины. Сердечный привет, дорогие товарищи! Честь труду!»

* * *

Я дописываю последние страницы книги о близкой и дорогой моему сердцу Балтике, о ее шумных ветрах и

волнах с пенистыми гребнями, несущихся к далекому берегу, о хмуром небе и летних сиреневых закатах, о людях, с которыми меня свела судьба в суровую годину войны.

Передо мной лежит стопа исписанных страниц, на которых запечатлелось лишь очень немногое из того, что мне пришлось увидеть и отчасти пережить вместе со своими героями.

Я перелистываю страницу за страницей и уже в который раз вижу Шувалова, Амелько, Золотова, Вишневского — всех, кого я успел узнать, полюбить и с кем теперь так трудно расстаться.

Я написал о них книгу потому, что жизнь этих людей — пример для новых поколений. В самые трудные, даже трагические дни нашего бытия они не искали тихих гаваней, теплых убежищ, узеньких безопасных троп, а всегда шли широкой прямой дорогой, навстречу любой опасности. Они любили жизнь, но интересы Родины были для них дороже своей собственной жизни.

Многие из них погибли. Многие живут среди нас, и их маленькие, чаще всего незаметные, дела вливаются в общий подвиг народа. Они стоят у станков в замасленных спецовках. Они строят дома, большие и светлые, как вся наша жизнь. Они трудятся в научных лабораториях, готовят для человечества новые открытия. Мы привыкли к их мирным профессиям. Глядя на их спокойные лица, неторопливые движения, сосредоточенные позы, трудно поверить, что много лет назад эти самые люди шли в пехотных цепях, вели огонь из пушек боевых кораблей, пробирались на подводных лодках в самое логово врага.

Живые и мертвые герои в жестокой битве отстояли наше право жить и трудиться, любить и радоваться, растить детей, наслаждаться теплом солнца, дышать ароматом цветов. Мы помним о них. Они и сегодня с нами.



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

☆

Николай Григорьевич Михайловский

С ТОБОЙ, БАЛТИКА!

М., Воениздат, 1964, 376 с.

Редактор *Попов П. В.*
Художник *Лыков В. М.*
Технический редактор *Соломоник Р. Л.* Корректор *Чебыкина Э. А.*

Сдано в набор 30.XI.62 г. Г-93058 Подписано к печати 4.2.63 г.
Формат бумаги $84 \times 108^1/_{32}$ — $11^3/_4$ печ. л. = 18,45 усл. печ. л. — 20,03 уч.-изд. л.
Изд. № 4/5017. Тираж 50 000 БЗВ № 23—62 г. Зак. 864

Сматрицировано в 1-й типографии
Военного издательства Министерства обороны СССР
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Отпечатано во 2-й типографии
Военного издательства Министерства обороны СССР
Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

Цена 75 коп.



Цена 75 коп.